

Юрий Окланский



· ИСТОРИЧЕСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ·

ЗАГАДКИ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ОТ СТАЛИНА ДО БРЕЖНЕВА



ЗАГАДКИ
СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ЮРИЙ ОКЛЯНСКИЙ



· ИСТОРИЧЕСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ·

**ЗАГАДКИ СОВЕТСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
ОТ СТАЛИНА ДО БРЕЖНЕВА**

Москва
«ВЕЧЕ»

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)
О50



Оклянский, Юрий

О50 Загадки советской литературы. От Сталина до Брежнева / Юрий Оклянский. — М. : Вече, 2015. — 384 с. : ил. — (Историческое исследование).

ISBN 978-5-4444-2616-6

Знак информационной продукции 12+

Советский классик Константин Федин в течение почти двадцати лет возглавлял Союз писателей СССР. Через судьбу «министра советской литературы» автор прослеживает «пульс» и загадки эпохи. Наряду с Фединым герои книги — М. Горький, И. Сталин, Л. Берия, Н. Хрущев, аппаратчики ЦК и органов безопасности, естествоиспытатель В. Вернадский, И. Бунин, А. Толстой, Е. Замятин, Стефан Цвейг, Б. Пастернак, А. Ахматова, А. Твардовский, А. Солженицын, а также литераторы более молодого поколения. Ю. Трифонов, любимый из учеников Федина, поэты А. Вознесенский, Е. Евтушенко... Автор также свободно пускает в ход мемуарный арсенал — использует в книге собственную переписку с К. Фединым и наблюдения от многолетних встреч с ним. Признанный биограф и исследователь былого, издавший более тридцати книг, Юрий Оклянский ведет исторические разыскания живо и увлекательно...

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)

ISBN 978-5-4444-2616-6

© Оклянский Юрий, 2015
© ООО «Издательство «Вече», 2015

НАПУТСТВЕННЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ. «РАЗ УЖ ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ»

У меня есть основания отнестись с ревностным вниманием к новой повести, или художественному расследованию, профессионального биографа Оклянского о Федине. О крупном мастере, ныне отодвинутом в тень и несправедливо замалчиваемом, человеке, в течение почти двадцати лет занимавшем высшие иерархические посты в управлении советской литературой. За то, видно, и пришлось в новую эпоху расплачиваться карой намеренных умолчаний и легкодумных наскоков борзописцев. Но...

Во-первых, Федин — в широком кругу чтения моего поколения — изначально и естественно.

Во-вторых, Оклянский — мой однокашник и соратник по «Литературной газете», — изначально в тесном кругу моих единомышленников, что также естественно. Я, как и он, — шестидесятник, с комсомольской верой в идеалы и с позднейшим разочарованием в них. Правда, в отличие от него, моего старшего товарища, я в партию не вступил (и не искал впоследствии возможности нескандального из неё выхода). Но в общее дело — верил. Прозаик, литературовед и публицист Оклянский — автор более тридцати книг. За литературными успехами Юрия следил с сочувствием. А впоследствии и с некоторым удивлением (когда он, профессиональный биограф замечательных людей, стал искать в их жизни что-то сенсационное: «Гарем Бертольда Брехта», «Четвёртая жена» Алексея Толстого», «Беспутный классик»...).

Этот оттенок улавливается и в некоторых заглавиях фединского сюжета.

«Уроки с репетитором, или Министр собственной безопасности. Авантюрная биография кабинетного человека» — так назывался журнальный вариант, то есть подборка глав из нынешней книги, помещенный с продолжением в двух номерах журнала «Дружба народов» (№ 5 и 6 за 2014 год).

С тем, что Федин человек кабинетный, можно согласиться. Но никакой особой авантюрности в его биографии я не вижу. Уроки мастерства у него молодые литераторы брали, но ни в какие идеологические репетиторы Константин Александрович никогда не набивался. Подходил к своему служебному состоянию естественно. Писал и издавал книги, видел, что они активно читаются, на базе этого читательского признания выдвигался в редколлегии и прочие «коллегии» тогдашнего руководства, но никакого особого апломба при этом не обнаруживал. Раз уж так получилось, то и ладно.

Конечно, ничего «ладно» и у него не сходило. Время было боевое: в начальство чаще всего литераторы влетали на публицистическом коне. А если оттуда вылетали, то вверх тормашками. Либо бунтуя против единомыслия, либо лютуя против инакомыслия. Но не Федин. Он и книги писал, и начальственные функции старался исполнять — так, как по таланту получалось. Естественно.

Но в жизни между тем происходило так много противоестественного, странного и неожиданного. Возникали непреодолимые коллизии, интриги и противоречия, с которыми пытался сражаться Федин.

Его многолетнему другу и соседу по даче Борису Пастернаку присудили в Стокгольме Нобелевскую премию за роман «Доктор Живаго», а у себя дома с задействованием всех общественно-государственных рычагов заставили от нее отречься, исключили из Союза писателей, травили на собраниях и в печати, ускорили безвременную смерть... В 1965 году, в самом начале брежневского правления, затеяли показательный судебный процесс и на долгие сроки отправили за решетку Абрама Терца и Николая Аржака (псевдонимы А.Синявского и Ю. Даниэля) за публикацию собственных литературных сочинений за рубежом. Сейчас это выглядит почти щедриной фантастикой... В 1968 году всё руководство Союза писателей СССР, за исключением тройки смель-

чаков (Твардовского, Леонова и Симонова), подписало печатное одобрение вторжения войск Варшавского пакта в Чехословакию, где единомышленники Дубчека пытались соединить социализм со свободой...

Какова была истинная роль Федина в этих историях? В нынешнем широком хождении образ искривлен и окарикатурен. Наряду с правдивыми фактами гуляет много вымыслов и мифов на этот счет. Цель художественного расследования — из горы свидетельств и документов извлечь истину и обрисовать реальный портрет живого человека.

А противостояние Солженицыну в ответ на громкое Письмо IV съезду? Это что, тоже естественно? А участие в разгоне «Нового мира» — вернее, неучастие в попытках спасти журнал от разгона? Дойдём, дойдём подробней и до этих страниц биографии вместе с Оклянским, а пока вместе с ним оценим общий ход жизни героя.

Скорее всего, так: личное знакомство молодого журналиста с живым классиком, перешедшее в искреннюю привязанность, не помешало трезвой оценке тех эпизодов (вроде части из вышеупомянутых), в которых Оклянский с Фединым решительно расходился.

Или так: решительное расхождение с живым классиком и бескомпромиссная оценка фединских компромиссов с режимом не помешали Оклянскому сохранить личную симпатию к нему и дружеское расположение.

Какой вариант лучше?

Я бы сказал: оба хороши. То есть оба годятся. Раз уж так получилось.

В характеристике героя варианты повествования могут сработать оба. В смысле: книги Федина были и остаются на книжных полках, и мы вольны избирать в любимый круг чтения что кому по вкусу: «Города и годы», «Трансвааль», да хоть многоруганного «Горького среди нас».

Но для тех, кого интересует история страны и роль в ней отдельных личностей, включая служебную карьеру общественного деятеля и художника, представленные в книге разыскания имеют собственную значимость. По аналогии Оклянский предлагает вдуматься в путь Державина, который стал «долголетним

высоким сановником при Екатерине II». Вы можете изучить дела сановника (хотя бы в еврейском вопросе) и получить представление о том, как при Екатерине II такие дела делались, а можете плюнуть на те дела, переписать себе гениальные строки: «Река времён в своём теченье...», и они войдут в вас на всю жизнь.

В пересчёте на безумный (поначалу такой многообещающий) Двадцатый век всё приобретает «железный» характер (с кровавым оттенком). Но человеческие чувства не исчезают. Хотя и одеваются в воинские мундиры.

Товарищ Сталин в мундире генералиссимуса может предлагать товарищу Фадееву самому догадаться, кто в его писательском окружении является врагом народа, но за этим издевательством можно усмотреть и заботу товарища Сталина о том, как удержать военный строй в стране, которая победит в смертельной войне...

Фадеев стоит во время разговора почти по стойке «смирно». Но дома (если вы читали воспоминания его жены Валерии Герасимовой, то знаете) он будет кататься по полу с рыданиями: «Не могу! Не могу больше!» И покончит Фадеев с собой уже без всякого генералиссимуса — от угрызений совести и от ощущения нравственного тупика.

Лучше не сбрасывать со счетов человеческие трагедии. Конечно, во власти оголтелого начальства всегда есть возможность спустить на хлипкие шеи писателей цепных псов «из органов»... Чтобы эти псы держали строй, а писатели, как тихие мыши, прятались бы по углам... Эта самохарактеристика Федина, цитируемая Оклянским (насчет шмыганья вдоль плинтусов) очень образна (сказывается талант Федина), но особенно эффектна в соседстве с образом поведения Анны Ахматовой (которую никакие плинтусы не спасли бы от экзекуции), — в положении отвергнутой она покоряется необходимости «быть именно отвергнутой», ибо «достойна играть и эту роль избранницы» (избранной для унижения). Многие страницы в книге содержат новые документы и дают новые представления о долготелних отношениях Федина и Ахматовой.

Федин ни на какую такую роль не претендовал и не годился. Но он, радетель «чистого искусства», будучи избран на роль идеологического вредителя, как оно случилось после провокационного (заведомо без фамилии редактора) издания в 1944 году его книги «Горький среди нас» — «обращён в отщепенцы, выставлен у позорного столба со связанными назад руками, перед толпой остальных, в него плевали и кидали камни ближайшие соратники и товарищи по перу. Так отучали вольнодумствовать».

Да он и не собирался вольнодумствовать. Он думал и писал своё. А жуть поношений — терпел. *Раз уж так получилось.*

Но почему не стерпел бунта Солженицына против этой жути?

Оклянский, потрясённый позицией Федина, высказал ему всё, что об этом думает.

А Федин?

«Федин, выслушав меня, откинулся на спинку высокого кожаного кресла. Некоторое время испытующе на меня смотрел, потом произнес неожиданно резко и сухо:

— Вы знаете, вот мы будем отмечать пятидесятилетие Октябрьской революции. В девятнадцатом году я был в осажденном Юденичем Петрограде, можно сказать, в пекле Гражданской войны... А он против советской власти. Как же я могу его поддерживать?»

Что же, Солженицын в разгар либерализации — против советской власти?

И да, и нет. В его бунте нет отчётливого желания её скинуть. А есть — желание продвинуть в печать «Раковый корпус». И заодно — заменить руководство писательского Союза, которое уж точно ассоциировало себя с советской властью. (Хотя дома эти деятели могли кататься по полу и кричать: «Не могу!»)

Дело в том, что любое изменение основ и в Оттепель, и в Перестройку сливалось с революцией и только с революцией. Это, между прочим, отлично понимал Юрий Трифонов, еще один из сквозных героев книги, говоривший, что он против всяких революций. А какой ещё вариант смены власти знало тогда советское население, воспитанное на героике победоносной Гражданской войны и выигранной на той же героике Великой Отечественной? И был ли ещё какой «мирный» вариант преодоления сталинской

партийной диктатуры, кроме маячившего в головах очередного «взятия Зимнего»? Это теперь, полвека спустя, мы знаем, что эпохи сменились без большого кровопускания, и на месте «Советского Союза» возрождается «Россия» (ещё вопрос: в каком качестве возрождается, и что ждёт страну впереди, и как примут это люди). А тогда, когда Солженицын пошёл в атаку на власть, — что, кроме кровавого передела, могло возникнуть в воображении Федина?

Партийные идеи? Страх за «коммунизм»? Да ничего такого и не было поначалу в его «путаных» и «лоскутных» убеждениях, которые зацепили его в пору Революции и Гражданской войны — и которые он терпел, раз уж так получилось, а потом при первой возможности вышел из партии и никогда в неё не возвращался.

А вот «выйти» из России, из страны, из народа, склонного к бунту, бессмысленному и беспощадному, никогда не мыслил. И при первых признаках солженицынского бунта — естественно, отшатнулся.

Хотя в прямой полемике с великим бунтарём, опытным бойцом и беспощадным ниспровергателем на «расширенном заседании Секретариата СП СССР» ничего не мог ему противопоставить, кроме «неуверенных старческих бормотаний».

Что я прибавил бы к этим сценам, ярко описанным у Оклянского? То, что должно было особо покоробить Федина как русского литератора: крутой напор Солженицына по продвижению в печать собственного творчества. Телёнок бодался с дубом, даже когда угодило зёрнышко между жерновов... И «западная поддержка» шла в ход.

А что, кроме «западной поддержки», мог тогда инкриминировать Солженицыну Федин? Это сейчас ситуация такая, что на Западе могут упиваться каким угодно нашим автором, а он этого и знать не знает, но когда советская власть ещё олицетворяла собой и прошлое, и настоящее, и будущее, — только за эту «западную поддержку» и мог ухватиться Федин, призывая Солженицына от неё откеститься! Вот и «бормотал» Федин, что «Солженицын должен выступить в печати против западной клеветы».

Сейчас это воспринимается уже не без юмора. А тогда было продиктовано образом мыслей, вытекавшим из образа жизни.

А если образ жизни (с шуточками генерального секретаря и домашними истериками тех, кто терпел эти шуточки) кого не устраивал, так надо было менять образ жизни. То есть эмигрировать, как многие близкие Федину люди. Как Бунин, опять-таки герой книги, не решившийся вернуться на родину из послевоенной полуголодной Европы — потому что чуял на родине всё то же «окаянство».

Чуял и Федин.

Повторял: «А что я могу сделать?» Подчинялся обязанностям начальника (хотя в начальники без нужды не стремился, а согласившись, особого зла людям не делал). С неизбежным — примирался.

Не нашёл в себе сил защитить родной журнал, который разгоняла чужая власть (хотя от участия в разгоне отстранился).

Пытался продолжить «Костёр» — главное, финальное, итоговое своё сочинение (хотя сил уже не было — костёр угасал).

До последней минуты пытался сохранить лицо, образ мыслей, образ жизни.

«Раз уж так получилось...»

Лев Анненский

Часть первая

МНОГОСЛОЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Герой этой книги любил вести дневники. Они были для него чем-то вроде волшебного зеркала, в котором сохраняются черты и лики стремительно несущегося и безвозвратно исчезающего времени. Время это можно было остановить, задержать, вновь в него взглянуть. Живой поток жизни исчезает, а фотографии остаются. И это для него лично вдобавок создавало в его напряженной, тяжелой и нередко криводушной жизни что-то вроде отдушины, которая давала свежий кислород. Тем более что часть,

притом иногда немалую из сделанного ошибочно или вопреки совести, он в меру сил затем старался выправить и устранить. А поскольку многие годы этот человек находился на стремнине общественно-политической жизни и отечественной культуры и не был обделен талантом зоркой наблюдательности, то уже по этим искренним, про запас, и для одного себя писавшимся тетрадям, страницам, гроссбухам и папкам можно узнать о многом. Для любителя «исторических расследований» такие исповеди и депеши бывшего незаменимы.

Этим человеком был русский советский писатель и общественный деятель, широко известный за рубежом, популярный в особенности в странах немецкого языка, прозаик-романист, новеллист и мемуарист — Константин Александрович Федин (1892—1977). Лауреат Сталинской премии по литературе (1949), действительный член Академии наук СССР (1958), Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР не одного созыва и бессменный руководитель Союза писателей СССР с июня 1959 года по день своей кончины. По советским ранжирам такой пост считался министерским.

Почти два десятилетия Федин оставался министром советской литературы. Тем парадоксальней его доверчивая, эта, почти «кислородная», привязанность к дневниковым заметкам и исповедам.

Впрочем, иногда этот добровольный летописец впадал в отчаяние от кажущегося абсурда и бессмыслицы собственного труда. Когда ему было уже 76 лет и минуло десятилетие со дня его пребывания в литературных министрах, он вроде бы решил покончить с этой как будто бы бесполезной тратой времени.

1 октября 1968 года Федин записал в одной из тетрадей, подчеркивая главные для себя мысли: «Это особая тетрадка брошенных начал. От какого-то безверия в себя, в свою силу и во все на свете.

Я перестал вести заметки дней, которых ненужность мне сделалась очевидной. Есть у нас — в удивительно чудодейственном русском языке — словечко, исчерпывающее, до доньшка объясняющее мое состояние последних лет: опостытело всё вокруг и в самом себе».

Опостылело всё вокруг и в самом себе, так, что даже картинки памяти потеряли значимость и быллой смысл! Для человека, восседавшего, будто орел на камне Парнаса, на вершине строго выстроенной государственной пирамиды под названием советская литература, это означало выстрел в самое сердце. За двенадцать лет до этого его друг, один из предшественников на том же посту и сосед по даче, бывший дальневосточный партизан Александр Фадеев, такой выстрел в сердце из именного пистолета по сходной причине совершил буквально. Федин ограничился словесными фиоритурами. Количество письменных исповедей, правда, заметно поубавил. Но, в общем, борясь с собой и по возможности выправляя ущербы совести, продолжал жить по-прежнему.

Тем более что за плечами в его биографии было много пестрого, едва сочетаемого, разнорукного, как многослойный пирог. Горы противоречивых деяний и поступков скопилось позади.

Разлохмачена и маскарадна уже ранняя его биография, как маскарадна и пестра была сама эпоха.

Сын владельца саратовского писчебумажного магазина, выходца из крепостных, женатого на дворянке, Константин по настоянию отца, видевшего в нем преемника своих дел и стараний, обучался в Московском коммерческом институте. Чтобы поднабраться бойкости в немецком языке, студент в самый канун мировой войны уехал на учебную стажировку в Германию. Но тут грянули перевернувшие всякие планы и расчеты события. Так что четыре года расцвета молодости в пору мировой войны Константин провел в Германии на принудительном положении «враждебного иностранца» и гражданского пленного. Для пропитания давал домашние уроки. Обладая абсолютным музыкальным слухом, был хористом и актером-солистом на сценах немецких провинциальных музыкально-драматических театров. Ежедневно отмечался в полиции.

Левый социал-демократ по убеждениям осенью 1918 года по принудительной высылке вернулся в полыхавшую революционными событиями Россию. Примкнул к большевикам и вступил в партию. В переломном 1919 году в качестве журналиста и политработника вместе со своей Отдельной Башкирской кавалерийской

дивизией, при которой состоял, участвовал в обороне Петрограда от войск Юденича.

Но вскоре события повернулись и стремительно понеслись в сторону обратную. В 1921 году, с началом НЭПа, Федин вышел из партии. Способствовали этому два события. Молодой литератор внутренне не разделял жестокости подавления Кронштадтского восстания — «матросского мятежа», как его именовали. Позже он даже и печатно называл эту одну из причин добровольной сдачи партийного билета «надлом весной 1921 года (Кронштадт)». Политика партии становилась все более непредсказуемой, произвольной и беспощадной.

Но другой, может, даже и более глубинной внутренней причиной было желание отойти от суетливой злободневности, от политики. Целиком отдаться служению искусству. Причем искусству истинному — независимому от конъюнктуры дня, знающему только трех богов — Истину, Добро и Красоту. «Моя революция, кажется, прошла, — написал он в той же автобиографической заметке. — Я вышел из партии, у меня тяжелая полка с книгами, я пишу».

Способствовали этому и его тогдашние учителя и образцы для подражания — Горький, вскоре на долгую полосу лет отбывший в эмиграцию, и Евгений Замятин, знаменитый уже к той поре мастер прозы, с которым Федин близко познакомился, а позже сдружился... Хотя и издали, влекущим и завораживающим оставался пример Александра Блока.

Вскоре сыскались и подобались к тому же единомышленники, часто близкие по возрасту, а главное — по направленности творческих исканий. 1 февраля все того же знакового 1921 года при петроградском Доме искусств объявила о своем рождении литературная группа «Серапионовы братья». В десятку избранников «нетенденционного», на словах даже «чистого искусства», входили поэты, прозаики и критики И. Груздев, М. Зощенко, Вс. Иванов, В. Каверин, Л. Лунц, Н. Никитин, Е. Полонская, М. Слонимский, Н. Тихонов и он сам, К. Федин. Теперь у этой десятки избранников (а все они позже обрели широкую известность или даже прославились) была своя партия и своя цель в жизни.

Впоследствии сталинский идеолог А.А. Жданов в докладе 1946 года «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» окрестил «серапионов» отщепенцами. Их отрыв от жизни был якобы настолько удручающ, что на вопрос: «С кем они?» — не находилось лучшего ответа, как: «Ни с кем. Мы с пустынным Серапионом...» На самом деле все, конечно, было не так. Погруженность в творческие искания и высокие требования к художественному мастерству не мешали лучшим из них зорко вглядываться в жизнь.

От хорошего знания жизни и не без влияний творческого запала этой группы в исканиях художественной формы созданы все лучшие произведения Федина 20-х годов. Да и в обыденной повседневности писатель зорко видел и отмечал главное из происходящего вокруг. Критические общественно-политические настроения и взгляды Федина углублялись и нарастали. Тем более что происходившее в СССР год от года давало для этого все больше оснований и поводов.

Давным-давно, еще в первой половине 20-х годов, с помощью фальшивых политических процессов были ликвидированы последние группы левых эсеров и меньшевиков-интернационалистов, которые вместе с большевиками совершали революцию и рядом воевали в Гражданскую войну. Арестами, ссылками и судебными расправами, типа «процесса Промпартии», переломили хребет технической и научной интеллигенции. Для масс никакой демократии в стране тем более не существовало. Народ лишали права даже замаливать грехи. Церкви через две на третью превращались в клубы и склады, а в Соловецком монастыре и на прилегающих островах устроили огромный концлагерь.

Отмена НЭПа на исходе 20-х годов полностью превратила экономику в монополию государства. Труженики городов снова стали наемными пролетариями. А объявленная на рубеже 30-х годов «политика сплошной коллективизации и ликвидации кулачества как класса» в новейшей модернизированной форме возвращала беспаспортное крепостное право в деревню. Даже внутри правящей партии все больше сжимались и сокращались остатки того словесного равноправия и вольности, которая велась со времен подполья и еще оставалась при Ленине. К концу 20-х годов, после

разгрома так называемой «троцкистско-бухаринской оппозиции», там были и вовсе уничтожены остатки прав на свободное высказывание. Вверху теперь был один единоличный хозяин и правитель. Не царь, но генеральный секретарь! Партия и государственный аппарат окончательно превратились в послушный инструмент и единоличное орудие правящего цезаря. Вождь мог творить и вершить все, что заблагорассудится.

Федин многое из происходившего воспринимал остро. К концу 20-х — началу 30-х годов он уже и открыто говорил близким друзьям об установлении в СССР личной диктатуры — что «партии нет, что есть один Сталин, что положение в партии и стране грозит катастрофой».

Что оставалось делать ему? Что писать? В 30-е годы он попытался выехать на сочинении «антикапиталистических романов», тем более что буржуазный Запад он хорошо знал изнутри. Так появились две книги романа «Похищение Европы» (1929—1935) и роман «Санаторий Арктур» (1937—1940).

Но выходом из положения это быть не могло. Это позволяло жить, но не давало уверенности. Через сеть осведомителей менявшее названия ГПУ-НКВД-НГБ уже собрало на Фебина солидное досье. Готовился его арест вместе с группой писателей-единомышленников для публичного судебного процесса.

В порядке подготовки общественного мнения либо для острастки автора в двух ведущих партийных органах, а затем на писательских собраниях в июле 1944 года был устроен показательный разгром новой двухтомной мемуарной книги Фебина «Горький среди нас». Это было, не надо гадать, последнее предупреждение...

Чуть ли не пять лет после этого Федин жил в обстановке страха и ожидания нового удара. Происходило это в то самое время (1943—1948), когда он работал над романами дилогии «Первые радости» и «Необыкновенное лето». В ту самую долгую полосу обостренных внутренних поисков компромисса, согласия со сталинской системой, которая бы дала ему возможность жить и писать. А, может быть, и просто существовать на белом свете.

Но раньше, в 30-е годы, Федин пытался купить себе похожее право относительно малой ценой. Прежде всего, усиленной вер-

нопопданной критикой язв капиталистического Запада, которые действительно имеются в наличии. Тем самым в художественном тексте косвенно или, на худой конец, скупыми мазками воздавалась дань восхваления их антиподу — якобы безупречной социалистической системе и столь же будто бы образцовой советской державе. К полезному для режима творчеству романиста добавлялось часто услужливое поведение автора на некоторых общественных постах, на которые его выдвигали, да отдельные, «в кон», «актуальные» высказывания в речах и газетных выступлениях.

Теперь в прямой ход было пущено то, ради чего он жил, и та самая свобода творчества, которой он добивался.

Это выразилось в безудержном восхвалении лично Сталина в самом пухлом из всех романов Федина (почти 700 страниц текста) — «Необыкновенное лето» (1945—1948). Автор торопливо вписал в эту книгу о событиях Гражданской войны специальную главу, которую назвал «Эпилог к военным картинам».

Там расписан небывалый полководческий гений будущего вождя народов. Внешне малоприметный рябой сорокалетний грузин, прибывший в качестве члена Реввоенсовета на Южный фронт, кстати, вовсе не летом в соответствии с названием романа, а в середине октября 1919 года, по этой главе судя, в мгновение ока оказывается победителем опытных профессионалов белых военачальников — генералов Деникина, Мамонтова и Шкуро... Революция спасена. Необыкновенное, переломное лето 1919 года свершилось. А на двух последних страницах романа Сталин, начальственно и отечески пожимая руку, уже напутствует на дальнейшие подвиги одного из главных и достаточно живо изображенных персонажей — молодого саратовского большевика Кирилла Извекова...

Впрочем, будем снисходительны. Автору было, как уже сказано, отчего торопиться. Четыре года он писал эту книгу, находясь в полуопале, едва избежав скамьи подсудимых по намечавшемуся громкому политическому процессу, о чем мог лишь догадываться. Главным событием 1949 года в стране было 70-летие И.В. Сталина. Здание Музея революции возле Пушкинской площади в Москве превратили в Музей подарков вождю. Каждый трудовой коллектив, каждый честный советский патриот, а тем более писатель,

по-своему должны были отметить и внести собственную лепту в это грандиозное торжество всего прогрессивного человечества.

Федин тоже сделал, что мог. И хлопоты его не пропали даром. Дилогия его романов — «Первые радости» и «Необыкновенное лето» — в том же 1949 году была удостоена Сталинской премии первой степени, а бывшие его политические проступки и прегрешения больше не упоминались. С этого момента автор, что называется, снова стремительно пошел в гору..

Новые посты и назначения стали пролетать, как полустанки за окном поезда. А в мае 1959 года он очутился уже в апартаментах первого секретаря Союза писателей СССР. Лиха беда начало (как, впрочем, видим и не начало то было). Карьерные ухватки и приемы, видоизменяясь по формам и видам, копились и оттачивались с годами.

И так бывало у Фебина не только в сталинские времена, со Сталиным, но и с Хрущевым и далее.

В июне 1963 года под суетливым верховодством тогдашнего секретаря по идеологии Л.Ф. Ильичева проходил Пленум ЦК КПСС, посвященный «великому десятилетию». Ровно десять лет после ареста Берии и расчистки ближайших подступов к власти правил страной Н.С. Хрущев.

По воспоминаниям «рабочего» секретаря Союза писателей СССР К.В. Воронкова, узнав о том, что его приглашают выступить на Пленуме, Федин в присутствии подчиненных публично изрек: «Вот какой чести я удостоен. Слыхано ли, чтобы меня, беспартийного старика, пригласили на Пленум высшего органа партии? Это невероятно. Да еще просили выступить...»

Панегирики в честь «великого десятилетия» и лесть в адрес его первейшего строителя «дорогого Никиты Сергеевича» с главной трибуны Пленума лились потоками. И Федин не отстал от других. Бывший актер, он это умел.

Но вот год и четыре месяца спустя свершился государственный переворот и в октябре 1964 года «дорогого Никиту Сергеевича» свергли, а само «великое десятилетие» объявили во многом плодом волюнтаризма и прожектерства. В тот же день Федин без колебаний объявил своему формальному помощнику — рабочему

секретарю правления СП СССР К.В. Воронкову — в записи последнего: «Какие события, какие удивительные события... Я с интересом слушал товарищей Брежнева и Косыгина... Ну, переодовицу в “Правде” вы, конечно, читали. Прояснены важнейшие вопросы, которые волнуют всех нас. Это хорошо. Решение октябрьского Пленума показывает силу нашей партии и ее Центрального Комитета».

Конечно, если бы Федин был только заурядным или даже махровым карьеристом, о нем незачем было бы писать книгу. Нет, он бывал очень разным, этот действительно многослойный человек.

В качестве одного из многих литературных питомцев этого крупного художника и по дальнейшим жизненным раскладам мне привелось знать К.А. Фебина на протяжении почти двадцати лет. Даже и внешне я видел перед собой очень разного человека. Он бывал неприметен, сноровист, как скромный литправщик, весь поглощенный привычным занятием — доделкой и шлифовкой очередных готовящихся к печати машинописных страниц; и бывал преисполнен церемониальной значительности, подобающей на официальных выходах патриарху и главе литературного цеха; бывал любезным, обходительным европейцем, умеющим укрыться при случае за светской вышколаенностью манер; и бывал попростецки хлебосолен, как саратовский мужичок, согревающий гостя в неторопливом домашнем застолье; бывал лукав, дипломатичен, уклончив при ином, нежелательном для себя повороте беседы; и бывал внимательным, дружески участливым к чужой жизни, не пряча более от постороннего взгляда нежной, ранимой души художника. Он бывал всяким.

Вот таким «разным» и «всяким» я и попытался его написать, когда представился случай. Через два или три года после смерти К.А. Фебина издательство «Молодая гвардия» заключило со мной договор на книгу «Федин» для серии ЖЗЛ. Но именно вот тогда-то и пришлось столкнуться с первым, всеобъемлющим мифом о Фебине, который взращивала и насаждала пропагандистская партийно-государственная идеологическая машина.

ЗНАК САТАНЫ

В 1986 году, после пяти лет проволочек, в серии ЖЗЛ издательства «Молодая гвардия» вышла моя биографическая книга «Федин». С разных сторон поминают ее и поныне. Отношу это не столько к свойствам книги, сколько к предмету повествования.

Споры возникли еще задолго до появления ее на свет и чуть ли не до последнего дня сопровождали ее скрипучий и тягостный путь в недрах издательства. Претензии тогда, в советские времена, были, правда, легко представить какие. Недостаточно показана величественность самой фигуры, ее глубокая коммунистическая партийность, верность идеям ленинизма, тесная связь с историческими обстоятельствами эпохи, сила ее положительного примера и воспитательного образца для молодежи и массового советского читателя. Словом, тема достойна и велика, а герой пока что приземлен и мелок. Недотягивает до нравственного образца, по сравнению с происходящими вокруг героическими свершениями. Это какой-то колеблющийся интеллигентский хлюпик. Требуется поработать еще и еще.

С Фединым меня связывали, как уже сказано, отношения ученика к учителю на протяжении почти двадцати лет. Но именно хорошее знание предмета в данном случае и являлось дополнительной бедой. Я не мог грешить против истины, «малевать икону», как бы выразился сам Константин Александрович. Измышлять и выдумывать то, чего не было. Но без этого примерный и героический лик не складывался, не задавался. Духоподъемная биография замечательного человека для серии «Жизнь замечательных людей» (в тогдашних пропорциях «масла масляного») не вытанцовывалась.

На обороте титула вышедшей книги обозначены только два официальных рецензента рукописи — сектор советской литературы ИРЛИ АН СССР (Пушкинский дом) в Ленинграде и Госмузей К.А. Фебина в Саратове. На самом же деле какой строй идеологических церберов и заинтересованных лиц злосчастное сочинение минуло, сколько рук в разных вариантах мусолило его страницы, сколько мозгов прокручивало дальнейшие варианты судьбы рукописи, иногда, впрочем, никакого отношения к лите-

ратуре не имеющие... И продолжались эти хождения и борения более пяти лет.

Для меня все эти хотения, желания, советы, побуждения и приказы во многом аккумуляровались и материализовались прежде всего в фигуре моего ведущего редактора по ЖЗЛ. За давностью лет назовем его N. Главными отличительными его чертами были неутомимое усердие и работоспособность.

Аккуратист, с короткой стрижкой и желчным желтоватым лицом, лет 35, однако же, внешне очень вежливый и обходительный, мой редактор, как он с готовностью о себе рассказывал, был сыном милиционера. И до сложного искусства составления жизнеописаний выдающихся людей дошел собственной выучкой и трудами. Он заранее точно знал, кому какая биография положена.

Несколько лет мы встречались с ним иногда раз в квартал, иногда раз в полгода или того больше в зависимости от тех замечаний по рукописи, точнее, письменных заключений по ней, которые я в очередной раз через него получал. Иногда это сопровождалось ссылками на очередных рецензентов, контролирующие или директивные инстанции, иногда выдавалось за свежий взлет неожиданных собственных прозрений. Но во всех случаях они подлежали неукоснительному исполнению — и без такового книга выйти в свет не могла.

— Вот, вот! Сделайте только это! — глядя на меня почти пылающим, хочется сказать, комсомольским взором, уверял N. — Только это! И мы немедленно подписываем книгу в печать. Рукопись прекрасная. Читатель и так уже заждался. Только это — и больше ничего! Вы же ученик Константина Александровича. Вы обязаны перед его памятью, в конце концов. Только это! Что вам стоит? Пожалуйста...

Несмотря на скромный вроде бы пост, который он занимал, власть ведущего редактора во вверенной ему сфере была неограниченной. За ним стояли столпы каких-то невидимых для меня инстанций, мнений и авторитетов. Жаловаться на него было некому. И главный редактор издательства, и не один сменившийся за это время заведующий редакцией так или иначе повторяли то, что я уже слышал или читал в письменном виде от N. Обойти его или различными маневренными путями избавиться от него старались

многие авторы, в том числе и некоторые мои литературные друзья и знакомые. Некоторым из них это удавалось, мне не удалось.

Происходило это в самые душевные годы брежневщины. В издательствах тогда мариновались, калечились, выхолащивались, а часто в конце концов и упокоивались в редакционных столах и архивах множество нежелательных рукописей. Я это знал. И поэтому не торопился. Иногда приходили в голову новые эпизоды и сцены, которые я вставлял взамен тех, на которые особо пикировали мои зрители. В общем, силы по переделкам уходили на то, чтобы для блезира как бы исполнить некоторые замечания, но притом не испохабить рукопись.

Редакция и верхние инстанции, конечно, тоже понимали такие уловки. И эта игра в кошки-мышки, впрочем, всегда с неизбежной порчей рукописи, длилась и тянулась. Мы толкли воду в ступе пять лет. Мне и не отказывали окончательно, но меня и не печатали.

А однажды, солнечным весенним днем, на исходе каких-то сроков N вдруг проникся ко мне дружеским расположением. Даже привстав за своим столом и улыбаясь весенней улыбкой, пожимая мне руку своей худощавой рукой, застегнутый прежде на все пуговицы, теперь он легко и игриво предложил:

— Знаете, что, Ю.М., хватит вам мучиться над этой рукописью. В самом деле, хватит! Устали уже, наверное. Сколько можно! Оставьте мне ее на месячишко. Я текст перепишу, как требуется, может, вдвоем с помощником — не возражаете? Друг на друга обопремся. Не сомневайтесь, сделаем все, как надо, и она с колес пойдет. Железобетонно... Хорошо?

От изумления я остолбенел. И не прощаясь, двинулся к двери. Отношения прервались, рукопись на некоторое время зависла.

И только внезапное наступление перестройки, перетряхнувшее тину прошлой эпохи, в том числе и в издании биографий, вдруг вытолкнуло эту залежалую и искалеченную книгу в свет.

Новым заведующим редакцией ЖЗЛ стал тридцатилетний выпускник философского факультета МГУ, кандидат наук. Человек эрудированный, притом с особой сферой творческих интересов. Он занимался культурой и литературой русского эмигрантского зарубежья. Издана была у него уже и собственная книга на эту

тому. Позже под научной редакцией А.Л. Афанасьева и с обстоятельным его предисловием в нескольких томах вышла антология текстов «Литература русского зарубежья» (изд-во «Книга»).

Кто такой Федин, в данном случае объяснять не требовалось. Прозу Фебина высоко ценил Бунин, да и вообще знали в эмигрантской среде, широко переводили на Западе. Новому заведующему я твердо заявил, что ни при каких обстоятельствах с Н больше работать не стану. Кончилось тем, что Афанасьев вызвался лично быть редактором книги. Перечитав рукопись, вставил ее в план выпуска. Теперь нависали сроки выхода. В основном приходилось довольствоваться той искалеченной рукописью, в какую она обратилась в результате многоглазых чтений, пятилетних рецензирования, выстругиваний, шлифовок, срезаний острых углов и т.д.

Со всеми этими отметинами данному детищу и предстояло гулять по свету. Но на том дело не кончилось. Прежний долготелый попечитель, хотя и не был больше моим редактором, но продолжал сидеть в своем кабинете и, судя по всему, не зря. В этом скоро мне пришлось убедиться. На суперобложке вышедшей в 1986 году книги нежданно-негаданно появилась многозначительная черная отметина, набранная, однако, малоприметным, мелким типографским шрифтом — цифра 666.

Вообще-то на суперобложке, как это и следовало, стояло: «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ. *Серия биографий*. Основана в 1933 году М. Горьким. ВЫПУСК 4». Это означало, что «Федин» — четвертая книга ЖЗЛ за 1986 год. И только в самом низу, под словом ВЫПУСК 4, крохотными, почти микроскопическими циферками было выставлено в скобках (666). Традиционно следовало читать, что таков порядковый номер книжки с момента, как серию создал Горький в 1933 году. Но, возможно, это и была некая ядовитая стрела, призванная сразить автора?

В массовом обиходе советских времен подобная символика сознавалась разве на уровне туманных отталкиваний, вроде как число 13. Плохо, мол, лучше не надо — и все тут! Тогда как 666, согласно евангельскому «Откровению святого Иоанна Богослова», это число Зверя, знак сатаны.

Впрочем, бывают же и чисто технические совпадения? Раз числа 13 или 666 существуют, значит, когда приходит черед, кто-то их должен носить. Может, это вовсе и не чья-то злая воля, а случайное совпадение? Тем более что с порядковой нумерацией выпусков за столь долгий и бурный срок с момента создания горьковской серии существовало много хаоса и неразберихи. Требовалось проверить.

Оказалось, что «пострадал» таким образом не я один. В нынешнем печатном Каталоге ЖЗЛ раздел книг, явившихся на свет в 1986 году, кончается извещением. Оно набрано частоколом из крупных заглавных букв. «ВЫПУСК 666 ОШИБОЧНО ПРИСВОЕН ДВАЖДЫ», — гласит предупреждающая надпись. Второй книгой, носящей ту же цифру 666 (Знак сатаны), почему-то является книга «Писемский» другого автора. Кто же в таком случае «грешник» реальный, а кто попал в этот разряд по умышенному произволу или технической случайности? «Федин» или «Писемский»? Или же оба вместе?

У меня в избытке было аргументов и доказательств реального оборота событий. Но на проявление закулисы вдобавок сработали обстоятельства. В следующем году одну из книг переиздавали. У редакции были время и шанс, чтобы разобраться с путаницей и на сей раз восстановить истинную нумерацию. Переиздавался «Писемский». И что же? Маленькая циферка осталась там — 666. Книга «Писемский» хорошая, и качества ее тут совершенно ни при чем. Значит, с моей книгой кто-то нарочито схулиганил. Смачно плюнул вслед: мол, более сатанинской книги еще с незапамятных времен и десятилетий не издавалось. Кто же даже чисто технически мог это сделать? Гадать не приходилось.

Стрела метила в автора. Но в результате тень поневоле падала и на героя. Об этом происшествии я сделал представление в издательстве. Но тираж был уже отпечатан, исправить ничего нельзя. «Бросьте, Ю.М.! — утешали меня в верхних кабинетах. — Кто это заметит и поймет? И кому это нужно? Да и отстранение от редактирования книги — тоже чего-то стоит. Надо учесть...» Словом, раздуть историю не стали.

Вещь, конечно, из дали времен не просто хулиганская, но и до невежества нелепая. Если вспомнить предъявлявшиеся до сих

пор требования по доработке книги в сторону, что называют, прямо наоборот — изготовления некоего сусального кремлевского пряника. А теперь... Не хочешь, мол, совсем идеального героя, коммуниста из коммунистов, не слушаешься руководства и меня лично, нарушаешь неписанные установления и порядки, ущемляешь мои и еще чьи-то там хотения, так вот на тебе — как курице на свежеснесенном яйце, цифирка, черная метка — 666. Мы же — коммунисты, комсомольцы, но и православные к тому же...

Впрочем, мало ли карикатурного происходило и происходит у нас? Я же тогда впервые столкнулся с разносчиками клеймящих литературных страшилок, а их немало — от фашистских знаков до производства автора в масоны. Узнал им цену. И утешился мыслью, что читатель разберется. А всякие заигрывания с символикой скверны еще никогда не заканчивались добром для самих затейщиков.

Так было с этой ЖЗЛовской биографией «Федин», вышедшей в 1986 году обычным по тем временам тиражом 150 тысяч экземпляров. Но параллельно и почти одновременно разворачивались литературные события, в центре которых был другой ученик этого писателя, гораздо более к нему близкий и осведомленный. Этим учеником был Юрий Трифонов.

«Надо ли вспоминать? Бог ты мой, так же глупо, как: надо ли жить? — декларировал Ю. Трифонов на открытии своего романа “Время и место”. — Ведь вспоминать и жить — это цельно, слитно, не уничтожимо одно без другого и составляет вместе некий глагол, которому названия нет».

Было это в 1981 году. Книга печаталась в журнале «Дружба народов» и оказалась последней из того, что он написал.

Среди прочего в этом произведении Трифонов предпринял попытку в романной форме разобраться в давних отношениях, которые его много лет занимали и волновали, — в психологии и характере человека, которому был немало обязан. Этим человеком был советский классик и руководитель Союза писателей СССР Константин Федин. Тема книги — совесть и страх перед жизнью. Память романиста ощупывает события былого, начиная с пер-

вых проб пера, учебы в Литературном институте и дальнейших жизненных поворотов.

Рядом с мятущимся в поисках собственного пути молодым прозаиком Антиповым (во многом «альтер эго» автора!) представлен его литературный наставник еще студенческой поры Борис Георгиевич Киянов. К нему влечется и от него отталкивается Антипов.

Киянов — профессиональный мэтр с громким прошлым и сомнительным настоящим. Человек, способный к глубоким внутренним оценкам, оригинальным суждениям и выводам, не исключая и благородных поступков. Но слабовольный и нерешительный. Он находится под каблуком у своенравной и болезненно-деспотичной жены. Пятнает совесть нечистоплотными литературными сделками и общественными компромиссами. Сам это хорошо сознает, но уже не может остановиться и плывет по течению. От неудовлетворенности собой Киянов сторонится людей, проваливается в полное одиночество, попивает.

Что его толкает на это? Страх от давящей пяты сталинской диктатуры? Со многими душевными разветвлениями таких состояний не может справиться Киянов. Но дело не только в этом. Окружающая действительность, где трудового человека ежедневно подстерегают перенапряг сил, неопределенность обстоятельств, а в конце концов неизбежные болезни и смерть, и без того слишком опасна и страшна. А писатель Киянов внутренне слаб и среди жизненных предпочтений делает ставку на покой и благоденствие. Маленький штрих, выражающий внутренние стремления: «Всегда Киянова сопровождал особый писательский запах б л а г о п о л у ч и я — трубочного табака и одеколona». Детали, прямо списанные с прототипа.

Главный болезненный психологический синдром Киянова, как его в конце концов диагностирует Антипов, — это «страх перед жизнью, точнее, перед реальностью жизни».

На то, что психологический типаж Киянова соотносится с Фединым, в романе Трифонова указывают многие автобиографические черточки. Киянов ведет семинар по прозе, в котором состоит начинающий литератор. Он выделяет Антипова и покровительствует ему, начиная с осложнений при зачислении в Литин-

ститут. У Антипова (как и у Трифонова после расстрела отца героя Гражданской войны — «врага народа») мать по 58-й статье почти десять лет отбывала ссылку. И Киянову — Федину настоятельно советовали не допускать в свой семинар столь замаранного слушателя. Но он вопреки перестраховщикам выделил талантливого юношу и принял его...

Психология кабинетного человека, рожденного для письменного стола, увлеченного ценностями культуры, а вынужденного заниматься политикой, политиканством и администрированием, — таков типаж героя в романе «Время и место». Отсюда проистекают страх перед жизнью, малодушие и компромиссы ради личного покоя и самосохранения

Разумеется, Федин как фигура крупнее, чем отставной мэтр из Литинститута и нынешний сочинитель посредственной исторической беллетристики Киянов, и отношения между Трифоновым и Фединым были куда более многообразными и сложными.

Но если по размаху карьеры и масштабам личности Киянову и далеко до главы писательского объединения страны, каким стал Федин, то черты психологической общности между реальным героем и названным персонажем просматриваются и существуют. Ведь, в конце концов, «человек в футляре» из чеховского рассказа мог быть кем угодно — и учителем гимназии, и обер-прокурором Правительствующего синода.

В конце 70-х годов, когда составлялся коллективный сборник «Воспоминания о Константине Федине», я написал для него статью. Мой приятель Игорь Золотусский, которому я дал ее прочитать, подытожил свои впечатления в таких словах: «Это записки благодарного, трижды благодарного человека».

Тогда и теперь я больше всего боюсь быть неблагодарным.

От того, что писал о К.А. прежде, никак не отказываюсь и теперь. Но влюбленность способна слепить глаза. И с годами это становится очевидней. Отношения наши — литературного учителя с учеником — так или иначе ограничивали поле обзора. Разделявший иллюзии либерального коммунизма, долгое время далекий от официальной литературной кухни, да и по жизненной неискренности отчасти, многого, что открылось теперь, знать

я не мог, да и не понимал. И своего наставника видел главным образом с одной, лучшей и наиболее привлекательной стороны.

Было в этакой идеальной мемуаристке, как вижу теперь, даже что-то от социалистического реализма. Это лукавое духовное наваждение советской эпохи пронизывало все жанры и все искусства, в том числе и мемуаристику, и портретную живопись. Позже ходила даже шутка о парадном портрете. Если одноглазого, однорукого и одноногого хана посадить верхом на скакуна, дать в правую руку натянутые поводья, заставить правой ногой прищипорить жеребца и рисовать портрет только с правой стороны, — молодец получится хоть куда!

Себе в оправдание могу лишь сказать, что в моем случае правил не расчетливый умысел. Образ, который жил в воображении, когда я в очередной раз направлялся к Федину, был порожден лучшими чертами личности этого человека и напрямую соотносился с тем, каким К.А. воспринимал и хотел видеть себя сам. И таким видели его люди гораздо более проникательные и искусные жизнью, чем я. От Горького, Бунина, Ахматовой, Соколова-Микитова, Зощенко, Шукшина до Ромена Роллана и Стефана Цвейга...

Открывшиеся документы и взгляд из иной эпохи корректируют внутренний образ, исправляют портрет, делают его более объемным и верным. Лишь бы переоценка не сопровождалась недооценкой или перечеркиванием.

Злой рок действительно тяготел над этим высокоодаренным и внешне счастливым человеком, каким был Федин. И отразился на его посмертной судьбе. Он был талантлив, красив, удачлив, житейски благополучен. Но...

Об этом, собственно, весь дальнейший рассказ.

АКРОБАТЫ НОВОГО ЦИРКА

Как сложились литературное бытие и репутация Федина, долголетнего номинального литературного вождя, в повеявших ветрах свободы — в первые постсоветские годы? С присущей ему художественной проникательностью Трифонов стал зачинателем будущих дискуссий...

Пост первого секретаря Союза писателей СССР, на котором Федин находился двенадцать лет, не считая затем еще нескольких лет пребывания в председателях СП, как уже сказано, был министерской должностью. Одним из любимых его прозаиков с молодых лет был норвежский классик лауреат Нобелевской премии Кнут Гамсун, уже стариком, в годы немецкой оккупации запутавшийся в паутине коллаборационизма. И Федин, конечно не в прямом смысле, а в какой-то отдаленной степени, призрачными намеками, в старости, повторил его судьбу.

Федину принадлежат такие произведения, как романы «Города и годы», «Братья», «Санаторий Арктур», антиколхозная повесть «Трансвааль», предвосхитившая по времени создания известный рассказ «Усомнившийся Макар» Андрея Платонова, но намного превосходящая его по многообразию характеров и живописности картин, или мемуарное полотно «Горький среди нас»... Эти и другие явления прозы вызывали восторженные отклики у столь разных людей, как Борис Пастернак, Стефан Цвейг или академик Владимир Вернадский, творчество Федина высоко оценивали Иван Бунин, Анна Ахматова, Ромен Роллан...

Вместе с тем в последние десятилетия жизни Федин запятнал себя немалым числом приспособленческих поступков и моральных компромиссов в услужении дряхлевшему режиму. Причем властителям он прислуживал не столько рьяной готовностью или беспощадной исполнительностью, как многие другие, сколько бездействием или тихой, пуганой покорностью.

В дальнейшем подобное мы будем наблюдать не раз. Но вот для затравки характерный случай — поведение Федина осенью 1965 года, во время подготовки судебного процесса над А. Сиянским и Ю. Даниэлем. Абрам Терц и Николай Аржак (псевдонимы), как известно, тайно публиковали за рубежом свои резко разоблачительные сочинения, как было найдено затем, посягавшие на основы советской системы.

Осенью 1965 года минул лишь год после свержения Хрущева и перехвата власти брежневским руководством. Оно чувствовало себя еще не всегда уверенно, стремясь для наведения «порядка» в стране использовать среди прочего неосталинистские методы управления. Одной из первых таких проб и должен был явиться

политический процесс над зарубежными публикаторами Синявским и Даниэлем. Подготовка процесса вызвала протест среди передовой литературной общественности в Москве.

В некоторые обстоятельства тогдашней политической «кухни» по подготовке процесса оказался посвящен один из активных противников предстоящей расправы Евг. Евтушенко. О происходившем на «верхних этажах власти» он рассказывает в своей мемуарной книге, в расширенном варианте изданной в 2002 году за рубежом («Der Wolfra ..», Berlin, 2002).

«В час приёма, — сообщает он, — я пришел к секретарю ЦК КПСС Демичеву и просил его не доводить дело до уголовного процесса. По собственным заверениям, Демичев был также против такого процесса. Мне он сказал, что Брежнев лишь с запозданием и задним числом был проинформирован об аресте обоих писателей. Узнав об этом, Брежнев обратился к тогдашнему руководителю Союза писателей Константину Федину и спросил его, в каком виде он представляет себе решение проблемы. Через уголовный суд или коллегиальным расследованием по усмотрению Союза писателей? Федин якобы даже с брезгливостью отклонил вторую возможность, заявив, что не дело творческого Союза заниматься прямой уголовщиной» (S. 255).

Внешнюю фабулу происшествия тогдашний идеолог П.Н. Демичев, возможно, передает и верно. Но при этом упускается из виду немаловажная деталь. Арест политических злоумышленников, даже якобы без ведения главного партийного вождя, в тогдашних обстоятельствах автоматически указывал на их дальнейшую судьбу. С кем надо и требовалось, акция, безусловно, была не только предварительно согласована, но и проработана в деталях. Без этого репрессивная государственная машина в столь щекотливом деле действовать не могла. Многократно битый и пуганый Федин это, конечно, прекрасно понимал. Так что вежливый телефонный запрос первого лица партийно-государственной иерархии мог расценивать лишь как проверку собственной лояльности в отношении к происходящему в стране повороту на более жесткую послехрущевскую политику. Эту свою лояльность он с готовностью и поспешил продемонстрировать, может, даже и чертыхнувшись про себя: «Не на того простака напали!»

Но, как бы там ни было, коллег по перу, имея к тому же повернувшуюся возможность, Федин в угоду собственному благополучию даже и не попытался взять под защиту. На первом месте для писательского вождя стоял он сам, а потом уж все и всё остальное. Сходных случаев, как увидим в дальнейшем, немало отыщется в спокойной и вроде бы даже благостной биографии тогдашнего главы Союза писателей.

Однако особой общественной активностью Федин не отличался. Нередко больше исполнял ритуал, чем правил. В литературной среде поздней хрущевской и брежневской поры за ним неспроста ходили прозвища Чучело Орла и «Министр собственной безопасности». Некоторыми из тогдашних деяний он этого вполне заслужил. Но уже в позднейшие постсоветские времена, после развала СССР, как водится, в отношении руководителя Союза писателей начало брать верх могучее поветрие моды. В разгуле «поминок по советской литературе» широко тиражировались бездоказательные наскоки и выдумки. Объявились и вовсе охочие авторы сбрасывать крупного художника с корабля истории в набежавшую волну.

Откроем содержательный и значительный в целом «Биографический словарь» русских писателей XX века, выпущенный в 2009 году издательством «Просвещение». В статье-персоналии «Федин», принадлежащей В. Чалмаеву, среди прочего читаем: «Ф., академик АН СССР, Герой Социалистического Труда, в качестве первого секретаря (1959—1971) и председателя правления Союза писателей СССР (1971—1977) был исполнителем партийных решений во всех трагических событиях литературной истории, таких, как травля Б.Л. Пастернака, разгром “Нового мира” эпохи А.Т. Твардовского, высылка А.И. Солженицына. И только дневники, частично опубликованные, позволяют судить о внутреннем состоянии этого некогда многообещающего писателя, закончившего путь литературным чиновником и классиком советской литературы» (С. 549).

Призвание энциклопедических и справочных статей — tramбовать факты в научную истину. Автор «Биографического словаря» — ветеран на литературной кухне. Между тем, помимо кривых обобщений, биографическая статья полна фактических ошибок

и несуразиц. В пору травли Пастернака Федин вовсе *не состоял* первым секретарем Союза писателей СССР, к чему еще вернемся. Большая любовь Фебина местная немка Мрва именуется Мова. Бунин не стеснялся называть себя «усердным читателем» Фебина. Наш автор куда более разборчив. О повести «Трансвааль» почти с детским простодушием сообщено только, что она «про...» — «про кулака Сваакера». Роман «Санаторий Арктур» не упомянут вовсе. О полном музыки романе «Братья», которым зачитывались Б. Пастернак, академик В.Вернадский и Стефан Цвейг, изронено лишь, что он свидетельствует «об утрате (!) писателем... свободы творческих решений». И уж вовсе пошла под нож романная трилогия Фебина.

Впрочем, в последнем случае некоторые вещи, лежащие на поверхности, литературовед передает верно. Нетрудно заметить «нормативность» и нарастающий схематизм фигур большевиков от первого романа к последнему. Однако же из-за этих образных, нередко приневоленных шаблонов весь цикл перечеркнут начисто. Тогда как главной темой и ценностью трилогии (первоначальное название — «Шествие актеров»!) являются все-таки судьбы художников на переломах эпох. И современность звучания сохраняют прежде всего фигуры людей искусства — писателя Пастухова, актеров Цветухина, Парабукиной и др.

Больше всего на свете Федин любил одиночество в рабочем кабинете и исполнять накопившиеся замыслы, писать, писать... А вместо этого долгие годы и даже десятилетия состоял то в реальных руководителях, то в зиц-председателях различных бюрократических объединений, носящих творческие вывески, включая Союз писателей СССР. И оттого биография этого кабинетного от природы человека, помимо его воли, нередко обретала авантюрные развороты...

Авантюра, как толкуется в словарях, это «рискованное, сомнительное предприятие, рассчитанное на случайный успех; дело, предпринимаемое без учета реальных возможностей и обреченное на провал». Свою «кабинетность», напряженную и замкнутую творческую устремленность Федин доказал тем, что, будучи участником обороны Петрограда от Юденича и имея другие прошлые заслуги перед победившей советской вла-

стью, в 1921 году вышел из Коммунистической партии. Этим он демонстративно отказывался от широкой общественной карьеры, предпочитая ей подвижничество, одинокий духовный труд в контакте с небольшой группой единомышленников в почти одновременно созданном объединении «Серапионовы братья». А свою «авантюжность» он же, Федин, многократно демонстрировал тем, что, не имея на то достаточных духовных опор и моральных данных, впоследствии постоянно стремился выдвинуться на общественные руководящие посты, создаваемые и опекаемые той самой казарменной коммунистической элитой, от формального возврата в которую он вроде бы навсегда отказался. И что из всего этого получалось?

Дискуссионные баталии вокруг Федина обострились сразу же после распада СССР. Вязанку хвороста в огонь подбросило чистое совпадение. В декабре 1991 года распался Советский Союз, а через два месяца, в феврале 1992 года, отмечалось 100-летие со дня рождения классика. Сама жизнь указывала площадку для очередного турнира.

«Писатель советского прошлого» — таким ярлыком снабдила героя уже в заголовке большой юбилейной статьи член ельцинского Президентского совета и комиссии по помилованию М. Чудакова. В этих придатках ельцинского единовластия боролись за отмену смертной казни, но мнимых идейных противников сабельным коротким ударом разваливали до пояса напополам.

В те же самые месяцы Федину была посвящена широкая научная конференция. Ее устроили Саратовский университет, здешний пединститут и музей писателя. Прибыли выступающие из Москвы и Санкт-Петербурга.

В газетной статье «Найти свой лад...», лирической по тону, однако же с острым полемическим запалом, итоги подвел Станислав Лесневский. «Саратов очень много дает для понимания Константина Федина — писателя и человека ... — пишет автор. — От Саратова, от русской провинции — душевная теплота фединской прозы, ее достоверность, убедительность, приверженность традиционным ценностям русской культуры, вся атмосфера этого русского мира, со всеми милыми подробностями. С вечными

исканиями, со всеми простыми и высокими человеческими драмами; отсюда фединские героини, такие, как Анечка Парабукина, Лиза, сохраняющие трогательное родство с тургеневскими женщинами...»

С. Лесневский против попыток в угоду конъюнктуре принизить значение художника. «Гуманистический, объединяющий пафос вообще был характерен для Федина, — продолжает он, — и этот пафос — в современном преломлении — стал ведущим на саратовской конференции. Но тут не было ни “хрестоматийного глянца”, ни торжествующей банальности, ни гримировки под благополучного, утвержденного “классика”. Впрочем, сегодняшние статьи о Константине Федине далеки от благостности. “Писатель советского прошлого” — уже в заголовке приговаривает М. Чудакова, жестко выстраивая всю свою статью в “Литературной газете” под это определение, не подлежащее обжалованию, иногда вскользь отмечая, что Федин все-таки умел писать».

Дискуссии с той поры не затихали.

Богиня истории Клио, вообще говоря, теряет ориентиры, дурет и слепнет в обстановке происходящей вокруг духовной свистопляски. Биография крупного художника, как ни верти, — наряду с прочим факт исторической науки. А именно с нею при резких переменах общественного устройства произошли болезненные метаморфозы.

Вот как характеризует происходившее один из историографов, Ю. Семенов, в своей работе «История (историология) как строгая наука»: «Но настоящий обвал доверия к исторической науке начался в период, получившей название перестройки. И он продолжается до сих пор. Самое печальное, пошел процесс не столько восстановления исторической истины, сколько новой неумеренной фальсификации прошлого. Провозглашался лозунг “деидеологизации” общественных наук вообще, исторической науки в частности. В действительности же шла “переидеологизация”, т.е. замена одной идеологии на другую, точнее, на множество других идеологий, объединенных разве только враждой к ранее господствующей. Доминировало стремление во что бы то ни стало втоптать в грязь не только старую общественную систему, но все, что при ней возникало и существовало. Считалось, что для

этой цели все средства были хороши, включая самую откровенную ложь. Восторжествовал принцип: если раньше говорилось одно, то теперь надо утверждать прямо противоположное. В результате масштабы извращений событий прошлого не только превзошли все то, что делалось во время застоя, но и по меньшей мере сравнялись с объемом фальсификаций истории, совершавшихся в сталинскую эпоху».

В карнавальные огни и треск идеологических переплясов попадали, конечно, в первую очередь видные фигуры предыдущих эпох. По прокосам на лугах словесности вслед за старшими современниками двинулись порой и авторы уже иного поколения и творческих амбиций. В случае с Фединым так поступает в одной из публикаций, как всегда, бодро талантливый и вездесущий Дмитрий Быков.

«Федин беден» — так названа его журнальная статья 2009 года из затеянного им портретного обзора советских классиков. Будто донской атаман персидскую княжну, небрежно обхватив за талию, обозреватель сбрасывает этого автора с парохода истории «в набежавшую волну»... Из всего написанного Фединым соглашается признать лишь один роман — «Города и годы». *Все остальное — скрип пера, а то и попросту мура*, если попытаться подделаться под излюбленную Быковым частушечную манеру его газетных фельетонов. Зато уж «Города и годы» вознесены до небес и даже чуть выше.

Д. Быков — человек способный, любознательный, эрудированный, мне лично симпатичный. Читается почти всегда с интересом, но избыточный. Как он однажды сам о себе выразился, любящий, чтобы всего было много, как его самого. Если уж он чем увлекся, то остановиться ему трудно. Так происходит и на сей раз.

«Лет двенадцать — тринадцать назад, — пишет он в начале статьи, — я посмотрел фильм Зархи по “Городам и годам” с замечательным Старыгиным в главной роли, прочел роман, и некоторое время он был у меня одним из любимых, причем вьелся даже глубже, чем казалось <...> Разохотившись после “Городов и годов”, я принялся за фединский серый девятитомник — и с ужасом обнаружил, что уже следующий его роман “Братья” написан из рук вон никак, а дальше пошла абсолютно мертвая материя, всякое “Похищение Европы”, “Санаторий Арктур”...»

Разгадка столь неожиданной метаморфозы, оказывается, проста, как примитивный гаечный ключ с отверстиями для шайб. Федин-прозаик обладал не самобытным художественным талантом, а даром литературной переимчивости и подражательности. Все последующую литературную жизнь, будто чеховский злоумышленник, он и орудовал этим грубым инструментом. Свертывал, слямзывал с попадавшегося на его пути пригожего добра столь полезные для хозяйства гайки. Так о том и написано: «В “Братьях” он подражал одновременно Леонову, Чапыгину и однокашнику по серапионову братству Всеволоду Иванову <...>. В “Похищении” — под Горького, Роллана, Цвейга и все это одновременно (а во втором томе <...> — одновременно под Эренбурга, Катаева и Шагинян)».

Спрашивается: не многовато ли все-таки?! Даже при завидном даре ласкового теляти? А главное, — как такому ловкачу удалось создать «действительно классную книгу», по выражению Быкова, «Города и годы»? Каким макарон?

Автор на сей раз голову не ломает. Ответ прост: «по стечению обстоятельств». Весь дальнейший текст и посвящен этому роману. И вывод из завершающих строк статьи: «Федин сегодня хранится в пыльной кладовке советской литературы. Но “Города и годы” читать надо. Полезная книга, и она останется»¹.

И все же Д. Быкова по привычке хочется похвалить. Втянулся он в гонку по многотомникам из пыльной кладовой все-таки из благих побуждений. По его собственным словам в той же статье, — «взявшись писать портретную галерею советских классиков с намерением вернуть их в активный читательский обиход — потому что адекватной замены им в новые времена, к сожалению,

¹ *Дмитрий Быков*. Федин беден. Один из них. Журн. «Русская жизнь», 2009, 25 февраля. Ныне эта статья включена в обзорную книгу монографических очерков того же автора. См.: *Дмитрий Быков*. Советская литература. Краткий курс. М.: ПРОЗАиК, 2013, 412 с. В этом сборнике, первом в своем типе и роде, где портретная галерея представлена от М. Горького до детективщиков советских лет Николая Шпанова и Юлиана Семенова, есть замечательные по глубине анализа и точности оценок очерки. Например, о В. Катаеве, И. Эренбурге, В. Пановой, Ю. Трифонове и других авторах. Статья о Федине в нынешнем ее виде книгу явно не украшает.

так и не предложили». Ценное признание от одного из верховодов нынешних литературных движений! И дорогого стоит.

Но коли в полный серьез... Все подобные ярлыки: «Федин беден», «писатель советского прошлого»... и пр. Если вникать и разбираться в исходных основах, то окажется, что подоплекой тут, не считая вкусовых импровизаций, нередко является давно наезженный школярский набор — смешение личного поведения субъекта в жизни с творчеством, литературы с идеологией, понятий политических с художественными, морали с искусством, и т.п.

Никому, наверное, из таких ценителей в голову не придет нечто сходное писать о другом Константине — К.Г. Паустовском. Публицисты справедливо именуют его «символом честности 60-х годов».

В 1956 году Паустовский открыто встал в оппозицию к режиму — принял участие в выпусках альманаха «Литературная Москва» и громогласно выступил на обсуждении повести В. Дудинцева «Не хлебом единым», где ярко обрисован «невидимый град Китеж», то бишь непробиваемое номенклатурное сословие во главе с такими чиновными фигурами, как сталинист Дроздов и его окружение. Подписал письмо за отмену цензуры и т.д.

Все эти общественные превращения происходили с Паустовским, между прочим, в те самые недели и месяцы, когда он создавал свою знаменитую повесть о писательском труде «Золотая роза» (1956). Тема — как из пыли впечатлений у художника рождается новая красота мира. Персонажи — писатели отечественной и мировой литературы разных эпох и народов, включая по выбору даже некоторых современных авторов. Для интересующего нас случая примечательны два обстоятельства. Паустовский отвел искусству Федина отдельную новеллу. И что, конечно, с умыслом и неспроста — в повествовании расположил ее рядом и перед рассказом о французском классике Флобере.

«Ясный, твердый ум и строгий глаз Федина, — замечал он, — не могли мириться с зыбкостью замысла и воплощения. Проза должна быть, по его мнению, отработана до безошибочности и закалена до алмазной крепости...

Флобер, — совершая повествовательный переход, замечает далее Паустовский, — провел всю жизнь в мучительной погоне

за совершенством слога...» Борьба за яркость и точность стиля доходила у него до своего рода болезни... Но таков же был и Федин. И не случайно новелла о Федине в «Золотой розе» плавно переходит в рассказ о Флобере.

И такой художник оказывается ныне в роли подержанной персидской красотки, выброшенной за борт... Но что-то в этих лихих наскоках и словесных конфигурациях, будто прогорклая патока, напоминает?... Да, было! И, кажется, чуть не вчера. Было... Но только сбрасывали с парохода истории тогда не какую-то отдельную персону, а целую литературу. «**Поминки по советской литературе**»... Статья Виктора Ерофеева в «Литературной газете», 1989 год... Но задор талантливое смельчака, первым нырнувшего с показательной вышки для прыжков в воду, тогда еще был оправдан. В той же «ЛГ» завязалась дискуссия. Из авторов публикаций помню Аллу Марченко, Руслана Киреева, В.В. Иванова... Каждый по-своему, мы, печатные оппоненты, ратовали за точность отрицаний и четкую избирательность оценок... Но тогда на дворе стояла другая эпоха. Самый конец перестройки. Все тогда было слишком близко, свежо, болезненно. Тогда это еще можно было понять.

Ныне, хотя и не без рецидивов, страсти поутихли. Наступила пора глубокого анализа ушедшей советской эпохи, раскопок и итогов. Появляются на свет все новые серьезные исследовательские жизнеописания.

Назову смелое и яркое биографическое повествование П. Басинского о М. Горьком, скрупулёзную и острую житийную прозу А. Нежного о религиозных исканиях, подвижниках и мучениках новейшего времени, эрудированные и полные неутомимого интереса к разным творческим личностям биографические книги А. Варламова от А.Н. Толстого до М. Булгакова и А. Платонова серии ЖЗЛ, «повесть жизни» Захара Прилепина «Леонид Леонов», стремящуюся разгадать сложную человеческую и художественную натуру героя... Вообще, в подобных работах, как и в капитальном труде Л. Сараскиной об Александре Солженицыне, да и, конечно, в той же книге Д. Быкова о Б. Пастернаке серии ЖЗЛ, вобравшей в себя много авторского пыла, опирающегося на солидные разыскания (тогда, кстати, возникают и яркие эпизоды из длившейся два с лишним десятилетия дружбы героя с Фединым), куда больше

толка, чем в запоздалых псевдодемократических наскоках... И эти первые ласточки предвещают хорошую погоду.

Федин, уроженец Саратова, был волжанином не только по месту появления на свет, но и по своим духовным привязанностям, по влюбленности в этот обширный привольный край, в «главную улицу России», объединенную общей историей и современным дыханием. В качестве главы писательского цеха он был озабочен, чтобы складывались благоприятные условия для развития литературных сил в регионах и на периферии страны. Участники саратовской конференции 1959 года слышали, например, изложение одной из давних его идей: «Я бы хотел, чтобы... на Волге, — говорил Федин, — был создан большой журнал, который объединил бы весь верхний и нижний плёс... Волга — это большая область, объединенная общим дыханием, это край колоссальный, и у него должно быть свое лицо, должен быть свой журнал, толстый, где бы участвовали все лучшие силы, начиная от горьковчан и кончая астраханцами».

Саратовский писатель Г.Ф. Боровиков (отец) в мемуарном очерке приводит несколько писем Федина, начиная еще с 1950 года, с его конкретными «прикидками» и предложениями, как превратить альманах «Литературный Саратов» в общеволжский литературно-художественный ежемесячник наподобие «Урала», «Дальнего Востока» или «Сибирских огней». Намерение было давним и неотступным.

И даже когда журнал «Волга» наконец на свет появился, Федин принимал участие в заседании его редколлегии. Давал советы над колыбелью новорожденного. «Можно делать журнал при помощи литературы, — наставлял он собравшихся, — печатать именитых авторов. Это не очень трудно. А можно создавать литературу при помощи журнала, смело открывая новых писателей. Это задача труднее, но важнее и благодарнее».

В напутственной же заметке для первого номера «Волги» Федин написал слова, исторгнутые из сердца: «Новорожденному журналу “Волга” я пишу с чувством, с каким заговорил бы — когда бы можно — с самою Волгой. А письмо ей начал бы я словом, которым начинал письма матери, или сестре, или первой полу-

юношеских, отроческих лет — любви. Начал бы словом — дорогая. Удивительной реке своей написал бы: дорогая Волга...»

Но от воспарений книжных обратимся вновь к живой реальности. Как обходятся ныне со своим именитым земляком в его родных пенатах, на Волге?

Безусловно, с гораздо большей любовью, чем где-либо. Но иногда и не без гримас нигилизма, запоздало пародирующих уходящую столичную моду.

Государственный музей К.А. Федина в Саратове, ему посвященный, при переживаемых культурой материальных трудностях успешно действует. Просветительские его лучи расходятся по стране. Этому способствует огромный архивно-эпистолярный фонд. Первоначальный фундамент его заложен стараниями семьи писателя, и прежде всего его дочери Нины Константиновны Феединой. В 2012 году об этом дважды подробно поведала в прессе зам. директора музея по научной работе И.Э. Кабанова. Ее рассказ искренен, похож на исповедь и даже кое-где окроплен слезами. Это разрешает мне привести выдержки в некотором беспорядке.

«Большинство наследников деятелей культуры такого уровня, — повествует Ирина Эриковна, — держатся за семейные архивы, хранят их у себя, и это вполне естественно и объяснимо... Я ни разу не встречала ни одного музейщика, который рассказал бы об официальных наследниках, безвозмездно передавших в дар музею практически весь архив своей семьи...» Дочь поступила именно так.

«В нашей экспозиции из 60—70 тысяч единиц хранения — половина из архива К.А.Федина...» Сначала Н.К. «передала нам 4 тысячи единиц хранения как основу экспозиции при открытии музея. А потом начали возить в буквальном смысле чемоданами, коробками, письма брали на счет. А имена были потрясающие — например, автографы Блока... Письмо Гоголя, два письма Достоевского, рукописи Некрасова и Салтыкова-Щедрина, письмо Тургенева и письмо Чехова...». Особую ценность представляет собой, конечно, архивно-эпистолярное наследие самого К.А. Феидина, в том числе взаимная переписка с современниками: «Ахматова, Ремизов, Замятин, Зошенко, Каверин... Имена можно перечислять долго. Со временем круг расширился и связи разрастались —

Твардовский, Симонов, Фадеев... Он (Федин) переписывался с Ромен Ролланом, Стефаном Цвейгом... И весь этот эпистолярный фонд хранится в нашем музее... Больше 30 писем из переписки с Пильняком, более 30 — с Эренбургом и т.д.»

В статье о Федине из «Биографического словаря» 2009 года издания, цитированной выше, ее автор В. Чалмаев, как помним, утверждает, что *в качестве первого секретаря Союза писателей СССР* Федин участвовал в травле Пастернака.

Безусловно, одна из самых болезненных страниц поздней биографии Федина, — его причастность к гонениям на многолетнего друга Бориса Пастернака в истории с романом «Доктор Живаго». Но именно тут домыслов и нелепиц наворочено особенно много. Действительно, Федин, при некоторых принципиальных возражениях, вначале деятельно продвигавший роман для публикации его Гослитиздатом, в дальнейшем изменил свою позицию. А после казенного идеологического урагана, связанного с присуждением автору Нобелевской премии, и вовсе повел себя не лучшим образом. Были там и малодушие, и духовная непоследовательность, и роковые колебания, измена собственным нравственным принципам и эстетическим понятиям, доходило до потворства и услужения властям.

Однако все это совершалось по-иному и в других разновидностях. Да иначе и быть не могло. В ту пору Федин вовсе *не состоял* первым секретарем Союза писателей СССР. Этот пост он занял лишь в мае 1959 года. Тогда как история с присуждением Пастернаку Нобелевской премии и исключением его из Союза писателей развертывалась в октябре — ноябре 1958 года. Первым секретарем СП СССР в то время был А.А. Сурков...

К закоперщикам и заводилам антипастернаковской кампании Федин во всяком случае уж никак не принадлежал...

Фонды Музея К.А. Федина содержат теперь много неизвестных до сих пор материалов, воссоздающих потаенные звенья этой интригующей и драматической истории. Об этом тоже рассказывает И.Э. Кабанова. «Мы знали, — повествует она, — что в семье есть папка с письмами Бориса Пастернака. Пытались вести переговоры о них... По сути, это последнее, что у них осталось... Но Нина Константиновна всегда твердо нам отказывала». Однако момент настал. В феврале 2012 года отмечалось 120-летие со дня

рождения К.А. Федина. На празднование «приехал Константин Александрович Роговин, внук Федина, и привез скромную слегка потрепанную папочку.. Увидев то, что было в этой папочке, наши сотрудники не могли сдерживать слез — в ней были все письма Бориса Пастернака к Федину.. Более того, в этой папке — вся история вокруг вручения Пастернаку Нобелевской премии, в чем Федина упрекают до сих пор: письма жены Пастернака Зинаиды Николаевны, Корнея Чуковского, Всеволода Иванова, то есть людей, которые принимали в этой истории непосредственное участие. Письма, написанные при жизни великого поэта и после его смерти... Копии писем Федина поэту. Я думаю, мы сможем все это опубликовать — и многое встанет на свое место» (газета «Репортер», № 37 (1018) от 19 сентября 2012 года).

Конечно, к полной нравственной реабилитации нестойкого друга и будущего «министра» советской литературы это не приведет, но многое объяснит и откроет...

Словом, Музей К.А. Федина живет и делает свое дело. Странно, что не всех это шибко радует. Акробаты нового цирка отыскиваются и тут. Такова статья саратовского литературоведа и публициста Сергея Боровикова в журнале «Волга» (2011, № 5—6). Вся она, кажется, проникнута единственной страстью — догнать уходящий поезд и пусть с надрывом легких с подножки последнего вагона прокричать о собственной прогрессивности. Даже если для красного словца между прочим придется не пожалеть родного отца...

Перед Фединым в былые времена С. Боровиков благоговел. Его отец Г.Ф. Боровиков, саратовский литератор, писал книги для детей о природе, о Волге. Избирался руководителем местной писательской организации. В этом качестве близко сдружился с Фединым. Советский классик благоволил к земляку, помогал ему. Вместе они не один год работали над тем, чтобы на базе местного альманаха сложился и вырос ежемесячник — региональный журнал «Волга». Переписывались, общались. Обо всем этом Боровиков-отец поведал в большом очерке, вошедшем в мемуарный сборник «Воспоминания о Константине Федине» (М.: Изд-во «Советский писатель», 1981; 1988). Как же отзывается ныне об этом потомок? Притом на страницах того же основанного «предками» журнала «Волга»?

Предпочтительная интонация — нескрываемая ядовитая ирония. «Скажем, читая сборник “Воспоминания о Федине” (изд. 2-е., 1988), — издевается публицист, — хочется плакать от светлой любви к светлой личности. Это относится и к воспоминаниям саратовцев — Чернышевской, *Боровикова*, Артисевич, Бугаенко, Рязановой...» А личность-то, оказывается, какая?! Тьфу, сами понимаете...

В тех же размашистых красках повествует он и о Музее Федина. Не столь давно там прошла очередная общероссийская акция, на которой выступали докладчики из Москвы, С.-Петербурга и других городов. Говорили о многолетних близких отношениях А. Ахматовой и К. Федина. Издан толстый том почти полувековой дружеской переписки К.А. Федина и И.С. Соколова-Микитова... С намеренной подковыркой С. Боровиков раскрывает карты, указывая для любопытствующих, что случилось это не без многосторонней поддержки тогдашнего министра культуры Российской Федерации Александра Соколова, родного, как оказывается, внука И.С. Соколова-Микитова. Хорошо это или плохо?

Вообще же, замечает автор, тарантас музея, подобно многим нынешним учреждениям культуры, увяз в трясине материальных проблем. Чтобы не сгинуть вовсе, сотрудникам, точнее, «фединкам» (по выражению пишущего), приходится изошряться в поисках самофинансирования. Сдавать, например, помещения даже под выставочные показы типа экзотических бабочек под названием «Мир тропических насекомых». Отсюда даже весьма ядовитое название самой статьи — «Серапионы и тараканы».

Дальше вслед за насекомыми С. Боровиков походя классифицирует литературу, посвященную музейному персонажу. Упоминается там и моя ЖЗЛовская книга «Федин» (1986). Впрочем, в отличие от монографий Б. Брайниной и ей подобных, по выражению С. Боровикова, «казенных писаний», эта книга названа всего лишь «плоским ЖЗЛовским детищем Ю. Оклянского». Теперь мне и самому отчасти забавно, во сколько подзатыльников обходился не столь давно пусть плоский, но не казенный портрет.

Впрочем, в конце статьи критик-наездник спохватывается и пускает рысак в обратную сторону. «Главное, — вдруг заявляет он. — Я до сих пор считаю<...> “Города и годы” были своего

рода романным прорывом... Я до сих пор постоянно заглядываю для своей саратовской души в “Братьев”, и во “Встречу с прошлым”, и в “Старика”, потому что Федин был и остается главным писателем Саратова. По его страницам можно изучать уходящую натуру, а когда-нибудь они останутся единственным литературным памятником нашему погибающему городу». Вот тебе и на!

Что же еще? В Саратове на берегу Волги высится памятник писателю-земляку. Реку и окрестные моря бороздит четырехпалубный туристический теплоход «Константин Федин». Построен он и спущен на воду в Германии. Как можно вычитать из справочников, корабль оснащен современным навигационным оборудованием и почти с тремястами пассажирами на борту развивает скорость до 26 км в час. В Москве, пункте назначения, неподалеку от речного вокзала, к вашим услугам гостиница под тем же названием — «Константин Федин». В С.-Петербурге, Москве и других городах жители привычно спуют по одноименным улицам. На стенах мелькают объявления вроде: «Продается квартира на Федина д. 23...»

Но издают писателя в сравнении с былыми многотомниками усеченно и вяло. В 2009 году издательство «Терра» выпустило «Избранное» Федина в трех томах. Туда вошли некоторые из лучших его произведений — от романов «Города и годы», «Братья», «Санаторий Арктур» и знаменитых деревенских рассказов 20-х годов до повестей «Трансвааль», «Я был актером» и мемуарного полотна «Горький среди нас». Это событие «Терра» предварила оповещением: «Константин Федин — выдающийся писатель, классик советской литературы... К сожалению, после перестройки имя Федина оказалось вычеркнутым из списка издаваемых авторов... Предлагаемый вниманию трехтомник послужит возвращению Константина Федина в круг широко читаемых русских писателей недавнего прошлого».

Конечно, Федина и в постперестроечные годы все-таки издавали. Но художник этот, будто провинившийся школьник, отбывал долгое наказание, уткнувшись носом в угол. Теперь уж, наверное, сроки вышли. Мусорный ветер иссяк, пора всерьез осмотреться...

СУПРУЖЕСТВО И МИСТИКА ЛЮБВИ

Черты личности, а тем самым отчасти и профиль будущей человеческой судьбы в какой-то мере закладываются в детстве.

Федин происходил из религиозной семьи. Его отец — сын крепостного крестьянина, после двадцати лет на побегушках в торговых «мальчиках» долгими трудами выбился во владельцы писчебумажного магазина в Саратове. Был он человеком глубоко верующим, в пожилые годы, может быть даже с налетом церковной казуистики, в мечтах хотел бы уйти в монастырь. Мать (урожденная Алякринская) была внучкой священника. На религиозных принципах держалась родительская семья.

Основательный и все более набиравший силу саратовский торговец Александр Ерофеевич Федин был убежденным приверженцем принципов домостроя. Характера тяжелого и трудного, временами он словно бы нависал над окружающими. Однако же, многократно трепанный и битый жизнью, был человеком умным. Главное, как он считал, — изнанку происходившего, смысл и умысел людских слов и поступков умел различать верно.

Противоречивость и двойственность духовно-нравственных влияний, испытанных Фединым в родительской семье, безусловно, отразилась на его психологическом складе, а впоследствии в каких-то многих и дальних преобразованиях и в творчестве. Взаимодействовали и противоборствовали два начала — «отцовское» и «материнское». Видоизменяясь с ходом десятилетий, меняя облик под стать требованиям времени, преобразуясь до внешней неузнаваемости, они все-таки оставались в какой-то мере скрытными первотолчками и важными двигательными импульсами.

Отец учил сына жить, сообразуясь с рассудком, повинуюсь его голосу, то, что он называл — по «справедливому принципу». Мать учила жить сердцем.

«Детство моего отца и детство моей матери — два совершенно противоположных и противоречивых начала, — писал Федин, — по всей жизненной окраске, по тону и музыке быта. Противоположности взрастили разных людей. Разные люди сошлись да так и прожили вместе — в разноречии — всю жизнь». Добрая, безответная, кроткая, невольно размягчающая нерв жалости — мать.

И жизненно напористый, жесткий, пунктуальный, привыкший быть всему досмотрщиком и главой — отец.

Когда у Анны Павловны выпадала возможность взять в руки книгу, то обычно это был томик Лескова. Люди редкого бескорыстия, праведники, истинные богатыри и поэты духа из народной среды, которых чудодейственно рождала российская действительность, были ее любимыми героями, предметами ее увлечений — «очарованные странники», «левши», «запечатленные ангелы».

Многое из привитого в детстве идеализма, впоследствии подхваченное и развитое другими жизненными ветрами и потоками, глубоко отложилось в душе писателя, обостряло его внутреннее зрение. Снисходительность к человеческим слабостям, духовная целеустремленность, верность своему долгу, доходящая до стоицизма, — все это оттуда.

Конечно, никто не сводит происхождение каких-либо мотивов в последующих книгах Федина к одним только детским и отроческим восприятиям. Это понятно. И все же, когда в 20-е годы мы будем читать выстраданные и повторяющиеся самопризнания писателя о присущем его художественным чувствованиям «нерве жалости», о его отзывчивости на «кляч» в противовес красивым и сильным «рысакам», то нелишне вспомнить о далеких первоисточках. И когда среди многих персонажей полотен Федина будут попадаться вдруг варьирующиеся и тем не менее родственные фигуры почти святых подвижников культуры (типа «окопного профессора» из романа «Города и годы», ученого Арсения Арсеньевича Баха из романа «Братья» или книжника Драгомилова из романа «Необыкновенное лето»), которых заурядное окружение, как это случалось с иными героями Лескова и Достоевского, охотней всего зачисляло бы в разряд «юродивых» и «идиотов», то и тут нелишне сделать засечку, откуда это началось...

Действительно, сильной и все покоряющей была струя нравственного, психологического и духовного воздействия, которую открыли некогда чувствительному мальчику его мать и старшая сестра. У них Федин впервые учился поискам праведничества, необходимости сострадания и милосердия в жизни... Как, может быть, холодная расчетливость и быстрота будущих чиновничьих

ходов где-то в далекой наследственной перспективе уходит в дальние заветы и жизненные уроки писчебумажного торговца отца...

К заложенным в детстве ориентирам душевных влечений, склонностей и интересов восходят и многие человеческие дружбы и стойкие привязанности последующих лет, без которых трудно представить Федина. Таковы более чем полувекковые отношения с «побратимом» Соколовым-Микитовым, человеком высокой нравственной чистоты, связанным с «корневыми» началами народной жизни.

Одновременно раскручивалась центробежная круговерть. С религиозным воспитанием в разноречие вступали материалистические и бунтарские новации, столь сильные и модные в начале века. В них тоже нередко находил себе сродство и подпитку холодноватый умственный рационализм его натуры.

Уже юношеские письма Федина пестрят трещинами противоречий. «Вот ты веришь в Бога? — приступал он к старшей любимой сестре Шуре. — Но, говоря хотя бы Писанием, вера не всем дается? Очевидно, я принадлежу к исключению. Иной раз хочется молиться, но в душе-то, где-то в углу ее, сейчас же зарождается это вечное “но”».

Через какое-то время Федин и вовсе отступает от религии. «...Не признаю Бога, которого признают все», — заявлял он в последующих письмах сестре, объясняя подробно, как склонился к атеизму «после изучения богословия».

И вместе с тем — противоречие на противоречии. Главный его книжный герой, объект восхищения и подражания — беспредельный человеколюбец и альтруист князь Мышкин из романа «Идиот», в котором, по замыслу романиста, воплотился Христос. А самый близкий по духу и устремленности писатель — художник глубоко верующий и православный, «весь Достоевский».

Тогда же, в молодые годы, в сущности, складывалось лоскутное эклектическое мировоззрение, где Ленин и Достоевский, Гете и Бакунин, Чернышевский и Лев Толстой, Горький и Александр Блок как будто не противоречили, а дополняли друг друга. Ощущение целостности мироздания заменялось пестрой гуманитарной картиной мира.

Такая духовная мешанина, как известно, была характерна для передовой демократической интеллигенции начала XX века и поры утверждения большевизма. Об этом немало писалось (сборники «Вехи», «Из глубины», сочинения Н. Бердяева, других классиков русской религиозной философии). Ввиду эклектичности и даже произвольности многих духовных составляющих подобное мировоззрение было отзывчивым на политические запросы и веяния времени, гибким, податливым и вместе с тем приспособительным и ломким. Так что из крайних бунтовщиков под давлением крутых разломов и натисков эпохи со временем могли возникать разной окраски конформисты. В этом, если вдуматься и взглянуть со стороны, состояла впоследствии одна из причин массовой духовной драмы, пережитой советской литературой в эпоху сталинизма, включая даже и самых крупных ее представителей. По-своему испытал ее на себе и Константин Федин.

Лоскутное мировоззрение несет в себе споры грядущих недугов.

Отец непременно хотел видеть в сыне восприемника своих дел и трудов. Так сказать, *Большого Писчебумажного Торговца*. Это, конечно, естественно и понятно. Но драматично и трагично даже, если не согласуется с психологией и душевным строем наследника. А так оно в главном и основном было в данном случае. Внутренне ломая чувствительную художественную натуру, Александр Ерофеевич принудил сына учиться сначала в коммерческих училищах Саратова и Козлова, а затем стать студентом Московского коммерческого института. Никаких стараний и средств Александр Ерофеевич для этого не жалел. После третьего курса института он даже отправил Константина, плохо успевавшего в немецком языке, на время летних каникул в вольную поездку в Германию. Пусть поживет и подучится там, если с языками не задается в Москве.

Происходило это летом 1914 года. Все рассчитал Александр Ерофеевич, но не мог из саратовской глуши вычислить и предвидеть, что 1 августа начнется мировая война. А Костя там по немецкому принципу — «русский царь минус один солдат» — тут

же превратился на все четыре года войны в интернированного гражданского пленного.

В Германии он и испытал первое, оставшееся на всю жизнь чувство любви.

В личном архиве Фебина уже после смерти писателя мне привелось читать стопку писем этой страстной и любящей натуры. Письма полны желания пробраться в Россию и соединиться с любимым.

В разгар Гражданской войны эти весточки претерпели целую одиссею странствий, пока в первые месяцы 1919 года не дошли до 27-летнего адресата, который в ту пору в Сызрани пробовал силы в литературе и журналистике. Волжский город Фебин наспех покинул в октябре 1919-го в связи с призывом в Красную Армию.

Дело в том, что осенью 1918 года 26-летнего начинающего литератора и актера Фебина спешно выслали из Германии. После подписания Брестского мира как подозрительного иностранца, имеющего связи с подрывными «левыми» элементами. Основания для того были. Ведь как-никак даже его первая большая любовь, немка Ханни Мрва, позже стала левой социал-демократкой — «спартаковкой»...

С документами и фактическими материалами о Ханни Мрва любезно познакомил меня в мой приезд в саксонский городок Циттау местный краевед Герберт Фишер, много лет тщательно их собиравший.

Кто же была она, эта нежная страсть и подруга Фебина?

«Любовь нам запретил магистрат», — иронизировал Фебин, касаясь своего статуса гражданского пленного, оказавшегося в мировую войну в числе других интернированных в Циттау. Вступать в неделовые отношения с местными жителями, особенно с женщинами, запрещалось под угрозой всяческих кар.

Но какие там запреты, когда кипит кровь... В 1916 году в окрестных лесистых Лаушицких горах, где им дозволялись прогулки, произошла встреча. Девушка была хорошенькая, смуглая, черноглазая.

Судя по двукратному запечатлению этой первой встречи в художественных произведениях Фебина, тон ее поначалу был враждебным.

— Вы чех? — спросила девушка с тем «оттенком, который делает это слово обидным».

— Нет, хуже! Я русский, — отвечал молодой человек.

Сама же девушка затем обнаружила интерес к продолжению знакомства. Ей было двадцать, моложе его на четыре года. Принадлежала она к здешнему привилегированному обществу. Отец ее — зубной врач — пользовал лучшую клиентуру в Циттау. Мать была ревнительницей всех добродетелей, которые только может иметь верноподданная кайзера, самая примерная горожанка и высоконравственная патриотка. Единственный брат девушки — офицер кайзеровской армии — сражался на Западном фронте. Там он и погиб.

Девушка была натурой глубокой, способной к быстрому внутреннему развитию. Встреченный русский был непохож на женихов из Циттау, этих напомаженных кукол. С ним ощущалась красота жизни. Он помогал ей открыть глаза на мир. В Ханни Фебин обрел вскоре преданного друга, единомышленника, духовно богатую личность. У них были одни и те же увлечения, одни и те же любимые книги, и прежде всего, конечно, Достоевский, которого боготворил Константин... Вместе они начинали читать и щедро иллюстрированный художниками-экспрессионистами берлинский журнал Пфемферта «Акция»...

Об отношениях Ханни с русским пленным знало лишь несколько надежных друзей. Со стороны властей порядок был жестким и определенным — раз в день требовалось отмечаться в полиции. Посещение девушкой жилища такого человека требовало от нее немалой смелости. «Так как наша с Ханни жизнь была тайной, — читаем в позднейшем дневнике Фебина, — то я не был знаком ни с кем из ее семьи, но встречал мать и отца... на улице».

Первая из внезапных встреч описана там же. Молодой человек беспечной походкой огибал угол боковой улицы, возле торгового центра, где он жил, и вдруг увидел Ханни прямо против себя, лицом к лицу. Девушка чинно возвращалась с воскресной прогулки, чуть впереди, а сзади медленно выступали родители: «Я видел,

как она побледнела и навек запечатлелся во мне ее обычный жест смущения — у нее вскинулась рука к лицу, и тонкие, чудесные ее пальцы тронули и слегка потрепали висок, будто надо было отвести и заложить за ухо волосы. Испуг ее был ужасен, и у меня упало сердце. Мы прошли мимо друг друга, как два покойника. Ни она, ни я не сбились с шага. Я только мельком глянул на ее родителей, не подаривших меня ни каплей внимания. Бедная моя девочка! Что делалось с тобой в этот миг, если и я совсем окаменел от страха...»

Драматизм отношений немецкой девушки с «враждебным иностранцем» развернут Фединым в романе «Города и годы». Для наставлений главную героиню Мари Урбах вызывает к себе сам городской управитель, штадрат. «Вы проститутка, вы хуже проститутки, которая патриотичнее вас...» — сорвавшись, кричит он на нее в своем служебном кабинете.

Ханни обладала сильным и волевым характером и повела себя как личность незаурядная. Тот факт, что, полюбив «враждебного иностранца», она вступила в смелое единоборство с законом, общественным мнением и предрассудками своей среды; был только началом.

Когда связь с русским открылась и конфликт с родителями обострился, эта девушка, не имея профессии, ушла из семьи, без надежд на последующее примирение. Его и не было. Уже осенью 1918 года она примкнула к левым социал-демократам — спартаковцам. Переехав в Берлин, она знакомится с одним из организаторов «Союза Спартака», философом и историком Францем Мерингом. Ведет одновременно работу сразу в двух социалистических журналах, в том числе в знаменитом литературно-художественном журнале «Аktion» Пфемферта, которым не так давно они вместе зачитывались с пленным русским. Участвует в рабочем восстании, организованном спартаковцами.

После поражения восстания Ханни задумывает пробраться в Советскую Россию, соединиться с любимым. Чтобы получить русское гражданство, она совершает почти невозможное. Отыскивает военнопленного — некоего Соболева — и фиктивно вступает с ним в брак. Затем в начале 1919 года направляется в Мюнхен. Отсюда она надеется через Австрию, Венгрию, Украину пробраться

в Москву. Но... «Я думала сердцем, а не головой, — замечает она в одном из писем Федину, дошедших до Сызрани. — Но есть люди, у которых нет сердца, а только одна голова». На пути возникают новые непреодолимые препятствия, ее кружит вихрь событий. Шагнуть за пределы Германии ей не суждено.

Как следует из документов, собранных Гербертом Фишером, Х. Мрва несколько раз подвергалась принудительной ссылке. За участие в провозглашении Баварской советской республики по приговорам военного суда по пять и более месяцев сидела в тюрьмах, находясь под арестами, ждала судебных разбирательств. «Мой Константин! — исповедовалась она в 1920 году. — Я написала несметное количество писем, зарегистрировала брак с русским, чтобы хоть таким образом приехать к тебе. Я испробовала все, Константин. Все ради тебя». Вырваться из Германии при всех стараниях Ханни не сумела.

Со своей стороны в кипении и передрыгах Гражданской войны молодому литератору Федину невозможно было осуществить встречное движение и двинуться в Германию самому. Так проходят четыре года. За это время умерла мать Анна Павловна. А зимой 1922 года усталый от одиночества и неприкаянности, после всех потрясений и испытаний войной и голодом, жаждущий, кажется, лишь одного — устойчивого существования, разумного быта, чтобы целиком отдаться жизненной мечте, любимому делу — литературному труду, 30-летний Федин женился на издательской машинистке Доре Сергеевне Александер.

Их знакомство затеялось тоже на литературной основе, на книжной почве. В голодном, заснеженном и обледенелом Петрограде Дора работала в частном издательстве Гржебина, которое опекал и пытался приспособить под обновленные нужды страны А.М. Горький. Через нее Федин и передал самому влиятельному в его глазах художественному кумиру пакет с печатными оттисками и рукописями своих произведений. В сопроводительном письме от 28 января 1920 года он просил о «решающей оценке» своих литературных усилий. «...Вся моя жизнь слагалась до сих пор так, — писал он, — что я ни разу не встретил оценки моих способностей, оценки, которой я мог бы вполне поверить... О такой решающей оценке я и прошу вас...»

Конечно, вручить судьбоносный пакет трудноуловимому Горькому для молодой женщины, сидевшей в приемной наедине с рядами клавиш черного «ундервуда», было рутинной служебной обязанностью. Но, возможно, здесь с самого начала было замешано и чувство. Может, с симпатией и состраданием скользнул по исхудалому лицу посетителя, по его старой, обвислой шинели улыбчивый взгляд спокойных черных глаз и встала из-за своего стола ему навстречу эта невысокого роста смуглая привлекательная женщина. Еще больше обласкала взглядом. Взяла бумаги, успокоила. Да, да, не волнуйтесь, все будет сделано!

Дальше — дело обычное, начались новые рукописи и пакеты, новые встречи... Горький очень скоро принял литературного новичка и, как Федин письменно оповещал Шуру, сестру, «то, что я пережил, превзошло все мои ожидания. М. Горький принял меня как друга, больше того — как писателя. То, что я услышал от него о моих работах, захлестнуло меня своей неожиданностью. Это была критика, с какою подходит мастер к мастеру, разбор, который при всей его нещадности, говорит исключительно за, и ничего против... Когда я вышел из его кабинета, у меня закружилась голова. Это был не просто “успех”, “удача”. Это был триумф...»

Встречи с Дорой случались теперь непроизвольно и часто. При этом были, конечно, и откровенные разговоры, и уличные провожания, иногда даже и вечерние чаепития в удобной квартире на Литейном проспекте, где Дора жила с матерью и сестрой Раей... Но платонический их «роман», который вначале, возможно, воспринимался им просто как дружба, тянулся. Что-то вело, уводило, мешало решительному шагу. Однако молодость брала свое. И неизбежное физическое сближение наступило. Причем вначале даже с какой-то осатанелой голодной страстью.

Сохранилось письмо Федина Доре Александер от 30 июля 1920 года, которая пребывала в то время на даче под Петроградом. Одиноким холостяком рассказывает ей о последних жизненных событиях и происшествиях. О том, как продвигается работа над пьесой «Бакунин в Дрездене», которую он пишет по договоренности с Горьким, о передвижках по службе, о том, что в «Петроградской правде» напечатан его уничтожающий фельетон на стихотворную книгу поэта В. Князева и фельетонист стал центром громкого

литературного скандала. Но письмо пышет нетерпением, и суть переживаний припасена на конец. «Приедешь — расскажу, — заключает он перечень. А себе уже представляет картину. — Приедешь — поцелую крепко, обойму больно. Приедешь — приедешь ко мне и поразишься видом моей комнаты с нахальным министерским столом, на котором можно играть в бильярд и gebrauchen als Familienbett¹. <...>

Дай поцеловать губы.

Твой *Константин*».

Холостяцкая комнатка была крохотной. Стол-бильярд занимал всю свободную поверхность пола, даже обходить его приходилось, с одной стороны прижимаясь к стенке. На этом столе и разыгрывались любовные сражения. Но прошло еще почти два года. Дора объявила, что ждет ребенка. Тогда он принудил себя на бесповоротный выбор. Они поженились.

И вот — бывает же такое — будто прознав о том, что мосты сожжены, любимый потерян, будто прознав откуда-то, чего, конечно, в реальности никак случиться не могло, в те же самые недели в далекой Германии другая молодая женщина, 25-летняя Ханни, внезапно умерла от разрыва сердца.

Не веривший ни в какую мистику Федин этого никогда не забывал и объяснить себе этого не мог.

Уже в 1925 году он писал своему другу И.С. Соколову-Микитову: «Я получил на днях разные мелочи из Сызрани, среди них письма ко мне женщины, с которой я прожил лучшую часть своей жизни. Все эти письма проникнуты надеждой на встречу и исполнены такого отчаяния... что я был *подавлен*, когда опять (через семь лет!) перечитал памятные листочки бумаги... Теперь мне кажется, что сама смерть пощадила бы этого человека, если бы я был с ним. Я уверен в этом. И вдруг мне приходит мысль, что меня *обманули*, что женщина эта не умерла... Хочется мне одного — уехать в Циттау, на старые места и на старую уже могилу. Может быть, после этого я пойму не только головой, но и душой, что все кончилось».

¹ Использовать как семейную кровать (*нем*).

Приневоленной измены собственному чувству Федин долго не мог себе простить. Автобиографический мотив прозрачно выражен в жизненной судьбе главного героя романа «Города и годы» (1924). Духовная аморфность Старцова делает его беззащитным перед посторонним натиском, перед напором окружающей жизни. Внутренне чуждая женщина, по случайности оказавшаяся рядом и помогающая его, занимает место горячо любимой Мари Урбах...

...Желание убедиться во всем «не только головой, но и душой» не покидало Федина все эти годы, до первой возможности вырваться за границу. Когда в 1928 году такая поездка наконец представлялась, 36-летний Федин незамедлительно помчался в тот самый саксонский городок, где все это происходило.

«Вечером Ц и т т а у! — с нетерпением восклицает он в дневнике. — И у меня, когда я подъезжал к городу, впервые в Германии забилось сердце».

28 июля 1928 года, то есть на следующий день, Федин записывал в дневнике: «Надо же было так случиться: в день моего приезда в Циттау (опять мистика! — Ю. О.) умирает мать Нанпу. Сегодня, когда я пошел на могилу, рядом с ней могильщик копал яму для матери Нанпу. Словно раскрывал для меня могилу Нанпу, чтобы я лучше видел, как она лежит. Я постоял там четверть часа.

В последние два года в моей жизни, как и в этой поездке, какое-то накопление мистически-странных обстоятельств. Закрывается какой-то круг, очень большой и закономерный. Иногда мне кажется: это — прощание с молодостью. Иногда — с самой жизнью. И в противовес этому чувству, как протест, как утверждение — все растущее чувство к Доре и к Нинке (жене и дочери. — Ю. О). Если победит последнее, я буду еще жить <...> Если же эти странные “знаки судьбы” — не случайность, то что остается тогда, кроме смерти?

Кольцо замыкается, судьба — как может — воплощает мои воспоминания, и даже Циттау стоит сейчас передо мною, “как живой”. Чем отличается все это от сна?!»

...Спустя целую вечность, на исходе зимы 1961 года, уже 69-летний Федин снова приехал на старинное кладбище в Циттау. Ведь

вот долгое время — никуда в отдаленные места не ездил, а тут поехал... Это он, не веривший ни в какую мистику, считавший, если бы его спросили, что чуть ли не все загадки и лабиринты бытия подвластны разуму. Будь разум лишь напоен опытом жизни, богатствами культуры, вытяжкой из эстафеты поколений, смел и отточен. Недаром даже кое-кто числил его человеком холодноватым, немцем, рационалистом. Ан нет вот, не получалось...

Почти восемь лет назад умерла его жена Дора Сергеевна, с которой было прожито 33 года. Красивый, артистичный, тонко воспитанный Федин, со вкусом одевавшийся, умевший держаться, всегда пользовался успехом у женщин. Многие, даже без особой надежды на успех, летели, как бабочки на огонь, тянулись к знаменитому писателю. Часами могли заворуженно слушать, как он музицирует на фортепьяно, читает свои новые произведения, красочно и остроумно рассказывает о свежих событиях, за счастье почитали возможности переписываться с ним. Еще и при Доре, надо думать, за кулисами безукоризненного и образцового семейного очага подспудно развертывались бурные «романы». Во всяком случае, одна из таких прежних счастливиц, гораздо его моложе, тоже красивая и черноглазая, Ольга Викторовна Михайлова, к той поре уже несколько лет как обрела статус легальности и стала почти официальной спутницей его жизни. А вот на тебе — сердце и ноги вновь привели сюда.

Дора, по девичьей фамилии Александер, была быстра, чутка, умна, покорна. На этой бывшей издательской машинистке Доре Сергеевне держалась вся их семья, хлопотные деловые связи, весь расплзающийся и обременительный повседневный быт. Разбивались волны внешних вторжений, мешающих уединению и писательской работе. Это была тихая и прочная семейная гавань. Без бурь и разрушительных волн. Когда во время ленинградской блокады у Доры умерла мать, Федин, находившийся в отъезде, среди слов участия и ободрения написал то главное, чем она для него являлась: «Ты ведь настоящая сердцевина нашей жизни, без тебя мы жить не можем». Такой она и была, эта маленькая мужественная женщина, легкая, приветливая, с добрыми, ласковыми глазами.

Перед концом у нее была серьезная болезнь надпочечников, она долго болела. Но и тогда старалась никого не обременять, никому не быть в тягость. Умерла она среди начинающейся весны, обещавшей радость и успокоение, — 11 апреля 1953 года.

«Снова на даче, со вчерашнего дня вместе с Ниной, — записывал в дневнике Федин, еще не придя в себя, на шестой день после ее смерти. — То, что никогда не будет Д., чувствуешь сильнее всего в вещах: вдруг становится понятно, что их не было бы без нее, что сейчас они потеряли свое содержание, потому что стали не нужны, что смысл их состоял только в моих разговорах о них с нею, в том, что они служили нам, а не в отдельности мне или ей. <...>

О счастье. Конечно, это было счастье. Ведь не состоит же счастье из довольства, удовлетворенности во всех без исключения отношениях и всегда без изъятий. Но всем главным мы оба обладали — для жизни вместе. Не знаю, кто из нас получил в жизни больше. Я получил очень много. И мои страдания, мое недовольство ею не идут в сравнение с тем, как заставлял я страдать ее. Но если бы лучшее в нашей жизни не перевешивало бы худого, то не прожили бы мы неразлучно тридцать три года с того дня, как сошлись. И сама преданность, и мое уважение к Доре наделяли меня счастьем и тогда, когда это мое счастье представлялось мне непохожим на то, которое рисуется вечно неудовлетворенному воображению.

Наверно, об этом будешь глубже и вернее думать позже, когда пройдут и сгладятся слишком зримые подробности ухода Доры, ее п е р е с е л е н и я в Смерть, когда не так совестно перед ней будет произнести слова правды, которой стыдно перед ней теперь, и когда из всей жизни с нею увидишь не только то, чего будет жалко всегда».

Что же это за «слова правды», которых стыдно перед покойницей теперь? И чем вызывались внутренние страдания в столь долгой и тихой, внешне образцовой супружеской жизни? И какое другое счастье рисовалось «вечно неудовлетворенному воображению»?

У Федина есть очерк, написанный в феврале 1943 года для Совинформбюро, в котором он сотрудничал. Семья находилась в это время в Чистополе (Татария), а он в очередном командировочном

отъезде в Москве. Очерк посвящен труженикам тыла и интересен жизненной встречей, вернее, многолетними последствиями, которые она повлекла.

Тема очерка — героизм обыкновенного человека-тыловика, ни разу не стрелявшего, женщины, к тому же имеющей самую прозаическую профессию — заведующего хозяйством крупной больницы. Писатель осматривает стационарную клинику Гражданского воздушного флота на окраине Москвы. Великолепна клиника, искусны ее лучшие хирурги, вроде профессора Огнева, операции которого вызывают у Федина сравнение с работой хирурга Ивана Ивановича Грекова в стенах ленинградской Обуховской больницы, некогда пользовавшего его самого. Но все это лишь фон очерка, а в центре его хозяйственница, которую зовут тем не менее «душой учреждения».

Ольга Викторовна Михайлова — «женщина лет 30-ти, южного типа, смуглая, с прядью седых волос, которые только молодят красивых женщин». Федину в это время 51 год, разница в два десятка лет... Но корреспондент вначале аккуратно заносит ее рассказ в блокнот и, слушая приятное низкое контральто, может, чуть с хрипотцой, испытывает удовольствие от беседы с этой открытой прямодушной женщиной, лишь искоса взглядом любясь ее красотой. Характеристики ей со всех сторон даны образцовые. О.В. Михайлова — один из самых давних работников отраслевой лечебницы нашей гражданской авиации. В годы второй пятилетки участвовала в строительстве здания, в непростых тогда хлопотах по обеспечению клиники медицинским оборудованием и аппаратурой. Делала и делает все от нее зависящее, чтобы врачам здесь легче работалось, а больные успешней лечились. Когда фашистские войска приблизились к столице, Михайлова была среди тех, кто наладил скорую эвакуацию клиники на восток. Оставшись в пустых стенах с несколькими рабочими — с истопником и уборщицами, — превратила клинику в санитарный пункт для рывших окопы защитников Москвы. И она теми же натруженными руками, как было уверенно и спокойно сообщено Федину, готовилась взорвать здание, когда немцы находились вблизи столицы.

Это была не только красивая, но мужественная, решительная и героическая женщина. А именно сильные женщины были его

слабостью. В очерке он затем написал какие-то абстракции. Мол, таким может становиться у нас самый дальний тыловой «обозник», если жизнь поставит его в исключительные обстоятельства, а вчерашний обоз окажется на переднем крае... И даже, донельзя воспарив, расфилософовался: «Вот когда я вспомнил о двух чертах русского характера, часто забываемых, — о нашей приспособляемости, то есть способности трудиться в самых изменчивых условиях, быстро приноравливаясь к ним, и о нашей решимости, то есть готовности без колебаний пожертвовать плодами своего труда, если это нужно в наших целях и мешает целям нашего противника».

Все оно, конечно, так. Но не меньшая суть состояла в том, что Ольга Викторовна ему понравилась, что затем начались их встречи, что он влюбился. И с этого момента помчались, понеслись их отношения, долго скрываемые, за греховность которых он испытывал угрызения совести перед памятью недавно скончавшейся Доры. Позже Ольга Викторовна, как уже сказано, стала почти официальной женой Федина. Но к этому еще будет случай вернуться...

Пока же можно сказать лишь, что К.А., видный красавец и литературная знаменитость, никогда не испытывал недостатка в женском внимании. И это, вероятно, не раз заставляло сжиматься сердце умной и терпеливой Доры. Женские атаки особо усилились после ее кончины.

Из близкой Федину житейской среды известно, что после 1953 года, например, процветающий и еще красивый 60-летний вдовец, маститый писатель, Сталинский лауреат, очень скоро испытал на себе искушение от чар завлекательной и интересной Людмилы Ильиничны Толстой, четвертой жены, а теперь вдовы Алексея Николаевича Толстого, автора «Петра Первого» и «Хождения по мукам». Та находилась в «критическом женском возрасте» — чуть за сорок пять. В те годы она часто проводила досуг в писательском поселке Переделкино, в литературных компаниях, на дачах — у К. Чуковского, у Вс. Иванова, у К. Федина. Там вроде бы и затеялся этот летучий «нюанс». Правда, Константин Александрович, говорят, лишь расточал любезности и комплименты, на которые этот великий дамский угодник был мастер, играл на

пианино, слушал пение гостьи, у которой было хорошее, почти профессионально поставленное меццо-сопрано, да шурил свои бывалые синие глаза. На более серьезные искательства острожный вдовец якобы то ли не решился, то ли не поддался.

Житейский эпизод, что любопытно, имел еще и результат литературный. На страницах трилогии Федина рядом со знаменитым процветающим драматургом Александром Владимировичем Пастуховым (в его фигуре угадываются некоторые «теневые» черты А.Н. Толстого), в «Костре» выведена его новая юная жена Юлия Павловна. Причем представлена она далеко не в привлекательном свете.

Однако появление в печати глав неоконченного романа с этими сценами не отразилось, по крайней мере внешне, на их отношениях. К.А. Федин по-прежнему остался одним из неизменных и отзывчивых завсегдатаев «лицейских годовщин» в доме Л.И. Толстой, на которые собирались друзья в память А.Н. Толстого.

«Под ним волна светлей лазури, над ним луч солнца золотой... А он, мятежный, просит бури. Как будто в бурях есть покой...» Наверное, и в этом состоит тяга к какой-то уму непостижимой внутренней женской стати, неуловимой красоте, теплomu тайному нутру, бурному темпераменту да вдобавок еще духовной единомышленнице? Внутренняя гонка шла за этим. Все это олицетворяла и воплощала собой Ханни. Да и не одна она, как мы уже знаем, на долгом пути Федина. Но Ханни была первым таким абсолютom. С ней он впервые пережил мистику любви. И этого душой и сердцем забыть не мог. И оттого новая поездка сюда была неизбежностью.

«Я ничего не хотел скрывать от тех, кто со мною был в Циттау, — записывал в дневнике Федин, — меньше всего от Нины. Для нее это предыстория ее отца. Она знала о Ханни. Но теперь легенда воплощена в осязательность. <...> Все, конечно, видели, что со мной происходит. Мне это было безразлично. Удивительно безразлично!.. Мысли шли от события к событию и замыкались в них, как в круге. Да, да! Это были настоящие события, это была сама жизнь!»

На заснеженную могилу Ханни Федин положил букет привезенных с собой нарядных оранжерейных цветов и спрятал в кармане кроваво-красную ягоду, сорванную на память с разросшихся рядом с могильным холмиком кустов шиповника.

Однако все это происходило уже на закате жизни. А тогда, на заре... Вернувшись на родину, вчерашний германский пленный долго еще жил, окрыленный первой любовью. Очарование революции сливалось для него с очарованием молодости... Попав в обстановку начинавшейся Гражданской войны, Федин вступил в Коммунистическую партию. Участвовал в обороне Петрограда от Юденича... Своего героя — духовного двойника Андрея Старцова в романе «Города и годы» — автор назидательно покарал не только за измену в любви, но и за отступление от революционного долга... Что касается идеологической кары, то позже молодые очарования, правда, слынули...

В 1921 году, с началом НЭПа (тогда это еще считалось правом свободного выбора и до поры до времени не было лыком в строку), Федин, как уже говорилось, вышел из партии, решив целиком сосредоточиться на художественном творчестве, которое, по его убеждению, подобно религии, стоит вне политики. Вместе с ним этот взгляд разделяли коллеги и друзья по литературной группе «Серапионовы братья». Искусственный духовный конгломерат лоскутного мировоззрения мог бы начать давать сбои, если не распадется на составные части, гораздо раньше, когда бы его не цементировал и не объединял в живую общность сильный талант. Недостающую идею жизни заменяла часто «религия искусства», которую сложил для себя и исповедовал художник. А талант был крупный.

СОЦИАЛ-ДАРВИНИЗМ И МЕЧТАТЕЛЬ АНДРЕЙ СТАРЦОВ

В те самые месяцы 1924 года, когда Федин завершал свой роман «Города и годы», Гитлер сидел в Ландсбергской тюрьме, в немногих километрах под Мюнхеном, и заканчивал книгу «Моя борьба». Оказался он там за попытку государственного перево-

рота — так называемый «пивной путч», завершившийся вооруженными столкновениями и стрельбой на центральной площади Мюнхена с убитыми и ранеными. Но условия тюремной жизни здесь были самые льготные и комфортабельные.

Эту мемориальную камеру, где с немецкой тщательностью воссоздано всё, как было тогда, по предварительной заявке показывают посетителям. В начале 80-х годов вместе с одним из немецких друзей мы ее осматривали. Ландсбергская тюрьма действовала, как обычно, хотя в ней и сидели люди с малыми сроками заключения, а в мемориальную камеру нас любезно провели двое шущманов с наганами и дубинками на брючных ремнях.

Маленький стол, за которым Гитлер с помощью верного помощника Гесса заканчивал свою автобиографию, священное писание фашизма, был покрыт цветастой кружевной деревенской скатертью, что придавало всей комнате ощущение почти домашнего уюта. Но на стене висел внушительных размеров поблекший лавровый венок, который водрузил сам Гитлер в качестве уверенного символа. Грядущей победы. «Мы в темнице, но вот он, знак будущих триумфов!»

И в самом деле, победы, что рыбы стаи в сеть, тогда шли к нему одна за другой. Вместо пяти лет тюрьмы, к которым он был осужден «за государственную измену», Гитлер отсидел здесь лишь год с небольшим. Начальник тюрьмы незадолго до Рождества 1924 года сочинил о нем не просто положительную характеристику, но гимн песнопения в служебной докладной. Там было сказано, что г-н Гитлер отличается не просто примерным поведением, но является образцом такового для подельников, отбывавших наказание в той же тюрьме. Рядом отсиживали свое несколько десятков человек из так называемой «гвардии Гитлера», с которыми он беспрепятственно общался. Образцовый арестант влиял на них якобы исключительно благотворно. Характеристика упоминала даже, что заключенный г-н Гитлер «не пьет и не курит». В результате под Weihnachten (Рождество) фюрер вышел на волю, да еще с почти готовой вдохновенно и ярко (если иметь в виду словесную оболочку, а не чудовищное содержание) написанной книгой. Даже сам Гитлер, как сообщает его современный немецкий биограф Йоахим Фест, автор внушительного двухтомника, назвал свое

пребывание в Ландсбергской тюрьме «высшей школой за казенный счет».

Исторические, политические и философские рассуждения со ссылками на анналы истории и недавнюю современность дополняются в «Моей борьбе» автобиографическими картинками и лирикой признаний. Смысловая цепочка ее наполнения примерно такова. Культ силы и инстинкты осознания политического устройства человечества и земного бытия расово полноценной личностью, способной на высокие прозрения и духовный подвиг. Подобные же пути лучших представителей избранной нации (германцев) под водительством неизбежно возводимого на вершину пирамиды вождя германских народов, а также ближайшие и перспективные средства в достижении осознанного в результате единственно жизненного и оправданного на Земле миропорядка... Это и есть каркас, главное содержание и внутренний накал книги.

Исследовательские биографии Гитлера новейшего времени всегда так или иначе связывают его расовую теорию с получившими хождение в конце XIX — начале XX века, после открытий Дарвина, теориями социального дарвинизма, прямолинейно и вульгарно переносивших господствующий в живой природе принцип «естественного отбора», борьбы за существование и выживания сильнейших особей на человеческое общество. Это с научной обстоятельностью обозначает уже в начале своего труда и автор внушительного биографического двухтомника Йоахим Фест.

Хотя в могилу гитлеризма вроде бы давно вбит осиновый кол, тема жизнеустройства отдельного человека и людских общностей как часть философии жизни остается актуальной и в наши дни. Ее анализирует историк и писатель Борис Соколов в основательной и хорошо написанной биографической книге «Адольф Гитлер: фюрер/ преступник/ личность» (М., 2012).

«Гитлер и НСДАП, — рассуждает он, — исповедовали принципы социального дарвинизма. Германская империя призвана была доказать свое право на существование или погибнуть. В “Моей борьбе” читаем о примате биологического над экономическим как идеале национал-социалистического миропорядка: “Никогда еще в истории ни одно государство не было создано мирной хозяйственной деятельностью; государства всегда создавались

только благодаря инстинкту сохранения вида, независимо от того, определяется ли этот инстинкт героической добродетелью или хитрым коварством; в первом случае получались арийские государства труда и культуры, во втором случае — еврейские паразитарные колонии. Как только у того или другого народа или государства берут верх чисто хозяйственные мотивы, результат получается только тот, что само хозяйство становится причиной подчинения и подавления этого народа”.

Выдвижение на первый план расового (биологического) компонента общественного устройства закономерно приводило Гитлера к призывам сохранять физическое здоровье нации. Поощрялось все то, что было направлено на продолжение рода, преследовалось все то, что затрудняло воспроизводство новых поколений “расово полноценных” человеческих особей. Поэтому нацисты жестоко преследовали гомосексуалистов и объявили преступлением браки и внебрачные половые связи “арийцев” и “неарийцев”. Кроме того, в Третьем Рейхе последовательно уничтожались умственно неполноценные больные».

«1 сентября 1939 года, в день начала Второй мировой войны, Гитлер отдал секретный приказ “расширить полномочия определенного круга врачей таким образом, чтобы они могли обеспечить милосердную смерть неизлечимо больным после критического изучения их здоровья”. В рамках этой “милосердной акции” только в Германии было уничтожено более 50 тысяч человек. Незлечимо больные и слабоумные также подлежали уничтожению и на оккупированных территориях».

В некоторых германских городах конвейер таких массовых истреблений «неполноценных» соотечественников в лечебных учреждениях, видимо, секретности и административного удобства ради действовал с особенным разворотом (знаю это, например, по столице бывшего герцогства — нижнесаксонскому городу Ольденбургу). В нынешней ФРГ местные антифашисты и по сю пору справляют здесь поминальные церемонии на кладбищах, куда свозили умерщвленных психически больных и другие жертвы этих глубокомысленных расправ над своими же расовыми братьями — немцами.

Не говорю уж, конечно, о евреях, объявленных отравителями человечества и злейшими врагами Рейха. Смесь марксизма и еврейского предпринимательства, по Гитлеру, — самая опасная духовная болезнь человечества. Йоахим Фест приводит поразительные свидетельства по этому поводу. «В конце февраля 1942 года, — пишет он, — вскоре после конференции на Ванзее, на которой было принято так называемое “окончательное решение”, Гитлер заявлял своему окружению: “Открытие еврейского вируса — это величайшая революция, которая предпринята в мире. Борьба, которую ведем мы, совершенно того же рода, которую в прошлом столетии вели Пастер и Кох (отцы новейшей микробиологии, открывшие возбудителей и вакцины против туберкулеза и бешенства. — Ю. О.). Сколь многие болезни падут с выявлением еврейского вируса. Мы только увековечим здоровье, если искореним евреев”».

В другой раз: «Я убежден, что не только для нашего народа, но для всех народов это вопрос жизни. Так как евреи — мировая чума...» Или еще: «Еврейство — это расовый туберкулез народов».

Во время Второй мировой войны в рамках так называемого окончательного решения «еврейского вопроса» в Германии и на оккупированных территориях было истреблено 6 миллионов евреев. Только в самой грандиозной фабрике смерти — в газовых камерах и крематориях Освенцима, расположенного неподалеку от одноименного городка на юге Польши, по примерным подсчетам вместе с советскими военнопленными и цыганами приняли смерть полтора миллиона человек... А были ведь еще Майданек, возле Люблина (Польша), Дахау, чуть ли не в окрестностях Мюнхена, Бухенвальд (рядом с лесистым замечательным Веймаром, где жил Гёте)... да мало ли что еще. Три концлагеря из названных (кроме Майданека) мне лично довелось посетить и своими глазами видеть эти фабрики по перемалыванию человеческого тела и духа и поточным скоростным убийствам, куда более отлаженным и беззвучным, чем на мясокомбинатах...

Но продолжим выдержки из откровений верховного нациста, доведшего до последней крайности идейные импульсы философии социал-дарвинизма. Общность обоих этих учений постоянно выделяет и Б. Соколов: «В “Моей борьбе” Гитлер писал: “В от-

личие от буржуазного и марксистско-еврейского мировоззрения народная философия рассматривает значение человечества в его базовых расовых элементах. В государстве она видит лишь одно из средств для достижения конечной цели, считая, что эта цель состоит в сохранении расовой сущности человека. Данная философия никоим образом не исходит из равноправия рас, а признает высшие и низшие по своей ценности расы и считает себя обязанной содействовать торжеству лучших и более сильных рас. Она предполагает подчинение низших и более слабых рас в соответствии с вечным порядком, господствующим во Вселенной. <...> Она не может дать право на существование какой-либо этической идеи, если эта идея представляет собой угрозу расовому существованию носителей более высокой расы. Ибо в мире, населенном неполноценными особями и черномазыми, любые гуманные воззрения <...> утрачены раз и навсегда...»

Гитлеровский фашизм не возник на пустом месте. Нравственно и теоретически он был подготовлен. Духовные его флюиды, если так можно выразиться, порхали в воздухе, в жилищах, пивных и на улицах Германии. Так что когда Гитлер вместе с усердным помощником Гессом в камере Ландсбергской тюрьмы заполняли страницу за страницей, они изливали на бумажные листы не только плоды умственных озарений будущего фюрера, но ощущали за собой дыхание толпы единомышленников, слышали их выкрики и подсказки. Об этом пишет немецкий историк Леонид Люкс, анализируя откровения социал-дарвинистов как духовных предтеч фашизма еще до поры первой мировой войны.

«...Социал-дарвинисты, — читаем в его новом сборнике, — готовы были пересмотреть традиционные понятия морали. Так, с их точки зрения, следовало защищать вовсе не слабых и обездоленных от сильных и привилегированных, а как раз наоборот — лучших и сильных от слабых, т.е. от массы. Сострадание к слабым социал-дарвинисты считали совершенно устаревшим требованием. Они идеализировали законы биологической природы и стремились полностью перенести господствующее в природе право сильнейшего на человеческое общество».

Отношение к евреям как чуждой, малочисленной, но незаконно возвысившейся в Германии расе было лишь частным следстви-

ем из этого общего мировоззренческого понимания. Некий Генрих Клас в своем вышедшем в Лейпциге в 1914 году (почти как раз тогда, когда в Германии появился Федин) пятым расширенным изданием сочинении под названием «Если бы я был кайзером» писал: «Оздоровление нашей народной жизни... возможно лишь в том случае, если еврейское влияние будет либо полностью исключено, либо сведено к терпимым, неопасным размерам... Для достижения этого нужны следующие меры: евреи не допускаются к занятию каких бы то ни было официальных должностей... Они лишаются как активного, так и пассивного избирательного права. Профессии адвоката и учителя для них запретны; также и руководство театрами. Газеты, в которых сотрудничают евреи, должны быть специально помечены... В качестве возмещения за охрану от государства как иноплеменники они платят двойные налоги».

В романе «Города и годы» есть главка под названием «О чем думал генерал-фельдмаршал фон Гинденбург?». Пауль фон Гинденбург — командующий немецкими войсками на Восточном фронте (против России), затем фактический главнокомандующий последних лет мировой войны, а с 1925 года — президент Германии. Это он зимой 1933 года мирно передал власть стоявшему перед ним в смокинге и с цилиндром в руке Гитлеру. А в следующем году, после поджога Рейхстага и развязанного террора, тот объединил в своих руках должности канцлера и президента, став «фюрером» всего немецкого народа.

В названной главке изображены не фашисты, а немецкие обыватели. Ее пафос — ужас обыденного. Именно бездумная обывательская масса, люди законопослушные и чуть ли не добродетельные, однако с закостеневшими мозгами и надутые, как ливерная колбаса, кичащиеся своей национальной исключительностью, микроскопические двойники Гинденбурга, сделали возможным превращение Германии в змеюшник фашизма.

В упомянутой главке романа — на дворе пока что начало 20-х годов. Книга прослеживает самые истоки будущей трагедии.

Но если в Германии костер только занимается, то в России пламя полыхает до небес. И вот между этих двух огней стоит молодой человек, русский гражданский пленный, добрый, честный и

правдивый, который в эпоху невзгод и потрясений жаждет полноценной молодости, любви и личного счастья. Зовут его Андрей Старцов...

В биографии молодого русского интеллигента — центрального героя произведения — легко узнаются многие события и факты, пережитые автором. Застигнутый начавшейся войной в Нюрнберге, Старцов четыре года проводит на положении гражданского пленного в Германии. В картинах жизни саксонского городка Бишофсберга, куда выслан интернированный Старцов, близко к реальности переданы черты быта и нравов города Циттау. Многое из собственных отношений с Ханни Мрва вложил автор в историю любви Мари Урбах и русского пленного. Облик провинциального городка Семидола, где вместе с Семеном Голосовым и другими местными большевиками участвует в революции вернувшийся на родину Старцов, навеян воспоминаниями о Сызрани и ее окрестностях 1919 года...

Романом «Города и годы» (1924) Федин подводил итог пережитому и понятому за последнее десятилетие в двух странах, в мире и в собственной душе. Германия и Россия, *там* и *здесь*, основные черты духовной атмосферы, фигуры, которые олицетворяют и определяют накат событий *там* и *здесь*... Что значили для человека пережитые общественные перевороты, войны и революции? «Сюжет в двух параллельных плоскостях романической и историко-бытовой» — так определял признаки замысла сам автор.

Однако если Федин и питает образ Старцова плотью и кровью собственной биографии, то духовная эволюция, которую он заставляет проделать своего героя, оказывается во многом прямо противоположной тем внешним и внутренним превращениям, переменам контура личности, которые свершились с автором. В романе как бы сделано художественное допущение, примерно такое: что было бы, если бы тот заезжий молодой человек, добрый и милый, полный веры в отвлеченное человеколюбие и справедливость, который в 1914 году был застигнут войной в Германии, не извлек глубоких социально-политических уроков из происшедшего, не сделал решительного выбора, не отбросил в сторону прекраснодушные мечты, не принял сторону револю-

ции (а автор для себя уже другого пути не мыслил!), остался при своих общегуманитарных, расплывчато-либеральных воззрениях, лишь с одной жадной личной счастья? Как бы повернулась его жизнь тогда?

В романе создан яркий образ интеллигента, не сумевшего воспринять опыта войны и революции, стремившегося «встать в центр круга», остаться «над схваткой». Причем такое стремление и такой выбор Старцова в данном случае вызваны не силой природы и характера, беспредельностью страстей или прозорливостью понятий, как это три с лишним десятилетия спустя будет свершаться с главным действующим лицом в романе «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. А лишь из свойственного обоим персонажам отталкивания от жестокостей и грязи жизни, из их ненависти к людской боли, из их горячей мечты о счастье для себя и других, из убежденности в праве человека любить и быть любимым... Вот что движет неизбывным мечтателем Андреем Старцовым в его устремлениях остаться «над схваткой», «встать в центр круга»...

Так что, забегая несколько вперед в сюжетах нашего повествования, скажу, что сам роман Федина «Города и годы», имея в виду фигуру главного героя, пожалуй, с равным правом можно было бы окрестить как полупредтечу «Доктора Живаго», так и полуантипода тому же роману, появление которого три с лишним десятилетия спустя столь непоправимо разорвало многолетнюю дружбу двух писателей.

Но вернемся к тем далеким и ранним годам. На дорогах, по которым проводит Федин своего героя, Старцову недостает то смелости и бескомпромиссности мысли, чтобы, поднявшись над личными пристрастиями, до конца постичь смысл происходящего, то мужества, выдержки и воли, чтобы, верно чувствуя и понимая, идти по намеченному пути. Старцов — человек слабого характера, не самой глубокой и отважной мысли, в этом его беда. Слабоволие, нерешительность, внутренняя бесхребетность через цепь компромиссов ведут Старцова к предательству. Он изменяет Мари, которую любит, предает память повешенного инвалида войны Лепендина, которому сочувствует, и, наконец, предает дело революции (это изображено, правда, с неким чуть официозным натиском!), которой вызвался служить...

Однако же значительным образ Старцова делает другое. Прежде всего — присущее ему богатство душевной жизни, полнота, глубина и сила переживаний. Те самые яркие и свежие запечатления «вчерашнего дня» и ощущения только что происходившего, которые за давностью лет временами, пожалуй, уже потускнели и «олитературились» в «Докторе Живаго».

Старцов — человек сердца. Он тонко чувствует хорошее в окружающих, любит людей, искренне верит в плодотворность людского содружества, в право человека на личное счастье, какие бы исторические потрясения ни происходили вокруг. Во время кровавой бойни мировой войны он живет любовью и хочет жить ею дальше. Даже роковые для него поступки Старцов совершает потому, что не может равнодушно видеть людскую боль, не в состоянии подавить чувство жалости или сострадания, отвергнуть претензию другого человека на счастье, превозмочь обращенную к нему мольбу.

Робкая мысль притупляет и нравственную разборчивость чувства, делает Старцова аморфным, беззащитным перед посторонним напором, перед натисками окружающей жизни. Внутренне чуждая женщина, по случайности оказавшаяся рядом и помогающая его, занимает место горячо любимой Мари, с которой разлучили обстоятельства. С презрением и гадливостью относится он к «другу мордовской свободы» вешателю маркграфу Шенау, этому разгулявшемуся социал-дарвинисту, и идет на беспринципный компромисс — позволяет ему разжалобить себя, заворожить клятвами и обещаниями, помогает ему бежать от справедливого возмездия из России в Германию... Совесть Старцова запутывается в непримиримых противоречиях. Он сознает итог, к которому пришел. Еще прежде, чем Старцов падет от пули друга, твердокаменного коммуниста Курта Вана, терзания больной совести доводят его до умопомрачения, превращая почти что в городского сумасшедшего...

В фигуре Старцова передана и высокая трагедия гуманистического чувства, которому «трудно смириться с болью, если даже она неизбежна». Эта идея романа, выраженная через переживания центрального персонажа, наложила печать и на художественную композицию, с как будто беспорядочно переставленными глава-

ми, хронологической вольностью повествования. «Смятение духа Андрея Старцова», по выражению Федина, «нашло отражение в смятенной композиции романа».

Интеллигенция и революция, интеллигенция и народ — таков главный пафос произведения, которым определяются так или иначе остальные его темы. Не случайно первые проблески в рождающемся образном замысле романа содержали вначале намек на судьбы лишь двух фигур — на глубокий упадок личности Андрея Старцова и на активную жизнедеятельность деревенского мужика Федора Лепендина. Мысленному взору художника еще при обдумывании будущей книги рисовалась картина обывательского прозябания духовного калеки Старцова и образ поведения безногого инвалида войны Лепендина.

Когда Лепендин находился в германском плену, некий немецкий врач (скорей всего, из той же породы социал-дарвинистов, которые позже по приказу фюрера будут хладнокровно уничтожать психически и безнадежно больных соотечественников), продельвая свои бесчеловечные опыты по проверке анестезирующих средств, под наркозом отпилил ему ноги. Повреждены и отморожены были ступни, но русских военнопленных наловчились использовать как мышей и лягушек.

Однако даже и тут Лепендин не пал духом. «Он сплел себе лукошко, вроде того, какое кладут под наседку, устлал дно тряпками и сел на них, привязав лукошко ремешками за пояс. Потом вырезал из березы уключины... Вдел руки в дужки уключин, оперся ими о землю, приподнял на руках туловище и, раскачав его, пересел на добрый шаг вперед. Умаявшись, он отер лоб и сказал солдату, наблюдавшему, как он тужился:

— Во, паря, хоть в Киев валяй!..

Засмеялся и начал жить лагерной жизнью».

Народ — подлинный творец истории. Эту мысль художественными средствами стремится утвердить Федин. Любые поиски особых путей для интеллигенции в отрыве от народа способны лишь завести в безнадежный тупик. Идея эта, впоследствии широко развитая в советской литературе, как лишний раз подтвердил трагический опыт отечественной истории XX века, внешне слишком хороша и добродетельна, чтобы всегда быть беспороч-

ным указующим ориентиром. На наших глазах народы одинаково успешно обманывали Гитлер и Сталин, да и вожди других цветowych оттенков политического спектра. Но в начале 20-х годов на волне энтузиазма только что победившей революции искренность чувств, обуревавшая художников, вызывала яркость красок и силу образов...

Федин неоднократно говорил, что Германия «является как бы одним из главных действующих лиц» книги. Это действительно так. Мозаика лиц и фигуры, обрисованные в произведении, представляют чуть ли не все социальные слои и группы городской немецкой провинции. Тут и юнкерско-буржуазная среда от маркграфа Шенау до семейства Урбах (родителей Мари!), и монархопослушный социал-демократ Пауль Геннинг, и друг Старцова по студенческим штудиям, талантливый художник, а позже фанатичный коммунист Курт Ван, и ремесленник Майер, отважившийся на антивоенный протест, и т.д. Перед читателем возникает картина развития самосознания германского общества в годы мировой империалистической войны, вплоть до ноябрьской революции 1918 года.

В «Городах и годах» писатель обращается к образному исследованию темы, которая отныне займет исключительное место во всем его творчестве, станет одной из отличительных черт Фебина в литературе. Никто из современных ему прозаиков не писал так много и ярко о жизни людей искусства, как Федин. И сделано это впервые в романе «Города и годы». Тема эта — художник и общество, искусство и социальные перевороты. Основные эпизоды представлены в «германских» главах романа. Изображая способность человека к подлинному восприятию искусства, разнообразные социально-нравственные стороны таких отношений, автор изобличает германский национализм, филистерство и милитаризм; он лепит характеры, в которых иногда с прозорливой точностью угаданы предтечи и духовные родичи гитлеровского фашизма. Те самые, от чьих рук в пламени общего книжного костра суждено погибнуть впоследствии и первому немецкому переводу романа «Города и годы».

...Жестокий договор еще в мирные времена заключает меценат маркиграф фон цур Мюллен-Шенау с молодым безвестным художником Куртом Ваном. Он дает тому деньги, много денег, чтобы безбедно жить, спокойно тратиться на краски и холсты и писать все, что заблагорассудится. Условия сделки беспощадны. Курт Ван по своей воле не вправе даже показывать готовые произведения посторонним. Полотна, этюды, рисунки, наброски — все, что создаст талантливый художник, все без изъятий, должно поступать в одни руки, в полную собственность маркиграфа, в его запасники и храниться там, на полках или за шторками, до тех пор, пока меценат сам не решит, что час пробил. И настала пора явить миру новое живописное чудо, восходящее светило.

Играя чужими судьбами, когда все остальные рассматриваются Шенау в качестве низших людских пород, он не прочь в данном случае, когда явится возможность, таким способом прославиться сам. Пока же талантливому художнику неопределенную череду лет предоставляется писать в безвестность, в немоту. Меценат присваивает себе право быть единственным распорядителем судьбы таланта. Он покупает душу художника.

Разборчивого потребителя культуры, гурмана от искусства, фон цур Мюллен-Шенау снедают завистливое тщеславие и мания самовозвеличивания. Его гложут корысть, злоба. И он начисто лишен тех нравственных качеств и свойств, ради которых существует художественная культура, — добра, человеколюбия, творчества.

Свою внутреннюю пустоту Шенау и стремится поначалу любыми путями скрыть от окружающих. (Быстрее других эту шегольскую пустоту распознала краткая его возлюбленная Мари Урбах.) Пока обстоятельства не кладут конец вынужденному маскараду и не дают выхода подлинным страстям и побуждениям. В сумятице грянувшей мировой войны, став офицером кайзеровской армии, а после плена и переворота в России главарем контрреволюционной банды из бывших военнопленных в Мордовии, Шенау может безгранично властвовать над людьми, давить, разрушать, убивать и вешать, оставаясь в то же время вроде бы даже блюстителем кодекса дворянской чести. Наконец он становится самим собой.

Вначале маркиграф предназначал себе роль радетеля и благодетеля искусства. Но вот настала пора социальных потрясений.

Курт Ван свернул не на ту дорогу, которую готовил ему Шенау. Стал революционером, идейным противником.

Узнав об этом, едва ли не первое, что делает по возвращении с войны Шенау, — отдает распоряжение извлечь из запасников родового замка и собрать у него в кабинете все полотна и рисунки непокорного художника, все его детища.

Вот они лежат, сваленные в одну грудую, в общую кучу, всё, что наработал, всё, что успел создать, сотворил талантливый живописец. Без этой бесформенно сваленной посреди комнаты на полу кучи раскрашенных и перевернутых холстов, деревяшек подрамников и бумажных листов нет художника, или, по крайней мере, нет прошлого у художника.

И, сидя над этой беспорядочной грудой незащищенных творений искусства, маркграф фон цур Мюллен-Шенау свершает свою изощренную месть. Один за другим он кромсает ножом и режет в куски холсты и рисунки. И делает это с тем сладострастием, как будто полосует живую душу мятежного художника.

При этом он испытывает острое, ни с чем не сравнимое наслаждение. Это наслаждение скопца, злобствующего импотента, наслаждение Герострата, тщеславно поджигающего творение зодчества, и это наслаждение фашиста, беспощадного ко всему, что мешает обратить жизнь в однообразную казарму, где наилучшим образом исполняются самые бредовые теории о господстве избранных.

Да, по отношению к культуре, к искусству отпрыск старинной дворянской фамилии фон цур Мюллен-Шенау — предтеча фашизма. Не забудем ведь, что среди его духовных преемников тоже попадались впоследствии не совсем обычные собиратели произведений живописи, вроде Геринга и рангами ниже.

Очень многие из них коллекционировали награбленные сокровища изобразительного искусства. Что ничуть не препятствовало им, как известно, обходиться с неудобными шедеврами точно так же, как с другими их собратьями по художественной культуре, — при помощи костров, кувалд и резательных машин... Достаточно вспомнить хотя бы так называемые выставки «выродившегося искусства», на которые нацисты издевательски стаскивали выдающиеся творения новаторской живописи и скульптуры XX века.

Часть еще не уничтоженных произведений, отмеченных неприемлемой смелостью мысли и формы, выставлялись здесь на публичное позорище.

На духовную общность иных своих персонажей с предтечами германского фашизма указывал Федин. «Бывает, что воображение поражают явления, которые еще не развились и не закрепились в названиях, — отмечал писатель. — Маркграф фон цур Мюллен-Шенау в романе “Города и годы” — типичный фашист. В прусском милитаризме я уже видел зародыши фашизма тогда, во время своего четырехлетнего пребывания в Германии... и мог бы, при надобности, часть этих впечатлений перенести по времени действия...»

Это было долголетнее ощущение. И никаких иллюзий в возможность замирения с германским фашизмом он не питал. Вскоре после внезапного нападения фашистской Германии на нашу страну Федин писал одному из читателей-друзей 3 сентября 1941 года: «...Спасибо за хорошее чувство ко мне... Стоит сейчас перечитать “Города и годы” — там все о нас и наших днях... Как все повторилось ужасно!»

Действительно, хорошие книги правдивы. И поэтому всегда современны.

НЕМЕЦКИЙ ШПИОН ИЛИ МЫШЬ НА ПЛИНТУСЕ

Тут мы сделаем некоторый хронологический перескок, чтобы показать, во что позже обернулась для Федина его былая жизнь в Германии. Чего ему стоили с течением лет сформировавшиеся там в отталкивании от бесчеловечных духовных предтеч фашизма широкие гуманистические представления, последующие длительные связи с тамошними людьми и немецкой культурой. Знаковое в этом смысле событие случилось почти ровно через два десятилетия после публикации романа «Города и годы».

Но прежде своего рода ходячая байка, основанная, впрочем, на подлинном высказывании, которая пошла гулять по свету с легкой руки писателя Владимира Солоухина.

Федин поры высшего общественного взлета (вторая половина 50-х — 60-х годов), лауреат, Герой Соцтруда, академик, часто

искренне тяготился теми постами и званиями, которые под давлением обстоятельств, по слабости характера или склонности к тщеславию принимал и носил. Этими покаянными нотами не только полнятся дневниковые записи. С едкой самоиронией он иногда выражал их на людях.

Владимир Солоухин в автобиографических заметках «Камешки на ладони» рассказывает: «Работал я под Калинином, вечерами часто бывал у Соколова-Микитова. Иван Сергеевич там в Карачарове жил. Однажды прихожу — в гостях у него Федин, они давние друзья. Оба слегка под градусом. Начали вспоминать былое, разные невеселые литературные события. И Федин, обращаясь ко мне, вдруг говорит: “Приходилось ли вам, Владимир Алексеевич, видеть, как ведет себя мышь, когда в комнате люди? Она никогда не выбегает на середину, она бежит вдоль плинтуса, к нему жметя. Вот так и я всю жизнь в литературе прожил”».

Запись эту затем широко цитировали противники Фебина. Не знаю, насколько точно передает застольный разговор В.А. Солоухин. Покаянные нотки Фебина в нем, как и на некоторых страницах дневников, очевидны и в отдельные моменты его высшего начальствования в Союзе писателей СССР вполне оправданны и уместны.

Самоедство-то самоедством. Но едва ли К.А. когда-либо склонен был городить на себя напраслину. А утверждение, что он *«всю жизнь в литературе»* так прожил, этого сорта. Напротив, бывали годы и даже десятилетия, когда этот кабинетный человек, если употреблять ту же образную стилистику, не страшился выходить на середку официального ристалища с копьём наперевес и даже без лат. Это прекрасно знали и Соколов-Микитов, и тем более сам Федин.

После такого предупреждения и поведем наш рассказ.

На исходе зимы 1944—1945 годов И.В. Сталин потребовал к себе руководителя Союза писателей СССР А.А. Фадеева. Вождь устроил писательскому генсеку гневную головомойку за потерю бдительности: «Разве вам не было известно, — вышагивая по кабинету, с обычной своей въедливой медлительностью, повторял он в ходе разноса, — что в вашем Союзе писателей свито шпионское гнездо?»

Не сразу, а с мучительской постепенностью, лишь в конце концов вождем была названа четверка видных литераторов во главе с А.Н. Толстым. Если бы дело было запущено в полный разворот, скамью подсудимых рядом с этим «английским шпионом» должны были занять Илья Эренбург («международный шпион»), Константин Федин («немецкий шпион»), а также Петр Павленко (давний приятель и услужливая крестура писательского генсека, через которого ввиду пока что собственной недосыгаемости Фадеева для верховного чекиста сводил счеты с ним ненавидевший его правитель Лубянки Берия). Папку «компромагов» выложил на стол вождя именно он — Большой Мегрел, как иногда звал Хозяин земляка и шефа спецслужб Берию. Однако же разговор носил весьма странный характер.

«Меня вызвал к себе Сталин, — рассказывал Фадеев. — Он был в военной форме маршала. Встав из-за стола, он пошел мне навстречу, но сесть меня не пригласил (я так и остался стоять), начал ходить передо мною:

— Слушайте, товарищ Фадеев, — сказал мне Сталин, — вы должны нам помочь.

— Я коммунист, Иосиф Виссарионович, а каждый коммунист обязан помогать партии и государству.

— Что вы там говорите — коммунист, коммунист. Я серьезно говорю, что вы должны нам помочь, как руководитель Союза писателей.

— Это мой долг, товарищ Сталин, — ответил я.

— Э, — с досадой сказал Сталин, — вы все там в Союзе боретесь «мой долг», «мой долг»... Но вы ничего не делаете, чтобы реально помочь государству в его борьбе с врагами. Вот вы — руководитель Союза писателей, а не знаете, среди кого работаете.

— Почему не знаю? Я знаю тех людей, на которых я опираюсь.

— Мы вам присвоили громкое звание «генеральный секретарь», а вы не знаете, что вас окружают крупные международные шпионы. Это вам известно?

— Я готов помочь разоблачить шпионов, если они существуют среди писателей.

— Это все болтовня, — резко сказал Сталин, останавливаясь передо мной и глядя на меня. Я стоял почти как военный, дер-

жа руки по швам. — Это все болтовня. Какой вы генеральный секретарь. Если вы не замечаете, что крупные международные шпионы сидят рядом с вами.

Признаюсь, я похолодел. Я уже перестал понимать самый тон и характер разговора, который вел со мной Сталин.

— Но кто же эти шпионы? — спросил я тогда.

Сталин усмехнулся одной из тех своих улыбок, от которых некоторые люди падали в обморок и которая, как я знал, не предвещала ничего доброго.

— Почему я должен вам сообщить имена этих шпионов, когда вы были обязаны их знать? Но если вы уж такой слабый человек, товарищ Фадеев, то я вам подскажу, в каком направлении надо искать и чем вы нам должны помочь. Во-первых, крупный шпион ваш ближайший друг Павленко. Во-вторых, вы прекрасно знаете, что международным шпионом является Илья Эренбург. И, наконец, в-третьих, разве вам не было известно, что Алексей Толстой английский шпион? Почему, я вас спрашиваю, вы об этом молчали? Почему вы не дали нам ни одного сигнала? Идите, — повелительно сказал Сталин и отправился к своему столу. — У меня нет времени больше разговаривать на эту тему, вы сами должны знать, что вам следует делать».

Запись, отрывок из которой приведен выше, сделана со слов А.А. Фадеева в июне 1954 года его биографом Корнелием Зелинским. Запись почти синхронная. Мемуарный очерк, куда она включена, так и называется «Июнь 1954 года». Сам Фадеев в ту пору оставался генеральным секретарем Союза писателей СССР, хотя и знал, что уже принято решение о его замене, и почти два года еще он оставался в составе ЦК КПСС.

То, что Сталин выдвигал эти обвинения, известно не только в передаче К. Зелинского. Видный прозаик Валерия Герасимова, первая жена А.А. Фадеева, была натурой ответственной, правдивой, не умевшей кривить душой. Оттого ее сопровождала даже репутация человека с тяжелым характером. В браке с Фадеевым состояла до 1932 года. Через четыре года Фадеев женился на известной народной артистке МХАТ Ангелине Степановой, с которой у них было двое детей, но не выходило той духовной близости,

как с первой женой. Между тем доверительность и дружеские отношения с Герасимовой сохранялись.

Герасимова едва ли что-либо могла знать о писавшихся «в стол» фадеевских «стенографических мемуарах» Зелинского, отличавшихся в целом острыми разоблачениями советской системы (времена еще не назрели!), так же как и Зелинский тем более не мог знать о толстой тетради часто весьма интимных «Беглых записей» бывшей жены А.А. Фадеева. Так что источник информации, как на то и указывает каждый из авторов, был общий — сам А.А. Фадеев.

Оба очевидца умерли почти за два десятилетия до того, как их свидетельства, независимо друг от друга извлеченные наследниками из домашних архивов уже во времена перестройки, появились на страницах печати. Верная мысль была — опубликовать их вместе. Представив рядом перекликающиеся и подтверждающие друг друга записи К. Зелинского и В. Герасимовой («Вопросы литературы», 1989, № 6, с. 108—186), редакция достигла неожиданного эффекта — возникло объемное *переложение устных мемуаров самого Фадеева, касающихся не только этого конкретного эпизода, но отчасти* объясняющих его жизненную трагедию.

Валерия Герасимова свидетельствует: «Об А. Толстом, Эренбурге, Федине сам Сталин лично, непосредственно говорил Фадееву как о “шпионах”, “агентах иностранных разведок” (С.143). Подобные шельмования, по ее словам, заставляли Фадеева с рыданиями кататься по полу, повторяя: «Не могу.. больше я не могу».

Фадеев после всех потрясений долго находился в «пещере», то есть пил, затем болел и лечился. Удивительно, что Сталин ему это прощал. Но сколько он ни тянул и ни отлынивал, к Берии ему все-таки пришлось поехать. Причем инициативу на сей раз проявил уже сам Лаврентий Павлович. В записи рассказов Фадеева, приводимых К. Зелинским, это выглядит поначалу даже очень идилично:

«В мае того же года, когда закончилась война, Берия пригласил Фадеева к себе в гости, на дачу.

— Сначала мы ужинали с ним вдвоем. Низко опущенная люстра над белой скатертью, тонкие вина, лососина, черная икра. Бесшумно входящие горничные. Только иногда в дверях показы-

вались люди, несшие охрану. Дважды Берию вызывали к телефону в его кабинет, и его помощник, молодой грузинский полковник, подходил и шептал что-то по-грузински Берии.

Берия был со мной весьма любезен. Мы говорили о литературе. Потом Берия осторожно подошел к вопросу, который передо мною поставил еще зимой Сталин, что в Союзе писателей существует гнездо крупных иностранных шпионов. Я понял, о чем идет речь, и сказал:

— Лаврентий Павлович, почему вы выдвигаете такие предположения, внушая их Иосифу Виссарионовичу, в которые я, работая бок о бок с людьми и хорошо зная их, просто не могу поверить?

— Ладно, — отрывисто прервал нашу беседу Берия. — Лучше пойдемте сыграем в бильярд.

Но в бильярдной комнате, где мы остались совсем вдвоем, я окончательно поругался с Берией. Тут меня прорвало. Я начал говорить, что вообще нельзя так обращаться с писателями, как с ними обращаются в НКВД, что эти вызовы, эти перетряски, эти науськивания друг на друга, эти требования доносов — все это нравственно ломает людей. В таких условиях не может существовать литература, не могут расти писатели. Берия отвечал мне сначала вежливо, а потом тоже резко. В конце концов, мы оба повысили голос и поругались.

— Я вижу, товарищ Фадеев, — сказал мне Берия, — что вы просто хотите помешать нашей работе.

— Довольно я видел этих дел. Вы мне их присылаете.

Берия разозлился, бросил кий и пошел в столовую за пиджаком, который он там оставил. Я воспользовался этим случаем и через другую дверь вышел на террасу, затем в сад. Часовые видели меня в воротах, поэтому выпустили меня. Я быстрым шагом отправился на Минское шоссе. Прошло минут пятнадцать, как я скорее догадался, а потом услышал и увидел, как меня прошупывают длинные усы пущенного вдогонку автомобиля. Я понял, что эта автомашина сейчас собьет меня, а потом Сталину скажут, что я был пьян, тем более, что Берия усиленно подливал мне коньяку. Я улучил момент, когда дрожащий свет фар оставил меня в тени, бросился направо в кусты, а затем побежал обратно, в сторону

дачи Берии, и лег на холодную землю за кустами. Через минуту я увидел, как виллис, в котором сидело четверо военных, остановился возле того места, где я был впервые замечен. Они что-то переговорили между собой — что, я уже не слышал, — и машина, взвыв, помчалась дальше. Я понял, что если я отправлюсь в Москву по Барвихинскому, а потом Минскому шоссе, то меня, конечно, заметят и собьют. Поэтому, пройдя вперед еще около километра за кустами, я перебежал дорогу и пошел лесом наугад по направлению к Волоколамскому шоссе. Я вышел из него... сел в автобус, приехал к себе на московскую квартиру, где официально, так сказать, я был уже в безопасности».

Так закончился этот безрассудный поход «за истиной» в логово врага. Фадеева спасли только его давний таежный нюх и партизанская сметка, это почти звериное чутье, с юности развитое и не покидавшее его.

Иначе быть бы ему под колесами автомашины (с заготовленной официальной версией — случайно сбит ночью на безлюдном загородном шоссе в пьяном виде). Впрочем, сходная заготовка, судя по снаряженному в мгновение ока «виллису», могла существовать и в том случае, если бы даже Фадеев самовольно и не покинул кров хозяина тайных служб. Писательский «генсек» подставился сам, а Большой Мегрел такие ситуации упускать не любил... Неожиданным поступком, как уже с ним бывало не раз, Фадеев спас себя.

Что же затормозило дальнейший раскрут судебной затеи? Почему Сталин перестал настаивать на том, на что столь жал во время официальной встречи с генсеком Фадеевым?

Самый общий ответ, выражаясь лексиконом советских бюрократов, будет один: «ситуация не сложилась». Это, очевидно, скоро признал и лубянский владыка Берия и со свойственной ему гибкостью на поворотах отказался от выношенного замысла, предпочтя достигать тех же результатов другими средствами и способами.

«Складыванию ситуации», конечно, препятствовали некоторые частности. Один из главных фигурантов будущего процесса, А.Н.Толстой, тяжело болел, а в конце февраля 1945 года

скончался. Но болезни и смерти в таких случаях делу никогда не мешали. Проклясть за шпионаж можно и заочно, а «свято место» пусто не бывает. На него даже по Спецсообщению НГБ июля 1943 года из трех десятков человек многие напрашивались в замену. К тому же главной личной целью хозяина Лубянки был не А. Толстой, а А. Фадеев, которого не удалось убрать на ночном пустынном шоссе.

Выходило, что былой дальневосточный партизан переиграл маститого кавказского разведчика. При всем своем незаурядном актерстве Берия не мог даже внешне скрыть этого. Твардовский, который дружил с Фадеевым, вспоминал, как тот изображал в лицах, «как Берия, встречаясь с ним на заседаниях в ЦК, демонстративно, как бы со зловещим смыслом молчаливо сверлил его глазами. Подобная публика страсть как любила такие “штучки”!

— Я глаз не опускал, — посмеивался Саша, — но думал про себя: посадит или нет?»

...В переданной Сталину секретными органами для разговора с Фадеевым и, возможно, лежавшей на его столе папке избличений в то время, как одетый в маршалский мундир вождь, вышагивая, устраивал смертельную головомойку стоящему перед ним навытяжку попеременно то красневшему, то бледневшему генсеку Союза писателей, безусловно, должны быть обильно представлены подтверждающие материалы на всех кандидатов на скамью подсудимых.

Какова «коллекция», относящаяся к Федину?

Июлем 1943 года датировано Спецсообщение Управления контрразведки Наркомата госбезопасности СССР «Об антисоветских проявлениях и отрицательных политических настроениях среди писателей и журналистов». Это был плод усилий целой армии рядовых секретных осведомителей («сексотов») и оперативников, действующих в разных регионах страны. Результаты своих разысканий контрразведчики в сжатой форме докладывают высшему руководству НГБ СССР. Лубянский наркомат в то время возглавлял Меркулов, ближайший сподвижник и креатура Берии.

Среди затаившихся врагов советской власти, судя по секретному донесению, в качестве серьезной опасности выделялся

К.А. Федин. Тем более что ему доверено видное место в писательской среде.

События, о которых шла речь, развертывались в российской глубинке. Многих писателей с семьями — Федина, Пастернака, Леонова, Асеева, Исаковского и др. — с продвижением немцев к Москве эвакуация занесла в провинциальный городок на Каме Чистополь (Татария). В результате здесь создалось то, чего прежде не могли представить даже самые смелые фантазии, — мощное отделение Союза писателей из первачей-«олимпийцев». Для здешних глухих и сонных мест оно работало необычайно активно. Теперь даже издана книжка, посвященная деятельности Чистопольской писательской организации в годы Отечественной войны.

Фактически возглавлял организацию эвакуированных писателей, наряду с номинальными сопредседателями, и наиболее активно работал Федин. Понятно, что происходящее с особой тщательностью вынюхивали и отслеживали сексоты. Между тем К.А. вел себя неосторожно. И собственные взгляды порой выражал резко.

Отрывок из спецсообщения Наркомата госбезопасности:

«Федин К.А., писатель, — зафиксировано там, — до 1918 года был в плену в Германии, поклонник “немецкой культуры”, неоднократно выезжал в Германию и был тесно связан с сотрудниками германского посольства в СССР. “... Все русское для меня погибло с приходом большевиков; теперь должна наступить новая эпоха, когда народ не будет больше голодать, не будет все с себя снимать, чтобы благоденствовала какая-то кучка людей (большевиков)... За кровь, пролитую на войне, народ потребует плату и вот здесь наступит такое... Может быть, опять прольется кровь...”

Далее: “...Нас отучили мыслить. Если посмотреть, что написано за эти два года, то это сплошные восклицательные знаки”.

Или еще — о положении на фронтах и соотношении сил воюющих сторон: “Ничего мы сделать без Америки не сможем... Превратившись в нищих и прося рукой подаяния, — вот в таком виде

мы сейчас стоим перед Америкой. Ей мы должны поклониться и будем ходить по проволоке, как дрессированные собаки...»¹

Вполне возможно, что указания на антисоветские настроения и возможную вражескую деятельность Федина в итоговой записке, положенной на стол Сталину, сопровождались еще и другими фактическими подтверждениями. В соответствующей документации на Федина у Лубянки не было недостатка.

В. Шенталинский, работавший в комиссии по литературному наследию репрессированных писателей, в числе первых изучал в архивах НКВД следственное дело Бориса Пильняка, одного из ближайших довоенных друзей Федина, соседа по даче в писательском поселке Переделкино. Отношения с автором «Повести непогашенной луны» у Федина были самые доверительные. В верности того, что арестованный вынужденно говорил о нем в декабре 1937 года, не усомнишься. В приводимом ниже тексте ощущаются даже фединские интонации.

«С Фединым я особенно близок, — давал показания Пильняк. — Мы с ним часто вели разговоры о невыносимом режиме в партии, о том недоверии, которым окружен человек. Этот режим рассматривался нами как террор... Если у Федина вначале было возмущение против Троцкого, “этой обезьяны, которая сидит за границей и добивается власти в России, не спрашивая нас, хотим ли мы сидеть под его пятой” (со слов Федина), то аресты, непонятные и необъяснимые, обернули Федина против всей партии — Сталина и Ежова, как исполнителя воли Сталина. Мы сходились на том, что партии нет, что есть один Сталин, что положение в партии и стране грозит катастрофой. Федин боялся войны с немцами, “когда эта семидесятимиллионная масса, голодная и убежденная в своем нацизме, железным сапогом раздавит Россию...”».

¹ Сборник «Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) — ВКП(б), ВЧК — ОГПУ — НКВД о культурной политике 1917—1953 гг.». М., 1999. С. 487—499. Любопытна характеристика НКГБ, предваряющая собранные агентурой высказывания К.А. Федина, что он «неоднократно выезжал в Германию и был тесно связан с сотрудниками германского посольства в СССР». Выделенные нами курсивом слова, включая «был тесно связан с сотрудниками германского посольства в СССР», прямо подводят к выводу о скрытной работе писателя в пользу врага («германский агент»!) и могут служить одним из указаний, что документ готовился для крутой реакции на самом верху.

Добавочные сведения о Федине, что называется, по собственным каналам имел вождь и лично. В другом документальном источнике наших дней, сборнике «Большая цензура» (документ № 366), опубликовано письмо тогдашнего и.о. главного редактора «Литературной газеты» О.С. Войтинской Сталину от 30 января 1939 года. Подвергшаяся несправедливому, с ее точки зрения, разному на встрече с партийным руководством со стороны как раз высшего литературного функционера А.А. Фадеева, руководительница «Литгазеты» информирует вождя, что, наряду с официальными редакционными обязанностями, она ведет «разведывательную работу по заданию органов НКВД. Поэтому бывало, — сообщает Войтинская, — что в газете я не имела права выступать против людей, о которых я знала, что они враги».

В полной мере это касается, например, Фебина. «Ведя разведывательную работу, — сообщает Войтинская, — я знала об антисоветских настроениях Фебина, о его политически вредной роли в литературе. Однако интересы разведки требовали, чтобы я была в хороших отношениях с Фебиным, следовательно, я не могла выступать против него в газете».

Получив это партийно-наивное, а по нормальным человеческим понятиям, циничное и бесстыдное письмо, Сталин, исполненный любопытства, позвонил Войтинской. Правда, из-за случившегося незадолго перед тем с О.С. Войтинской инсульта (трубку взял муж и сообщил об этом) разговор не мог состояться. Но сигнал о Федине вон еще когда дошел до вождя, а благодаря необычным обстоятельствам мог застрять в памяти.

Было еще и много других неотразимых сигналов о том же вроде бы тихоне, но внутренне зловредном и опасном человеке.

Куда более крупным и надежным цепным псом, чем нервная и хлипкая здоровьем и.о. главного редактора «Литературной газеты» Войтинская, был генеральный секретарь Союза писателей СССР Владимир Ставский. Это он в марте 1938 года докладной запиской под грифом «Сов. секретно» просил наркома НКВД Ежова «помочь решить... вопрос об Осипе Мандельштаме», «авторе похабных клеветнических стихов о руководстве партии и всего советского народа» (экивок на стихотворение 1933 года о

Сталине — «Мы живем, под собою не чуя страны...», за которое поэт уже отбыл несколько лет арестов и ссылок). Через полтора месяца Мандельштам был арестован и в том же году умер в пересылочном лагере на грани умопомешательства мучительной голодной смертью.

Разными способами и приемами своей неумной активности генсек был повинен в гибели многих десятков писателей.

Владимир Петрович Ставский (Кирпичников) — бывший молотобоец, бывший чекист, член партии с 1918 года, генерал, то бишь бригадный комиссар по тогдашнему наименованию воинских званий, скорее журналист, чем писатель, он и погиб в 1943 году на передовой линии, готовя очерк о подразделении девушек-снайперов для партийной газеты «Правда». Сам стал добычей затаившегося немецкого автоматчика.

Недавно явился на свет огромный архивный том объемом в более чем тысячу страниц под названием «Между молотом и наковальной. Союз советских писателей СССР. Документы и комментарии. Том 1. 1925 — июнь 1941 г.» (М.: РОССПЭН, 2010). Среди прочего там впервые опубликованы некоторые так называемые дневниковые записи В. Ставского, по существу «записки палача», которые он вел в самые жуткие времена ежовщины — массовых посадок и расстрелов 1937—1938 годов. Наспех прочерченные карандашом страницы записных книжек и листки бумаги напоминают скорее не излияния личных чувств, а наблюдения тюремного надзирателя или деловые заготовки для очередных доносов и наметки предстоящих расправ.

Записи такого рода: «Эренбург — правая рука Бухарина». «ЛенССП оказался крайне засорен врагами народа...» “Серапионовы братья”, обласканные Троцким, что-то недоговаривают». «Приговоры над врагами — Народные приговоры». И так далее, в той же стилистике. А рядом (противоречива человеческая душа!), после всяких «врагов народа»: «А ведь какая прекрасная жизнь! Какие грандиозные победы! И какая еще предстоит грандиозная борьба».

Немало в этих летучих кондуитах помет и о Федине. К примеру, обратившие на себя его внимание места из публичных выступлений Федина:

«К. Федин: «Голая политика ворвалась на пленум...»

Эстет?! А как насчет статьи Ленина «Партийная организация и партийная литература»?!

«Федин о Замятине: Он хороший советский человек. У него только два разногласия: дать свободу печати и отменить смертную казнь».

Ого-го! «Хороший советский человек»?! «Только два разногласия»?! Какой будущий ответный ход подбирал хозяин записной книжки? Возможно, листал в своей цепкой памяти то, что ему было известно об отношениях этих двух людей.

А при чекистской осведомленности было что вспомнить.

Осенью 1931 года благодаря Горькому Сталин разрешил Евг. Замятину уехать за границу. Вначале жизнь в Париже не сознавалась тем как эмиграция. Автор романа-антиутопии «Мы» и других запрещенных в СССР произведений надеялся вернуться. От Федина, ученика Замятина еще по «Серапионовым братьям» (разница в возрасте — восемь лет, но они были на «ты»), среди коллег гуляло прозвище — Гроссмейстер литературы. Федин вместе с А. Толстым оказывал помощь, связанную с опекой над оставленной в Ленинграде квартирой Замятиных, переводами гонимых и т.д.

Федин информировал Замятина о наплывающих тучах. Полная откровенность была стилем их отношений с конца 20-х годов, когда создатель романа «Мы» вместе с автором повести «Непогашенная луна» Борисом Пильняком подвергались травле в печати и на собраниях.

21 сентября 1929 года Замятин сообщал Федину из Москвы в Ленинград о так называемом «идеологическом шабаше» в столичном Союзе писателей: «Сегодня днем узнал, что завтра у вас — общее собрание в Союзе и что сегодня выезжают разлагать ленинградцев — члены нового Правления... Очевидно, на общем собрании будет поставлен вопрос и о романе “Мы”... Я решил на завтрашнее собрание не ехать. Мотивы: собрание московского типа (Горький правильно назвал это “самосудом”) — что бы я ни говорил, это все равно заготовленных... резолюций ни на йоту не изменит; если общее собрание в Ленинграде окажется иным — мое присутствие там излишне...»

Федин тут же письменно оповещал Замятина: «...вчерашний день, вероятно, мало чем отличался от “большого московского дня” в Союзе. Разброд и растерянность правления достигли страшных размеров. Решения принимались наспех и под таким чудовищным давлением, что под конец все чувствовали себя совершенно раздавленными. Правление “было взято” измором... чтобы правление вынесло окончательное решение по твоему вопросу.. Сущность его, помимо словесности, сводится к следующему: 1. Разрешение тобой английского перевода признано политической ошибкой; 2. Констатировано, что ты не признал своей ошибки в объяснениях; 3. Что ты не отказываешься от идей романа “Мы”, признанных нашей общественностью антисоветскими. Пункт четвертый касается запрещения публиковать за границей произведения, “отвергнутые советской общественностью”. Общее собрание приняло резолюцию, осуждающую и тебя, и Пильняка».

И уж вовсе опрокидывающий тон наполнял письма Фебина, отсылаемые за границей, когда риск перлюстрации со стороны органов НКВД был минимальным. Тут он замахивался даже на партийное руководство во главе со Сталиным.

13 ноября 1933 года Федин, недавно прибывший для повторного курса лечения от туберкулеза в Мерано (Северная Италия), сообщал Замятину оттуда по итальянской почте о своих последних московских предотъездных впечатлениях: «Был у Горького, в Горках и на Никитской. Последний раз — на вечере с участием трех членов правительства, самых высоких (И.В. Сталина, Л.М. Кагановича и Н.И. Бухарина. — Ю.О.). Братья-писатели вели себя униженно. Алеша (А.Н. Толстой. — Ю.О.) шутовал, скоморошничал всю ночь. Другие — петушками. Или кто как мог. Обстановка предельно-грустная, но, так сказать, показательная».

Но такое пособничество в целом, разумеется, не оставалось незамеченным. Фебина били и на собраниях, и в печати. И ходил он часто помятый и неуверенный. В одной из последних записей «кондуита» Ставского, представляющей, возможно, случайно слышанный или взятый «на карандаш» с чьих-то слов разговор Фебина с третьим лицом, тот предстает растерянным и жалким:

«Федин: Некуда идти. Не к кому апеллировать.

— Выгоднее писать роман. Вышел один раз в четыре года.

Простился с женой».

Прощаться с женой в 1937—1938 годах надолго, если не навсегда, у Федина действительно было тогда немало оснований и поводов...

Однажды было даже и так, как можно вычитать в одном из современных печатных источников: «В тридцать восьмом за Фе-диным приехали. Он пошел к черной машине — и тут увидел, что ордер выписан не на него, а на Бруно Ясенского. Он сказал: “Плохо работаете, товарищи!” — и указал на дачу, где жил Ясенский».

Дальше следует обличающая тирада, что, дескать, испуганный ночным кошмаром писатель поступил непорядочно и аморально. Не надо было пособничать палачам и указывать дачу обреченной жертвы. Кто станет спорить. Хотя и сам обличитель в данном случае не забывает присовокупить: «Не знаю, что сделал бы я. И как поступило бы большинство. Но что Пастернак поехал бы вместо Ясенского — уверен стопроцентно...» (Звучит возвышающее хвалебное крещендо в честь гипотетического героя! А по нему, как льва по когтю, узнаешь автора. Эпизод почерпнут из упоминавшейся антифединской статьи Д. Быкова.)

Гораздо интересней реальная политическая психопатия той поры. Случилась оплошка. Аресты происходили ночью. Воронки НКВД шныряли по путаным и бугристым улочкам дачного поселка. И отыскать калитку огороженной забором дачи не всегда было просто. О сходном происшествии рассказывал мне в одну из встреч Л.М. Леонов (уже в 1965 году).

Ночью у его дачи остановился «воронок». Леонид Максимович, полусонный, в халате, на истерические трели звонка вышел к калитке. Под направленные ему прямо в глаза фонариками двух энкавэдэшников назвался. Слава Богу! Произошла ошибка. Воронок затарахтел и умчался. За кем-то другим. Можно представить себе самочувствие Леонида Максимовича в остаток ночи.

Беспросветный страх, ожидание несчастья и, может быть, смерти висели в ту пору над многими. Человеку другого, более счастливого поколения трудно себе это представить. Не потому

ли в короткой зарисовке столько ошибок и несуразиц? Самая пустяковая из них — датировка. Эпизод не мог происходить в 1938 году, потому что Бруно Ясенский был арестован летом 1937 года, а в тридцать восьмом уже расстрелян. Главное другое. Надута и неправдоподобна вся ситуация. Федин никак не мог узнать о путанице объектов, будучи уже отконвоированным к черной машине и там произносить фальшивые нравоучения типа: «Плохо работаете, товарищи!» Потому что каждый арест и препровождение к черной машине (скажу это по собственному опыту — двум арестам отца) непременно сопровождался длительным обыском, а перед этим, кстати говоря, обязательным предъявлением ордера. Не приступив к процедуре, никто бы никакой ордер показывать третьему лицу не стал. Потому что это было бы должностным преступлением и разглашением государственной тайны. А головы на плечах у самих энкавэдэшников, не стоит забывать, тоже сидели непрочно.

В реальности эпизод, случившийся с Фединым, судя по всему, был сходен с тем, что некогда пережил Л.М. Леонов...

И вот теперь, на исходе войны, в конце 1944 года, перед мысленным взором Сталина снова возникла эта фигура — Федин... Вместе с Толстым, Эренбургом, Павленко, рядом посаженных на одну позорную скамью. Цель была, несомненно, неотложная и первостепенная. Анархия войны и хмель замаячившей Победы вскружили головы. Возникли иллюзии возможных перемен политического курса или даже самого режима, излишне благодарная оглядка на западных союзников, на европейские рыночные порядки и англо-саксонскую демократию. Некоторые рупоры Запада заговорили даже о «стихийной десталинизации». Вон куда хватили! И это при свете освещавших ночное небо победных салютов, в сражениях, не ими выигранных. Впереди, конечно, и у нас, как всегда, все та же интеллигенция. Подпруги надо было подтягивать, еще как надо! Но открытый судебный процесс над писателями? Но... В момент наибольшего сближения с западными союзниками? И почти в канун Победы в мировой войне? Не чересчур ли?..

По наработкам Берии в числе испытанных рычагов сгодилось бы «дело» об антисоветском шпионском писательском центре. Ввиду особой значимости крутые меры по «промывке» мозгов обдумывал лично Сталин. Но окончательное решение у вождя все никак не созревало. Он колебался, примеривался, выслушивал разные мнения. В том числе и стоявшего перед ним навытяжку писательского генсека Фадеева. Что думает он? Как поступить?

Оттого вся их беседа носила чрезвычайно странный характер...

Что же касается нашего героя, то подготовка к задуманному процессу в первоначальной прикидке обернулась для него обвинением в шпионаже. И тут уже в дело пошло всё. Вольнолюбивые и прямо антисоветские высказывания разных лет. Сотрудничество с внутренними «врагами народа» вроде Замятина и Пильняка, доносы и наветы О. Войтинской и В. Ставского... А также долголетние личные отношения Федина с художниками и публицистами Запада, прежде всего из стран немецкого языка, — со Стефаном Цвейгом, Леонгардом Франком и многими другими. Жизнь в Германии до революции, поездки на Запад конца 20-х — 30-х годов. Словом, все то, что делало его фигурой международной. В «сценарии» НКВД на будущем громком процессе ему отводилась роль германского шпиона.

Из-за круговертей политической конъюнктуры Сталин в конце концов акцию отклонил и судебный процесс не состоялся. Но накопленные идеологические яды как-то все-таки должны были сработать...

«Английского шпиона» Алексея Толстого от последствий избавила смерть (он тяжело болел и до Победы не дожил). Петр Павленко был все же слишком «своим человеком» и за вселенские панегирики Сталину (роман «Счастье», фильм «Падение Берлина» и др.) при усердным покровительстве Фадеева от расправы увильнул.

Однако другие фигуранты (И. Эренбург и К. Федин) определенной доли отмеренного наказания не избежали. Публичным избиениям и проработкам подверглись оба. И удар, доставшийся Федину, был такой силы, что надолго свалил его с ног.

Всю войну в числе прочего Федин писал мемуарную книгу «Горький среди нас». Он был одним из любимых учеников А.М. Горького, приезжал к нему в Италию, постоянно встречался. С этой книгой связывал особые надежды.

Мемуарное полотно получилось многофигурным, красочным. В конце 1943 и 1944 году Гослитиздат двумя пузатыми томиками, рассчитанными на массовое чтение, выпустил сначала первую, затем вторую часть книги. Можно было бы только радоваться. Если бы не загадочное обстоятельство. На последней странице второго выпуска отсутствовала обычная в таких случаях фамилия редактора. Подобающего значения Федин первоначально этому не придал. А напрасно. Такие вещи просто так не делаются. Это и была «черная метка» — знак предстоящей расправы.

Сокрушительный удар по автору книги «Горький среди нас» летом 1944 года совместно нанесли орган ЦК ВКП(б) «Правда» и газета отдела пропаганды ЦК ВКП(б) «Литература и искусство». «Ложная мораль и искаженная перспектива», «Вопреки истории» — так назывались зубодробительные статьи.

За ними последовала серия устных проработок. В качестве трибун срочно созывались писательские собрания. «Вредной» назвала на обсуждении книгу М.Шагинян, «клеветой» окрестил ее П. Павленко (тот самый — возможный сосед по скамье подсудимых). И дальше хор голосов, будто гул в горах, только множился и нарастал. Параллельно составлялись и шли наверх закрытые записки и донесения по линии органов госбезопасности, где все это дополнительно компоновалось, истолковывалось и заострялось.

Даже Леонид Леонов, прошлогодний Сталинский лауреат первой степени за пьесу «Нашествие», приятель Федина и компаньон по Чистополу (согласно изложению в Информационной записке для руководства ЦК ВКП(б) наркома Госбезопасности В.И. Меркулова от 31 октября 1944 года), на одном из писательских собраний говорил, что в погоне за личной популярностью и в угоду «правде факта» автор книги «Горький среди нас» пренебрег «правдой истории». (Ох уж эти «правда факта» и «правда истории»! Бесплотные фантомы советских времен! Боксерские перчатки для мордобоя!) И в результате, дескать, автор искаженно обрисовал образ великого писателя. В книге представлен *не тот Горький*.

«Книга Федина о Горьком, — перелагает наркома Госбезопасности В.И. Меркулова выступление Леонова, — плохая. Недопустимо опубликование писем и высказываний Горького без учета, что это в итоге исказит образ Алексея Максимовича, Горький не сразу стал тем писателем и учителем жизни, которого высоко чтит советская страна. И бестактно сейчас, в интересах личной писательской биографии, публиковать то, что было сказано Горьким совсем в другое время, на иной стадии нашей общественной и литературной жизни.

У меня тоже есть письма Горького, воспоминания о беседах с ним, но я не предаю и не предаю этот материал гласности в интересах сохранения в народе цельного образа великого писателя, пришедшего к полному единению со своим народом, с партией, с советским государством».

Хоровое эхо поношений со стороны виднейших писателей, а главное, две разгромных статьи в партийной печати ... Надо учесть военное время. Сила удара приближалась к тому, чем станут вскоре громopodobные постановления ЦК по вопросам литературы и искусства.

Серия таких постановлений последует два года спустя. В августе 1946 года в постановлении «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» будет избит идеологической дубиной, так, что никогда уже не сможет подняться, давний друг и напарник Федина по группе «Серапионовы братья» Михаил Зощенко. Его неповторимый сатирический талант будет сломлен. Вместе с Зощенко сходным глумлениям подвергнется гораздо более закаленная и устойчивая Анна Ахматова. Затем последуют постановления о театре, кино, музыке. Там будут другие имена, от Сергея Прокофьева до Павла Нилина.

Но одним из первых мучеников промывки мозгов в художественной среде стал Федин.

Упомянутая Информационная записка наркома Госбезопасности В.И. Меркулова, доверенного человека Берии, на имя главного идеолога партии секретаря ЦК А.А. Жданова от 31 октября 1944 года озаглавлена «О политических настроениях и высказываниях писателей». В Записке тщательно скомпонованы публичные высказывания хулителей Федина, его коллег, наперебой отмечавших вредоносность его мемуарного сочинения.

Однако же собрания собраниями. Но главная фактическая опора в Записке, как всегда, — агентурные сведения, подслушивания, подглядывания, доносы. Предыдущее Спецсообщение Управления контрразведки Наркомата Госбезопасности СССР, где Федин косвенно объявлялся немецким шпионом, относилось к июлю 1943 года. Записка наркома — к октябрю 1944 года. Ранг, да и острота идеологических и административных накруток, возрастали. Оба документа вместе взятые обряжали и готовили фигуранта к скамье подсудимых

Глава госбезопасности Меркулов составлял свою бумагу через три месяца после печатного разгрома книги «Горький среди нас». Автор представлен там как идеологический рецидивист-антисоветчик.

Среди прочего там сообщается: «Писатель К.А. Федин, в связи с появлением в свет и критикой его последней книги “Горький среди нас” говорил: “До меня дошел слух, будто книгу мою выпустили специально для того, чтобы раскритиковать ее на всех перекрестках (безусловно, так оно и было. — Ю.О.). Потому что на ней нет имени редактора — случай в нашей литературной действительности беспрецедентный”. <...> По поводу статьи в “Правде”, критиковавшей его книгу, Федин заявляет: <...> “Смешны и оголено ложны все разговоры о реализме в нашей литературе. Может ли быть разговор о реализме, когда писатель принуждается изображать желаемое, а не сущее? <...> Печальная судьба реализма при всех видах диктатуры одинакова. <...> Это требование фальсификации истории. <...> Горький — человек великих шатаний, истинно русский, истинно славянский писатель со всеми безднами, присущими русскому таланту, — уже прилизан, приглажен, фальсифицирован, вытянут в прямую марксистскую ниточку. <...> Хотят, чтобы и Федин занялся тем же!”»

Автор мемуаров склонен, согласно доносящей бумаге, стать озлобленным внутренним эмигрантом. «Свое отношение к современным задачам советской литературы, — докладывает шеф госбезопасности, — Федин выражает следующим образом: “Сижу в Переделкино и с увлечением пишу роман, который никогда не увидит света, если нынешняя литературная политика будет продолжаться. В этом писании без надежды есть какой-то сладостный мазохизм. Пусть я становлюсь одиозной фигурой в литературе,

но я есть русский писатель и таковым останусь до гроба — верный традициям писательской совести... Не нужно заблуждаться, современные писатели превращаются в патефоны. Пластинки, изготовленные на потребу дня, крутятся на этих патефонах, и все они хрипят совершенно одинаково.

Леонов думает, что он какой-то особый патефон. Он заблуждается. “Взятие Великошумска” звучит совершенно так же, как “Непокоренные” (Б.Л. Горбатова) или “Радуга” (В.Л. Василевской). На музыкальное ухо это нестерпимо.

Пусть передо мной закроют двери в литературу, но патефоном быть я не хочу и не буду им. Очень трудно мне жить. Трудно. Одиноко и безнадежно».

Автора (по наводке секретных служб!), если в конце концов и не посадили за решётку, то напоказ отучали вольнодумствовать.

Часть вторая

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРЕЩЕНИЯ

Как известно, с течением и сменой эпох иные исторические фигуры могут прожить не одну, а даже несколько жизней, возвышаясь или нищая, богатея или скудея, достигая величия или впадая в ничтожество. Былые лилипуты превращаются в великанов, а великаны вырождаются в карликов и даже сторожевых мосек. Метаморфозы столь фантастичны, что, если бы герой загодя мог взглянуть в зеркало будущего, он не узнал бы сам себя.

Помимо уровня творчества, памяти о художнике способствуют благодарные современники. Это предполагает со стороны мастера дар перевоплощения в чужую психику, биографию, в чужую судьбу.

Федин обладал особым сердобольным, педагогическим талантом в литературе. Его тянуло быть не только строителем культуры, но и устройтелем судеб.

Многие младшие коллеги и лишь начинающие путь литераторы на разных витках профессиональной дороги получали поддержку этого мастера.

Старинный особняк «Дом Герцена» на Тверском бульваре, Литинститут, где с лихого военного 1942 года преподавал Федин, для многих навсегда остался незабываемой порой. Оттуда вышла плеяда талантливейшей молодежи — будущие прозаики, поэты, критики. Н. Евдокимов, В. Тендряков, Ю. Бондарев, Р. Гамзатов, Г. Бакланов, И. Дик, Е. Ржевская. Н. Ильина, Г. Поженян, М. Бременер, А. Злобин, Е. Мальцев, К. Ваншенкин, А. Турков...

Студентка первого послевоенного выпуска А. Перфильева вспоминает, что семинары Фебина по прозе были «...праздниками. Мы ждали их с волнением, со страхом, особенно “именинники”... Толпясь в коридоре, высматривали в окна, когда покажется из ворот фигура Фебина, всегда подтянутого, эlegantного... — сами были в шинелях, в сапогах, в чем попало... Константин Александрович бывал не только добр... Иногда почти жесток...» По шуточной поговорке, пущенной Максом Бременером, — у Фебина учились «прозрачности Флобера».

Благотворное влияние мастера испытали на себе не только необстрелянные литературные птенцы вроде питомцев Литературного института и им подобных.

Константину Симонову принадлежит большой очерк как раз на тему о «литературном крещении». По размерам очерк «Уроки Фебина» не смог вместиться в мемуарный сборник о писателе. Он пестрит множеством творческих и даже технических деталей, относящихся к культуре писательского труда, к изобразительным приемам и мастерству работы в прозе, и составляет теперь одну из колоритных достопримечательностей 12-го тома Собрания сочинений К. Симонова.

В 1951—1952 годах Симонов передал в редакцию «Нового мира» свой роман «Товарищи по оружию». Журнал в то время редактировал А. Твардовский. Этой книге автор придавал особое значение, рассматривая ее как пролог и вместе с тем трамплин к задуманной эпопее о Второй мировой войне, получившей позже название «Живые и мертвые».

Федин в тот момент был поглощен собственным литературным замыслом, застольной работой над листками бумаги, до которой наконец дорвался. Но по просьбе Твардовского и отчасти самого Симонова, как член редколлегии, согласился с двойной скру-

пулезностью углубиться в присланный ему прозаический текст, вызвавший разноречивые отзывы в редакции и составлявший в ту пору тридцать два авторских листа.

37-летний Симонов был к той поре многократный лауреат, знаменитый поэт, «кассовый» драматург. Но отнюдь и далеко не первой руки прозаик.

Мешали тому поверхностная политизированность взглядов, от которой К. Симонов долгие годы мучительно освобождался, но так до конца ее и не преодолел; набитая репортерская рука, журналистская скоропись, газетная торопливость. Между тем прозаик — это ведь по-своему также и склад творческой натуры, тип личности.

Федин разбирает присланную ему рукопись как с точки зрения оригинальности изображенных фигур, психологии героев, так и способов стилистического воплощения. Притом критические его замечания часто разят беспощадно.

Многие места тогдашний получатель горьких «уроков» цитирует:

«...Бросается в глаза, как много употреблено лишних слов... Обычно это мало что выражающие газетные речения... “в сущности”, “тем более”, “по меньшей мере”, “больше того”, “как ни странно”, “разумеется”...».

Или: «“Предельно кратко выраженная сумма взглядов...” — о чем здесь речь? “А пальто стоило целое состояние” — это не дает нужного представления о драгоценности пальто в лагере испанских беженцев, у которых не было ни целого, ни полцелого состояния. У Вас есть обороты, идущие от ораторских приемов. <...> Есть, наконец, своеобразные фигуры кокетства — не могу их иначе назвать: “...умер и его нельзя возвратить к жизни как раз потому что он умер”. Такая фигура не только алогична, она не остроумна и плоха по вкусу. Напишите ли Вы: “он сел, и про него нельзя сказать, что он стоял, как раз потому, что он сел”»?

Напомню: так, не церемонясь, разговаривает беспартийный Федин с молодым держателем власти в сфере культуры, одним из любимцев Сталина, тогдашним шестикратным лауреатом Сталинских премий, заместителем генерального секретаря Союза

писателей СССР.. Наверное, не все бы на такое решились. Но Федин верил внутренней честности этого человека и обращался к нему как учитель к ученику.

Но если эти и им подобные огрехи стиля «Товарищей по оружию», вызванные изъятиями вкуса, притуплением зрения, дурной газетчиной или балованной литературщиной, на которые сурово указывает рецензент, могут быть так или иначе устранены иногда почти механической переделкой — прополкой романного поля от сорняков, то сложней обстоит дело со смысловой устремленностью романа, с жизненным наполнением иных действующих фигур и обобщающих картин. То и другое нередко витает в стороне от реальной жизни. Оно ведь так. Отдельное слово неотъемлемо от целостного образа. Тут нужно уже не просто удалять, а заново пахать и сеять.

«Призвав меня не спешить, — вспоминает Симонов, — Федин сделал несколько общих замечаний о характерах некоторых действующих лиц романа, начав с главного его героя — Артемьева.

“...Он подчеркнуто положителен — в литературно-критическом, а не только в идейном и житейском отношениях... Душа его помещена в сосуд, в колбу, которую выдула наша положительная критика. На фронте в бою он очеловечивается... Отрицательных характеров я пока не вижу, если не считать Нади. Таким образом, эта часть романа бесконфликтна... Врага Вы не даете. Предполагается, что враг — это данность. Где-то за пределами раскрытого Вами действия тройственная ось, Берлин — Рим — Токио... вообще международный злодей”».

Свои соображения по рукописи Федин изложил в двух больших письмах, в одном из которых было тринадцать страниц... «За его письмом, — обобщает мемуарист, — стоял большой писательский труд, потраченный им всецело на меня, на то, чтобы помочь мне стать писателем. Я при всей своей литературной незрелости был все-таки достаточно опытен, чтобы понять... что прочесть мою рукопись так, как дважды прочел ее Федин, и написать о ней так, как он написал, значит истратить на литературное воспитание, в общем-то, начинающего прозаика К. Симонова не часы и даже не дни, а, очевидно, две или три недели, оторванные от собственной работы, от собственной фединской прозы».

Наряду с суровостью оценок Федин не упускает из виду путеводный маяк, к которому устремлен автор. Солидаризируется с его целями и подталкивает его в избранном направлении. «Мне хочется, — декларирует Федин, — чтобы большой Ваш замысел, очень важный для нашего времени, очень удачно выбранный, претворился бы в большое достижение... Вы можете сделать так, что роман займет очень видное место в текущей литературе, но можете сделать так, что он войдет в историю литературы. Вот чего я Вам и желаю».

Из учиненного ему творческого раздора Симонов извлек предметные уроки. Итог подведен в следующих словах: «Роман этот, впоследствии сжатый мною с тридцати двух до девятнадцати печатных листов все-таки и сейчас оставляет желать лучшего. А в ту пору, когда я в первоначальном виде принес его в “Новый мир”, был вещью растянутой, рыхлой, а местами просто-напросто немело написанной».

Отбросы ненужных излишеств и литературной трухи составили почти половину первоначального текста — 13 авт. листов!.. Вот отчего Симонов навсегда считал Федина своим учителем в прозе. Свои дневники военных лет, едва те одолели долгое и яростное объединенное сопротивление Главпура и цензуры, он послал умирающему писателю. И последнее письмо, написанное рукой Федина, адресовано Симонову. В этом письме умирающий учитель впервые назвал своего ученика на «ты».

...Федин умел не только едко карать, но и пророчески радоваться.

Осенью 1967 года, прочитав в верстке журнала «Новый мир» № 9 рассказы Василия Шукшина, член редколлегии Федин отправил ему свой письменный отзыв. Ответная реакция прямо-таки искрилась переливами чувств.

«Дорогой Константин Александрович! — почти тотчас же отозвался Шукшин. — Знаю, Вы за свою славную, наверно, не всегда легкую жизнь одобрили не одного, не двух. Но вот это Ваше бесконечно доброе — через Москву — прикосновение к чужой судьбе будет самым живительным. (Приму на себя смелость и ОБЯЗАТЕЛЬСТВО — обещать.)»

Далее Шукшин сообщал: «Получив Ваше письмо, глянул, по обыкновению, на обратный адрес и... вздрогнул: “от Фебина”... Там лежал какой-то мне приговор. Вскрыл, стал читать... Прочитал первые строки, стало больно и стыдно, что рассказы мои не заслуживают столь высокой оценки мастера. Захотелось скорей прочитать письмо и потом помучиться, помычтать и сесть и писать совсем иначе — хорошо и крепко. А потом перечитывал письмо, немножко болело, но крепло то же желание: писать лучше. “Бог с ним, думаю, переживу я это письмо, но отныне никогда не сойду, ни одно слово не выскочит так”».

Спасибо Вам, Константин Александрович!

У Вас добрая, теплая, наработавшаяся рука.

Дай Вам Бог здоровья!.. 30 сент. 67 г. *Вас. Шукшин*».

Педагогическая жилка, стремление вмешаться и помочь было свойством натуры. В 60-е годы, в пик вроде бы его чиновного начальствования в качестве первого секретаря Союза писателей, оценки Фебина решающим образом отразились на биографиях или судьбах книг таких самобытных литературоведов и прозаиков, как Мих. Бахтин, М. Щеглов, А. Лебеденко, Г. Коновалов...

Показательна история с изданием сборника нашего покойного университетского товарища Марка Щеглова. Книга гениального по задаткам критика безнадежно застряла в недрах издательства «Советский писатель» из-за двух «непроходимых статей» — о романе «Русский лес» Л. Леонова и о пьесах А. Корнейчука. Бушевали обиженные «герои» — лауреаты и советские классики, поддержанные некоторыми аппаратчиками из отдела культуры ЦК.

Сборник обстоятельной внутренней рецензией в виде письма в Секретариат СП СССР вывел из тупика Фебин, решительно выступив в поддержку суждений критика. «Очень важны для литературной жизни, — писал он там, — критические работы о произведениях зрелых художников слова. Не в том дело, чтобы опытный мастер “осознал” допущенные ошибки (иной мастер сознает свои недостатки, слабости едва ли не глубже даровитого критика), но в том, чтобы вся литература могла учиться на убедительном разборе трудов мастера. Критика произведений, взятых из повседневного потока книг, пьес, фильмов, никогда не сравнится своею ценностью для литературы с серьезным рас-

смотрением незаурядных известных явлений прозы и драматургии». В результате обе важнейшие статьи в книге остались и были опубликованы.

Числом учеников тоже ведь измеряется значимость таланта в литературе. Недаром столько благодарных слов сказано о Федине его бывшими питомцами по Литературному институту.

Я не состоял в творческом семинаре Федина и не учился в Литературном институте. Но жизнь, наверное, как некая коллекция, интересней всего неповторимостью случаев. В июне 1953 года, когда я кончал филологический факультет Московского университета, мой отец мотал второй срок в таежной ссылке вблизи Таймыра. И несмотря на «красный диплом», госкомиссия по заведенным порядкам намеревалась услатить сына «врага народа» к Макару, телят не гоняющему. Школьным учителем на Чукотку. Я же мечтал о журналистике. Спасли перемены после смерти Сталина и ареста Берии. В конце концов меня направили в город Йошкар-Ола для использования в местной печати. Там, в Марийской республике, протрудился четыре года, занимаясь наряду с культурой проблемами лесозаготовок и вывозки навоза на поля.

Однако и при таком местонахождении, «далеко от Москвы», литературным репетитором Константин Александрович оказался и для меня. В томе писем его 12-томного Собрания сочинений (М., 1982—1986) помещено несколько писем Федина ко мне и его отзывов о моих книгах. Копии во много раз большего числа других я передал Н.К. Фединой, его дочери.

Корреспондента из Йошкар-Олы позже взяла собкором по Волге редакция «Литературной газеты». Первые взаимные обмены почтой с Фединым — осени 1957-го и весны 1959 года — не выходят за рамки деловой переписки писателя с журналистом. Они «привязаны» к общественно-культурным событиям той поры в Куйбышеве (Самаре) и Саратове, откуда печатались собкоровские материалы. В культурной жизни родных волжских мест Федин принимал активное участие.

Помню первые впечатления.

В конце ноября 1957 года в Куйбышеве проходила конференция литературоведов Поволжья, посвященная приближающемуся

90-летию со дня рождения А.М. Горького. Среди многочисленных приглашений, разосланных организаторами, было и адресованное Федину. Такие Горьковские чтения, причем иногда с более солидными научными силами, проводились в те месяцы по всей стране. И, честно говоря, мало кто верил, что Федин сможет принять приглашение. Но Федин приехал.

Вместе с другими гостями он появился в президиуме конференции, в глубине сцены, уставленной несколькими рядами стульев. Рослый, седой, с откиннутыми назад волосами, с крупным высоким лбом, тонким подбородком и большими светло-синими глазами. Во всем его облике, в том, как ладно облегал серый костюм его поджарую, при легкой сутулости, фигуру, было что-то изящное, молодцеватое и, снова хочется сказать, — артистичное. Федину было тогда 65 лет.

В этот вечер состоялось открытие. С воспоминаниями об А.М. Горьком выступила вдова Екатерина Павловна Пешкова. Федин, когда дошел его черед, попросил разрешения прочитать отрывки из книги «Горький среди нас». Книга эта в огромной мемуаристике остается лучшим, что написано о Горьком.

Существует литературная поговорка, что никто не может прочитать вещь хуже, чем сам автор. У К.А. был звучный, чуть роко-чуший баритон, и многое в Федине говорило мне такое, казалось бы, второстепенное для писателя умение — читать, или, вернее, публично произносить свои произведения.

Он читал густым, хорошо поставленным голосом, негромко, раздумчиво. Это было не просто чтение, это была жизнь в минувшем, повторные встречи и разговоры со своим литературным учителем, в которых лишь легкие нотки декламации напоминали о сидящих в зале. И то, что рядом сидела Екатерина Павловна Пешкова, свидетель и участник событий, с обручальным кольцом на руке, о которых словно бы рассказывал другой их участник, придавало особую проникновенность обрисованным событиям. На глазах слушателей история как бы переплеталась с сегодняшним днем.

В те самые месяцы у Федина вышла новая книга. В 1957 году он впервые собрал под одной обложкой свои статьи о литературе и искусстве, часто рассеянные по малодоступным и забытым из-

даниям, добавил и то, что прежде не публиковалось. Получился объемистый том под названием «Писатель. Искусство. Время». В областном клубе журналистов был организован выездной киоск. Среди других литературных новинок, разложенных на стеклянном лотке, продавался и только что вышедший однотомник. После окончания официальной части Федин ставил на нем автографы.

Книга оказалась событием. Большую статью о ней с подробным разбором опубликовал крупный филолог, академик В. В. Виноградов.

...Конец сентября 1959 года. Вдоль саратовских улиц уныло выстроились тополя и липы, холодный осенний сквознячок щупает дряблую пожелтевшую крону и осыпает на мокрый асфальт листья. С беспросветно серого неба в который раз принимается надоедливо и тоскливо моросить. Но на улицах в эти дни былолюдно, возбуждение праздника чувствовалось даже в троллейбусах и трамваях. Саратов, город интеллигенции, город студентов, справлял 50-летие своего университета.

Центром празднества стала научная конференция библиотечных работников более чем 30 городов. Участие в ней принял Федин.

Почтительное отношение к библиотекарю, к труженику, который всего себя отдает книге, — давняя традиция русских писателей. Словами, адресованными «*Библиотекарю, уходящему на пенсию*», Федин вместо послесловия закончил сборник «Писатель. Искусство. Время».

...О двух событиях в жизни Поволжья — горьковской конференции 1957 года и саратовской университетской 1959 года — я написал репортаж для местного альманаха, перепечатанный затем в журнале «Москва». Сохранились небольшие деловые письма Федина, связанные с предварительным «визированием» рукописи и последующей пересылкой альманахов и журнала.

Возвращая из Москвы по почте рукопись репортажа, к которому были приложены также сделанные мной фотографии, Федин писал 27 апреля 1960 года:

«...Прежде всего благодарю Вас за фотографии. Особенно за куйбышевскую — с Ек. Павл. Пешковой — хорошо напомнившую не столь давнюю “самарскую” встречу.

Ваш репортаж я, разумеется, визирую (чему свидетельством послужат эти строки). На полях рукописи я внес в общем небольшие поправки из соображений точности слова и устранил одну фактическую ошибку (стр.15)... Как депутат имею дело, главным образом, с московским населением. Как литератор... да Вы говорите достаточно об этом! Званий и названий ношу куда как много...»

Когда осенью того же года альманах «Волга» с репортажем был отправлен Федину, ответом явилось письмо от 13 октября 1960 года:

«Уважаемый Юрий Михайлович (не ошибаюсь ли в отчестве? Извините, если — да), благодарю Вас за альманах с Вашей статьей, — получил его на днях...

Очень прошу Вас выслать мне бандеролью два экземпляра «Волги» с Вашей статьей: гостивший у меня и только что уехавший Вольф Дювель (немецкий литературовед, участник саратовской конференции 1959 года. — Ю. О.) просил экземпляр, и я хочу послать книжку «Волги» в Ленинград одному старому библиографу. Вышлите бандероль наложенным платежом, а то я Вас разорю, право! Заранее благодарю за эту любезность! И еще: передайте или перешлите прилагаемое поздравление мое к 60-летию Машбиц-Верова (видному литературоведу из Куйбышева, о котором в том же № 22 альманаха «Волга» была напечатана юбилейная статья. — Ю. О.) — нет адреса его!

Будьте здоровы. С приветом *К. Федин*».

Этим и исчерпывались тогда все отношения. Встречи происходили, но даже отчества корреспондента писатель как следует не помнит.

Минуло почти три года.

Тут сам расклад событий возвращает к широкой теме — как Федин относился к поколению молодых литераторов. В 1961 году в Куйбышевском книжном издательстве у меня вышел первый сборник очерков «Серебристые облака». Ему предшествовала очерковая брошюра, выпущенная тем же издательством. Кроме того, я печатал критические и литературоведческие статьи и

фельетоны. И так, на рубеже 1962 года я стал обладателем двух книжечек, и, как это бывает, передо мной замаячили вопросы: кто я? нужны ли людям мои писания? браться ли за новую книгу или срочным порядком активизироваться в газете, где, кстати говоря, непосредственное начальство начинало уже косо поглядывать на мои «посторонние занятия»?

Не претендуя на открытие Америк, скажу, что творческая уверенность в себе — не совсем обычное свойство художественного сознания. У нее иная природа, чем у эмоций житейских, таких, скажем, как самолюбие, скромность или, напротив, расторопность, умение действовать локтями у издательских лотков и гонорарных касс и т.п. Если воспользоваться градациями психологической науки, такую уверенность, вне сомнений, следовало бы отнести к разряду высших мировоззренческих чувств, управляющих процессами литературного творчества. И это понятно. Ведь самое драгоценное в каждом пишущем — это его индивидуальность, то, что он несет в себе особого, пусть маленькое, но свое, отличающее этого автора в море разлитом печатной продукции.

Сложной гаммой подобных переживаний и была вызвана некая затея, предпринятая молодым литератором из Куйбышева в самом начале 60-х годов. Ей-то и суждено было определить многие последующие отношения...

Для окончательного выбора пути наивный, однако же самонадеянный провинциал устроил себе жесткое испытание — решил послать только что вышедший сборник семи, если не десяти, крупным писателям, которые казались ему наиболее отзывчивыми к чужим начинаниям и мнению которых он доверял. Дальнейший план был прост: я получаю подробные отзывы — и способом голосования решается моя судьба, произносится приговор, какой обжалованию не подлежит.

Бог знает, как все это роится и укладывается в пылкой молодой голове! Но литераторы — большие эгоцентристы, и мне представлялось тогда, что весь мир только и озабочен тем, какой жизненный путь соизволит избрать для себя некий журналист из Куйбышева. Однако проходили месяцы, а не было не только развернутых отзывов — никаких ответов. Нуль, дырка от бублика!

Заговор всеобщего равнодушия был нарушен только раз. Один видный очеркист и Сталинский лауреат, впрочем, с некоторых пор переставший носить на лацкане твидового пиджака золотую медальку с барельефом вождя, прислал короткое письмецо. Он благодарил за книгу и обещал ее непременно прочесть. Но писатель этот состоял в членах редколлегии нашей газеты, а прочел ли он мои очерки, я так никогда и не узнал.

Когда затея могла считаться уже полностью провалившейся, однажды утром я обнаружил вдруг в почтовом ящике тугой конверт с фамилией писателя, ждать ответа от которого с самого начала было, пожалуй, наибольшей дерзостью. Ниже я приведу это письмо Федина. Но прежде — несколько слов о фактуре очерков.

Сборник открывался документальной повестью «Анна Сергеевна», где была сделана попытка обрисовать директора Куйбышевского завода синтетического спирта А.С. Федотову. Анна Сергеевна была личностью крупной и яркой. Донская казачка, одна из первых «женделегаток», член партии с 1919 года, она избрала профессию химика. Была директором нескольких московских химических заводов и научно-исследовательских институтов, занимала ответственные посты в союзных министерствах резиновой и химической промышленности. И в 1950 году, уже пятидесятилетней женщиной, поломав вдруг привычный уклад, оставив в Москве внуков, дочь, друзей, с чемоданчиком уехала в заволжскую степь — строить на голом месте один из первенцев возникавшей тогда промышленности синтетических спиртов.

Выстроенный завод вместе с нефтеперерабатывающим комбинатом стал основой нынешнего города Новокуйбышевска. В конце 50-х годов это был уже современный город, где все, кажется, светилось новизной и молодостью. И стекла зданий, и лица людей. Воистину это был город новоселов и молодоженов. А во главе, почитай, половины города стояла седовласая женщина-директор — Анна Сергеевна Федотова.

Полковник Памурзин, один из героев книжки, — также фигура необычная. После проводившейся массовой хрущевской демобилизации из армии, когда сокращено было до миллиона военнослужащих, он в возрасте 44 лет работал на Куйбышевском

заводе синтетического спирта сероразливщиком, хотя ему предлагали административные посты.

Кроме этой документальной повести, в сборник входили короткие сюжетные очерки. Об одном из них — «Соперники» — также упоминается в письме.

В целом, как вижу теперь, мне хотелось передать в книге дух личной самоотверженности, подвижничества и романтического энтузиазма, которые в конечном счете способны преодолеть (так я считал) любые препятствия и трудности жизни. В такой вере было немало наивного, но сами по себе настроения отвечали обстановке подъема и эмоционального всплеска тех лет.

Не думаю, чтобы я особенно подвинулся в том, но во всяком случае немало бился, чтобы преодолеть распространенные жанровые шаблоны, в частности «иконописность» портретного очерка о передовых современниках, повысить его воздействие на читателя. И эти свои похвальные намерения, разумеется не ручаясь за уровень исполнения, я декларировал в письменном обращении к Константину Александровичу Федину.

Когда я вскрыл тугой конверт, вот что оказалось в ответном письме, датированном 21 февраля 1962 года:

«...Сначала хочу написать... несколько слов, — отзывался К.А. Федин, — насчет книги и по поводу поставленного Вами вопроса о своем “пути”».

“Мне 32 года, уже не могу позволить себе тратить время и силы на малополезное писание”, — говорите Вы. Но почему Вы думаете, что писание Ваше малополезно? Оно, безусловно, полезно, прежде всего для Вас самого, как литератора, потому что должно помочь Вам у с т а н о в и т ь — куда идти дальше, где Вы крепче, увереннее себя чувствуете, в чем получает наибольшее удовлетворение Ваше призвание, где та область, в которой Вам больше всего хочется б ы т ь. Это, разумеется, не всегда может совпасть с “шансом” на успех (если и об этой стороне работы задумываетесь Вы, ставя вопрос о «полезности» своего труда). Но тут Вам добрым указчиком может стать... полковник Памурзин. Его положение было затруднительнее, а лет ему было 44, а не 32.

Надо р е ш и т ь с я, надо пробовать себя в т о й в ы у ч к е, на которую решитесь.

Дальше. Откуда видно, что писание Ваше малополезно для читателя? Книга говорит о другом. Мне думается, история Федотовой должна привлечь к себе читателя, поучить его многому. Да и кратко очерченная эпопея Новокуйбышевска не может не принести пользы. Кто не призадумается и не воспрянет от вялости, прочитав и увидев примеры “романтики”, которые Вы удачно привели в очерковой биографии завода и его людей? Восклициание Ваше — “Да, я люблю Новокуйбышевск...” не показалось мне репортерской фразой, — повесть говорит, что автор вложил в свои слова настоящее чувство.

Если остановиться на замечании Вашем, что “портретные очерки читаются и покупаются очень плохо...”, то позволительно спросить: а что Вас больше огорчает — читательский или покупательский интерес? От Вас будет зависеть — прочтут Вас или нет. А ежели прочитают, то и купят. Смуула, напр[имер], покупали до того, как он получил премию¹. То есть и премию-то он получил после того, как его стали читать и покупать.

Да, конечно, подавляющая масса очерков у нас “иконописна”. Но попробуйте, — не пишите, не малюйте икон, и тогда можете бесстрашно прикинуть — каковы будут шансы на преуспевание в жанре очерка. Вы ведь помните непреходящую мудрость: “все жанры хороши, кроме...” Так вот, от автора зависит, чтобы не было этого “кромее...”.

Ваш “книжный” очерк “Анна Сергеевна” был бы с о в с е м хорош, если бы в работе над ним Вы позабыли бы начисто, что Вы не только “книжный”, но еще и “газетный” очеркист. Вернее, даже работая очеркистом газетным, Вы обязаны ставить себе задачу той самой категории качества, которая кажется Вам принадлежащей лишь книге. Пишите, требуя от себя х у д о ж е с т в е н н о с т и, независимо от того, пойдет ли очерк в газете или заверстается и сброшюруется в книгу. “Соперники” построены новеллически, и это говорит о Вас как об умелом очеркисте. Дело,

¹ Имеется в виду «Ледовая книга» эстонского писателя Ю. Смуула, его дневник о зимовке в Антарктиде, получивший Ленинскую премию по литературе в 1961 году.

стало быть, за настойчивостью труда, за требовательностью к себе, а д а н н ы е литератора — налицо. Их следует развивать, повышая и повышая свою задачу...

Так как Вы — литератор “многожанровый”, но еще не остановившийся на одном каком-нибудь идоле, которому бы решились принадлежать безраздельно, то, вероятно, Вам полезно провести резкую черту между двумя к[акими]-н[ибудь] основными направлениями своих усилий. Возможно, эта черта пройдет между прозой и литературоведением. Но силы хорошо бы разделить так, чтобы одно направление осуществлялось повседневно, другое было орудием дальнего прицела. В прозе следует трудиться всегда и начинать с углубления уже знакомого очеркового жанра, поднимая его в художественном отношении. А в литературоведении надо теперь же ставить себе капитальную задачу, возможно, на несколько лет вперед, решая ее исподволь.

Вам это посылно, возраст Ваш толкает и зовет к решимости — хороший, цветущий возраст! Может, совет мой и не пригодится Вам. Но надеюсь, он поможет разделаться навсегда с мыслью, что время и силы тратятся Вами “малополезно”. Труд всегда принесет “пользу”, не говоря о хлебе насущном, только и произрастающем на земле, политой потом.

Ну, вот как расписался я, — и одно это говорит, что книгу свою Вы послали человеку, заинтересовавшемуся ее автором, и что она действительно пробуждает в читателе интерес. Желаю Вам успеха и здоровья. Я же прихварываю все чаще, все чувствительнее. И надо бы свертывать паруса, ложиться в дрейф и в дрейфе заниматься письменностью, одною письменностью. Да не получается. Дуют ветры, натягивают паруса, и кораблик, посвистывая, скрипя, несет меня морями неизведанными, бурными. И берегов не видно. Где-то торчит, однако, риф, на который я налечу и погружусь в воды, покрывающие собою всех и каждого.

Так-то.

Всего хорошего Вам! *Конст. Федин*».

Сколько раз я перечитывал впоследствии письмо, написанное синими чернилами от авторучки. И не однажды дивился дотошности анализа и точности попаданий в пределах этого в общем

достаточно сырого текста начинающего литератора. Разбор был тщательным, как рецензия, а в качестве выводов заключал советы о дальнейшем «пути», чуть ли не программу действий, расписанную на годы вперед.

Этим письмом Федин и меня как бы заочно принял в свой неофициальный семинар. Так состоялись еще одни литературные крестины.

Хотелось бы не упустить из виду существенную деталь. Письмо датировано 21 февраля 1962 года. Оставалось всего три дня до юбилея, когда Федину исполнялось 70 лет.

Не думать об этом возрастном рубеже Константин Александрович, к тому же прихварывавший тогда, не мог. Этим и объясняются некоторые минорные нотки, прорывавшиеся в конце письма. Это было его самочувствие, настроение, состояние, его «фаза»... Вокруг «писательского министра» было в те дни можно представить, сколько предъюбилейных суеты и хлопот. Но Федин встречал возрастной перевал, как и привык всю жизнь, — трудом, кропотливым и точным исполнением накопившихся дел и обязанностей. Возможно, что к дате он решил рассчитаться с «долгами», ответить на скопившиеся во время болезни завалы корреспонденции, писем, книг и т.д. И так некий журналист из Куйбышева получил подробный ответ на запрос о своем «пути».

Литературоведческой очерково-документальной работой, которая вышла у меня три года спустя, в 1965 году, была книга об Алексее Толстом — «Шумное захолустье». Основой ее послужила счастливая находка — обширный архив А.Н. Толстого, его матери, народнической писательницы Александры Бостром, обнаруженный на Волге, а также документы и материалы, которые пошли собираться затем по цепочке событий.

К тому времени уже сложилось убеждение, что задача моя не столько провести «резкую черту между двумя направлениями своих усилий» (как советовал Федин), сколько, наоборот, постараться слить их воедино, вместе, — литературоведение и очерк, исследование и живописание, поиск и повествование. Примером для меня становились не только книги таких активно работавших мастеров-ветеранов, как К. Чуковский, В. Шкловский, И. Андрон-

ников, Л. Гроссман, но интересы шли много дальше — Плутарх или Стефан Цвейг с его замечательной книгой о Бальзаке. Словом, я выходил на стезю автора литературных биографий. И это определяло многое.

Свежую, после долгих типографских проволочек вышедшую книгу я послал Федину со сложным чувством. Помимо авторской радости и трепета перед будущей оценкой, сознаюсь, мелькала и некая опаска. Ведь я не шел по двум тропкам, какие мне прочертили, а избрал собственную — одну. Как воспримет Федин мой выбор? Одобрит ли? Не отомлится ли вежливо? А то еще, может, и раздосадуется про себя: «К чему советоваться, если все равно поступаешь по-своему?!»

Но я ошибся — моему «ослушанию» К.А. не только не рассердился, а обрадовался. Это было теплое письмо старшего наставника, который умел переключаться в чужое состояние и радоваться, может быть, весьма скромным достижениям своего подопечного.

Вот что было в ответном письме от 31 января 1966 года:

«...Спасибо за “Шумное захолустье” в отдельном издании, хоть — “наконец” — но все-таки увидевшем свет.

Рад за Вас и с этим чувством прочитал Ваше письмо, прямо-таки сияющее счастьем. Так оно и должно быть: в литературной жизни, коли уж повезет, — кажется, засверкало все мирозданье, а не повезет, так со страху небо чудится с овчинку.

Мне книга Ваша нравится тем, что она помогает уразуметь, как быт помогает складываться “герою”. В широком смысле литературоведение должно начинаться с истории литераторской жизни. Правда, быт толстовской истории, его — Алексея Н. Толстого детство-отрочество — особенно благодарный предмет для описания. Но успех Ваш сам собой не дался в руки. Вы поработали серьезно. И мне кажется, книга получилась у Вас совсем незаурядной, а — с о е й.

Я хотел бы послать ее на отзыв в новый наш журнал “Волга”...»

Последнее было, разумеется, его собственной инициативой.

Книгу в редакцию «Волги» он послал и сопровождал даже подробным письмом, о чем я узнал года через два, из печати (статья

Е. Авксентьевской, «Знамя», 1967, № 9). Там среди прочего приводится письмо Федина:

«Не могу вспомнить, послал ли я уже Вам книгу Юрия Оклянского “Шумное захолустье” (монография об Алексее Н. Толстом), — пишет Федин летом 1966 года в редакцию журнала “Волга” и тут же характеризует работу молодого критика: — Очень своеобразный очерк-исследование о жизни и о начальном периоде литературной работы писателя. Вещь, заслуживающая внимания, а ее автор — серьезного поощрения. Книга вышла в Куйбышеве — это первое, а второе — Толстой — самарец, и, стало быть, “Волга” не может пройти мимо, сделав вид, что не расслышала шумов былого захолустья».

Все это было обычным делом. Дальше были еще другие письма и встречи. Но чтобы за мельтешением фактов, относящихся к собственной биографии, не утратить масштаба событий, напомним другую историю.

ФЕДИН И ТРИФОНОВ

Учеников у Федина было много. Самых разных калибров, профилей, сил и возможностей. Но среди них был один, который, безусловно, составлял высшую скрытую его гордость. В нем воплотилось то, к чему с юных лет шел он сам, к чему тянулся и выше всего ценил. Спокойная сосредоточенность духа, та степень бесстрашия, сила воли, преодоления собственных внутренних слабостей, срывов и ущербностей на крутых жизненных поворотах, с чем у него самого с годами и десятилетиями общественной ломки в конце концов так не задалось и не сложилось. А у этого спокойного и талантливого, физически сильного, а также и духовно, но вроде бы тихого и спокойного человека, в толстых очках, сына донского казака и еврейки, все только начиналось, все было впереди. И не возникало сомнений, что такой выдюжит.

Этим учеником был Юрий Трифонов. В Трифонова он верил, постоянно не упускал его из виду. Считал его одним из лучших,

может быть, собственных своих произведений. И надо сказать, что при всех нередких расхождениях ученик отвечал ему взаимностью.

От отца, с которым Юрий Валентинович из-за ареста того и ранней гибели прожил лишь первых около двенадцати лет, он унаследовал и перенял многое. Плотную, коренастую фигуру, казачье здоровье, ровный сдержанный нрав, ощущение скромного человеческого достоинства своей личности, раздумчивость, неговорливость, внешне, казалось, чуть мрачноватый вид. Возможно, даже ту сумеречность лица, всегда готового осветиться движением чувства навстречу ближнему, что составляла один из секретов его обаяния. И так иногда вплоть до мелочей, например до увлечения гирями, которыми младший Трифонов тоже в юности развивал и укреплял свою мускульную силу. Среди друзей о нем было известно, что, делая утреннюю зарядку, он «крестился» двухпудовыми гирями.

Сотоварищ по Литературному институту Николай Евдокимов вспоминает и такую историю. В студенческую пору однажды был случай. В летнюю ночь возвращались откуда-то из гостей по Крымскому мосту. К ним пристала компания подвыпивших хулиганов человек в пять, упорно набивавшихся на драку. Отвязаться не было никакой возможности. Тогда Трифонов неожиданно схватил одного из них, здоровенного заводилу, и, сжав со спины клещами в подмышках, перекинул, вернее, перевесил через перила моста. Рывкнул: «Отступишь! А не то отпущу!..» Так он держал своего «клиента» на весу над водяною пропастью минуточку-другую, давая тому взглядеться в собственную погибель. Пока его совершенно остолбеневшие дружки не запросили мировую. Трифонов вернул свою «добычу» на эту сторону моста. С приятельской заботой помог очухаться, обрести устойчивость. Дружески похлопал по плечу. Затем обе компании без дальнейших слов мирно разошлись.

Так что слово у Трифонова значило многое. Свои чувства к учителю он выразил, например, в одном из писем Федину в 1973 году, когда отмечался юбилей Литературного института.

«Дорогой Константин Александрович! — писал он там. — Очень я был тронут и взволнован, прочитав вчера в “Литературной газете” Вашу заметку о Литинституте и — добрые слова обо мне.

Поразило меня то, что сохранилась у Вас эта запись (с тогдашним студенческим рассказом Ю. Трифонова “Урюк”. — Ю. О.), но главное — как Вы по-доброму, как истинный и мудрый учитель, отнеслись тогда ко мне. А ведь это было, как я понимаю теперь, довольно трудно и сложно: угадать что-то в тех наивных писаниях, что я приносил тогда в институт.

Многое мне вспомнилось: как Вы на первом, кажется, моем чтении на семинаре (читал я как раз этот самый “Урюк”) поддержали меня, и, когда все члены семинара дружно и зло, в литинститутском стиле меня топтали, говоря, что таким, мол, и делать нечего в институте, а Толик Бархударян, мой большой друг впоследствии, сказал с замечательным кавказским высокомерием: “Я считаю, что лучше поднять планку на метр девяносто и сбить ее, чем поставить ее на метр сорок и перепрыгнуть!” — а еще кто-то говорил, что я занимаюсь малоинтересным фотографированием, Вы вдруг ударили кулаком по столу и очень сердито сказали: “А я Вам говорю, что Тифонов писать будет!”

Не знаю, помните ли Вы, Константин Александрович, этот эпизод, — мне-то он врезался в память на всю жизнь. И, конечно, Вы оказались правы. Ничем иным в этой жизни я заниматься не умею и не могу — только “graf”, только пишу, и ничего больше. Как уж это у меня получается — дело другое, не мне знать, не мне судить. Кажется, чего-то самого главного и истинного, ради чего пристрастился я к этому “graf” с младых ногтей, я так и не написал и, бог его знает, напишу ли. Скорее всего — нет.

Вспомнились мне, — продолжал Ю. Трифонов, — многие наши разговоры на семинарах — о Толстом, о Бунине, о Чехове, Алексее Толстом, и разговоры на улице, когда я порою проводил Вас после семинара вниз по улице Горького, и даже кое-что рассказывал Вам о своей жизни, и разные другие встречи в институте, в Лаврушинском и Переделкине. Помню я, конечно, и Вашу настоящую помощь со “Студентами”, которые появились

в “Новом мире” в 1950 году после Вашего звонка Александру Трифоновичу Твардовскому.

Дорогой Константин Александрович! Как писателя я хорошо знал Вас еще до того, как познакомился с Вами в институте. Все Ваши книги без исключения были прочитаны мною раньше, чем я попал в Ваш семинар. Может быть, многому бессознательно и на ощупь, как это происходит в литературе, я учился из Ваших книг. Например, перебивы времени, стремление к большому объему и многозначности и полифонии — то, чего я по мере сил пытался достичь в некоторых книгах, особенно в последней, — внушены замечательным опытом Вашего романа “Города и годы”, на котором учились многие и многие советские писатели.

Все это Вы знаете и без меня, да и я Вам говорил когда-то, а сейчас — просто к слову, потому что Ваша заметка расшевелила и взволновала...

Спасибо Вам, Константин Александрович, за многое! Желаю Вам здоровья, счастливой работы и крепости духа!»

Федин и в самом деле не только способствовал публикации в журнале Твардовского первой повести Ю. Трифонова «Студенты», с чего, собственно, и началась писательская судьба прозаика. Он сделал для молодого литератора и нечто большее, проявив по тем временам немалое гражданское мужество.

Юрий Валентинович однажды подробно рассказывал мне о баталии, которая разыгралась на заседании Комитета по Сталинским премиям, когда там рассматривалась его повесть. Федин был членом Комитета. И он сумел отстоять кандидатуру Трифонова, против которого «по анкетным мотивам», из-за отца, расстрелянного «врага народа», ополчилась группа конъюнктурщиков. В результате 25-летний никому не ведомый новичок получил одну из высших литературных наград страны.

— Сталину иногда нравилось давать премии детям казненных, — криво усмехнулся Трифонов.

На вчерашнего студента обрушилась лауреатская слава. На улице его узнавали прохожие. В потоке похвал и славословий выделялись немногие отрезвляющие голоса. Строже других как раз голос Федина.

В мемуарном очерке Трифонов рассказывает, как тот помогал ему преодолевать заблуждение, будто он «уже крупный писатель»: «Меня, оглушенного треском, тогда это, признаться, удивило. Зачем же о лауреатской книге говорить: “Зал был наполовину пуст”? Но прошло очень недолгое время, и я понял, что Федин был прав. И стал понемногу стараться “написать лучше”».

Впрочем, стартовый круг на этом не замкнулся. В 1951 году, на волне шумного успеха «Студентов», Трифонов почти одновременно заполнил две анкеты. Если в документе для Комитета по Сталинским премиям с исчерпывающей полнотой выдержаны требования буквы тех мрачных лет, то иначе обстояло дело в анкете для вступления в Союз писателей. Сведения об отце ограничивались там перечнем революционных заслуг В.А. Трифонова (большевика-подпольщика из казачьей среды, члена Реввоенсовета нескольких фронтов Гражданской войны, занимавшего и затем крупные государственные посты). О смерти отца сообщалось лишь: «умер в мае 1941 года».

Дерзкая опрометчивость отозвалась шквалом неприятностей. Нашумело на весь институт комсомольское собрание с персональным делом Ю. Трифонова. Итог — строгий выговор с предупреждением — «за сокрытие факта биографии». Первоначальное решение было — исключить. Эпизод воссоздан позже в автобиографическом рассказе Трифонова «Недолгое пребывание в камере пыток». Особый смак ситуации для вошедших в раж завистников передан автором так: «Слабая книга внезапно получила премию. Поэтому было сладко меня исключать. И было за что: я скрыл в анкете, что отец враг народа, во что никогда не верил...»

Возникли осложнения и с приемом в СП. Во изменение первоначального решения новоиспеченного лауреата приняли не в члены, а лишь кандидатом ССП (да и то, учитывая, что о «факте биографии» в Союзе писателей стало известно из документов, заполненных самим же Ю.Трифоновым для Комитета по Сталинским премиям). Полуписателем — в звании *кандидата* — Трифонов проходил затем около шести лет (до начала 1957 года)...

Об этом мы и рассуждали не раз, два сына бывших «врагов народа». Говорили и после кончины общего наставника.

В оценках людей Трифонову, по-моему, очень помогала его обычная историчность взгляда. Даже его флегма и неторопливость на деле часто выражали это глубоко присущее ему свойство. Он обладал развитой способностью сразу же найти для себя точное место в меняющейся череде явлений, самых разнообразных, даже когда вел обыкновенный разговор то ли с юным учеником из своего семинара, то ли с пожилым гардеробщиком писательского клуба. В его манере держаться словно бы скрыта была готовность к признанию собственной малозначительности по сравнению с тем, что уже было и что еще будет. Отсюда, мне кажется, происходила трифоновская скептическая и несколько снисходительная к себе улыбка, игравшая на его лице даже тогда, когда оно сияло и лучилось довольством.

Писателей старшего поколения, с долгим и солидным прошлым, он не мерил лишь сегодняшними страстями и капризами минутных репутаций, а как бы видел их в потоке времени, в переменах и развитии, никогда не забывая того хорошего и доброго, что они сделали и с собой принесли. Все это помогало ему находить надежный и верный тон отношений с самыми разными людьми.

Сдержанный и неговорливый Юрий Валентинович сердился, когда кто-то из уважаемых им людей повторял ходившие в печати критические шаблоны, что он пишет про быт, бытовик, дескать. «Да не быт это... Нет! — отмахивался он. — А если и быт, то опрокинутый быт, каким и является вся наша жизнь от рождения до смерти... Все самое высокое и самое низкое, что есть в человеке, размещается в повседневности. Ведь больше в ней, в сущности, мало что и есть. Помнишь, как это там у Чехова: люди обедают, только обедают, а в это время складываются и разбиваются их жизни...» Можно сказать, Трифонов писал, жил и действовал в этой философии *опрокинутого быта*.

Далеко не простыми были отношения Трифонова с Фединым в послехрущевские времена — последние полтора десятилетия. Они редко встречались, хотя были расположены и привязаны

друг к другу. Высокое чувство благодарности никак не замазывало, однако, иногда резких расхождений в идеях и поступках ученика с учителем.

Ю. Трифонов вместе с Б. Можаяевым, например, зимой 1970 года, обходя писательские дома, собирал подписи под письмом в защиту гибнущего журнала «Новый мир», над которым уже был произнесен окончательный приговор в высшем брежневском партийном ареопаге. В то время как Федин в такой момент послушно отстранился от судьбы внутренне близкого ему журнала и даже, исполняя должностные формальности, в сущности, помогал его топить.

Еще более резкий пример, — отношение к А.И. Солженицыну как автору «Архипелага ГУЛАГ» и открытому противнику советской политической системы, когда эти качества выплыли наружу и стали очевидны.

Деклараций Юрий Валентинович не любил. Но вот его обобщающая оценка Солженицына, в которой сквозит даже несвойственный Трифонову пафос. Ее приводит в биографической книге «Солженицын» Л. Сараскина. Судя по всему, характеристика относится ко второй половине 70-х годов, когда время многое расставило по своим местам, советская система двигалась к гибельному краху, а высланный Солженицын жил в Америке.

«Он возвратится сюда и начнет устраивать, — даже так проричал Трифонов. — С малого начнет, и над ним будут подсмеиваться дураки. Как с малого он начал поход против системы, а кончил полной победой над ней. Мы еще просто об этом не знаем. Он гений, что нам надо понять и принять. Кое-кому трудно признать превосходство. Да и как признать, когда на шее медалки болтаются. Рядом с гением жить неудобно. А мне удобно!»

Через бытовые коллизии у прозаика Трифонова передаются иногда необратимые сдвиги духа. Быт как бы перевертывается, и неожиданно обнаруживается, что человек уже не тот, каким был прежде. Может, особенно характерно это для «городских повестей» Ю. Трифонова, начиная с повести «Обмен» (1969) и до «Дома на набережной» (1976). Но не это ли наполняло порой и лучшие произведения Фебина (повесть «Я был актером», романы «Санаторий Арктур», «Первые радости» и др.)? В опрокинутом

быту человек терял или заново обретал себя. Словом, в художественных ракурсах их немало объединяло.

Однако же различия в большом, конечно, пробивались и в малом. Духовные расхождения учителя с учеником, так сказать, главной гордости его учительства, стоит показать на одном конкретном, чисто литературном примере. В прозе Федина и Трифонова есть общее действующее лицо из жизни — красный военачальник и герой Гражданской войны Ф.К. Миронов. В подходе к этой исторической фигуре отчетливо обозначилась разность общественно-литературных позиций.

О Миронове и мироновцах идет речь на страницах романа Федина «Необыкновенное лето», напечатанного впервые в 1948 году. Миронов стал прообразом одного из главных героев — комкора Мигулина в романе «Старик», появившемся в 1978 году, не говоря уже о том, что Трифонов писал о нем за тринадцать лет до этого в документальной повести об отце «Отблеск костра».

Из богатой событиями биографии Ф.К. Миронова писателями взят один и тот же эпизод, который трактуется ими по-разному. Это — самовольное выступление на Южном фронте в августе—сентябре 1919 года. Нарушив приказ, Миронов во главе конного корпуса двинулся на Дон, где свирепствовали деникинцы, вырезая семьи «красных». Миронов бросился спасать «своих». За этот акт анархии в напряженной боевой обстановке, как сказано теперь в посвященной Ф.К. Миронову статье в томе 16 последнего (третьего) издания Большой Советской Энциклопедии, он «в конце сентября был арестован и в октябре приговорен военным трибуналом к расстрелу, но тут же помилован ВЦИК и реабилитирован Политбюро ЦК РКП(б)».

Уже после событий, затронутых в обоих романах, Филипп Кузьмич Миронов (1872—1921) стоял во главе Второй конной армии, освобождавшей Крым. Согласно сведениям той же БСЭ: «2 сентября — 6 декабря 1920 успешно командовал 2-й Конной армией в боях против войск генерала П.Н. Врангеля. Награжден 2 орденами Красного Знамени и Почетным революционным оружием».

Таковы представления о Ф.К. Миронове в позднейшей исторической науке, после того, как события, связанные с его жизнью и деятельностью, были очищены от произвольных искажений, а имя этого героя Гражданской войны восстановлено в исторической летописи.

Но не так было в конце 40-х годов, когда писался роман «Необыкновенное лето»...

В дальнейшем, готовя переиздания, Федин внес значительные исправления в «военные картины» романа, отвечающие трактовкам развития событий Гражданской войны в исторической науке после XX съезда партии. Что касается фигуры Ф.К. Миронова, то тут, к сожалению, уточняющая работа не была доведена до конца. На некоторых страницах остались следы тех неверных представлений о характере и побудительных мотивах действий Миронова и вверенного ему казачьего корпуса в августе—сентябре 1919 года, которым долгое время следовали официальные публикации и источники информации, какими располагал писатель при работе над произведением. Самовольный революционный порыв именовался в них «авантюрой», «мятежом», «изменой» и т.д.

В 1978 году, после кончины автора, издательство «Художественная литература» предложило мне прокомментировать дилогию Фебина (романы «Первые радости» и «Необыкновенное лето»), готовившуюся к выпуску под общей обложкой в тогдашней романной серии. Особое внимание следовало уделить страницам и эпизодам второй книги, где речь идет о самостоятельном выступлении казачьего корпуса Миронова.

Для уяснения сложного переплета событий Гражданской войны, борьбы разных интересов и сил в районах Поволжья и Дона летом-осенью 1919 года потребовались разные фактические источники. Обратился я за консультацией и к Трифонову, хорошо осведомленному в историческом материале. Тем более что всего лишь за два месяца до этого, в мартовском номере журнала «Дружба народов», был напечатан роман «Старик».

Сохранилась запись нашей беседы 3 мая 1978 года, сделанная по этому случаю. Юрий Валентинович высказывался довольно резко. Признавая мастерство и изобразительную силу Фебина, он

упрекал автора «Необыкновенного лета» в нередкой однозначности творческих решений, в шаблонах мысли, которые предпочитают два цвета: черный или белый. Оттого-то, по его словам, и случался грех легковерия. Время же потом все ставит на свое место. Читать это теперь уже трудно. Даже и безотносительно к конкретным именам.

Привожу запись дальнейшего диалога:

— У нас был разговор о Миронове примерно году в шестьдесят пятом, но Константин Александрович, человек прежней закалки, стоял на своем, и мы тогда разошлись. У художников трудная судьба, но выживает только правда. Вот ведь Шолохов, хотя находился в таких же условиях, как Федин, в «Тихом Доне» о Миронове ничего плохого не говорит, в крайнем случае пишет о нем вполне нейтрально... Оттого-то это и подлинный кусок жизни, без всяких мертвых вкраплений! Словом, Константин Александрович не проявил достаточной зоркости или мужества, когда писал, а потом остановился перед необходимостью больших сюжетных изменений. Не стал их делать...

— Или не смог?

— Или — не смог..

— Как ты думаешь, не подойдет ли такая исходная формула в комментарии: «Он оказался во власти распространенных тогда представлений о Миронове». И дальше — по тексту?

— Очень хорошо. Вот так и было! Ведь мой отец (эта мысль есть в «Отблеске костра») уже и в глубокие мирные времена держался категорий Гражданской войны: человек, нарушивший приказ, пусть даже нелепый, губительный, как и было с Мироновым, в его глазах падал, а уж если военачальник, поставленный над людьми, то дело ясное — авантюрист..

В таком ключе и были затем прокомментированы эпизоды романа «Необыкновенное лето» в томе дилогии, вышедшем в издательстве «Художественная литература» в 1979 году.

Перепады в отношениях между учеником и учителем вовсе не означали их прекращения. Трифонов посылал Федину свои книги. Одно из писем Фебина, написанное незадолго до кончины, обращено к Трифонову.

Говорить о Федине, человеке, нам обоим знакомом, к тому же фактически или формально более двадцати лет возглавлявшем писательскую организацию страны, с Юрием Валентиновичем доводилось, конечно, неоднократно. Разговоры продолжались и после смерти общего учителя. Так, услышав от меня однажды, что для биографической книги о писателе я допущен работать в его личном архиве, Трифонов заинтересованно вскинул голову:

— И что он там говорит о современности?

— В основном стонет и жалуется...

— А публично, значит, что же? Врал?

Дополнительные беседы повлекла за собой подготовка очерков для сборника воспоминаний о Федине. В январе 1979 года мы даже специально встречались, чтобы обсудить эту тему. С неторопливой убежденностью Юрий Валентинович повторил все свои критические суждения о нем, но сказал также, что считает К.А. своим литературным учителем и никогда не забудет того доброго, что сделал для него писатель.

Трифонов вновь вспомнил, как летом 1944 года он, тогдашний восемнадцатилетний парнишка с авиационного завода, стал студентом Литературного института. По двум тетрадкам ученических виршей и слабенькому рассказику председатель приемной комиссии К.А. Федин высмотрел дарование. Он же поддержал в трудный момент беспомощно и жалко барахтавшегося новичка, которого, как гадкого утенка, с жестокостью юности чуть было не заклевали старшие по возрасту и более подготовленные участники творческого семинара...

— Вот ты об этом и напиши, — заметил я.

— Хорошо. Подумаю, — заключил Трифонов.

Чтобы хоть чем-то ответить на доверительность его рассказов, я предложил Юрию Валентиновичу прочитать собственные воспоминания о Федине для того же сборника, только что вышедшие в журнальном варианте.

Трифонов согласно кивнул... Уходя, он засунул мою публикацию в элегантную кожаную папку, с некоторых пор все чаще заменявшую для него былой необъемный портфель. Все-таки какие-то черты самой элементарной респектабельности, вроде

этой папки или заурядной светло-коричневой дубленки, то ли с возрастом, то ли с волной успеха во внешнем облике Юрия Валентиновича проступали.

В первых числах февраля Трифонов позвонил мне со своей дачи в Красной Пахре. Вначале речь шла о театральной инсценировке «Дома на Набережной» в театре на Таганке, которую я смотрел накануне по одной из трех его постоянных контрамарок, потому что просто так туда было не пробиться. Затем Юрий Валентинович сам заговорил о Федине.

— Я тоже напишу о нем, — сообщил он как бы между прочим. — Интересно это его письмо по поводу твоей первой книжки, большое какое! Он был п о д р о б н ы й ч е л о в е к, — определил Трифонов. — Да. Хотя и холодноватый...

— Не без этого...

— Но кто из нас не холодноватый?! — скрипуче засмеялся Трифонов. — Это, наверно, только часть того, что бы ты мог написать? По фактам, да и вообще. Листа два печатных наверняка бы набежало еще — если бы плеснуть красок, подробней изобразить встречи, как он курил трубку, каким был в жизни, в быту, а не только давать информацию? — Потом переменял тон. — Но зато у тебя есть основательность в документах, которой, чувствую, мне будет недоставать... Надо разыскать странички его замечаний по моему рассказу 1947 года, когда я был участником семинара. Потом его листки с разбором глав «Студентов», в рукописи, там есть языковые тонкости. Была еще его статья к юбилею Литературного института. В ней выдержки из его же давних творческих характеристик участников семинара. Его последнее письмо ко мне... — И Юрий Валентинович углубился в те деловые подробности, которые предшествуют всякому литературному труду.

Не стану преувеличивать значимости этих бесед. Если они на что и повлияли, то, может, лишь на то, что очерк Трифонова чуть больше оснастился документальным материалом. Отношение же к объекту повествования давно выработалось и оставалось у автора четким, благодарным и трезвым, какой всегда была жившая в нем потребность воздать должное событиям и переживаниям прошлого.

Очерк «Воспоминания о муках немоты, или Фединский семинар сороковых годов» еще до мемуарного сборника появился на страницах журнала «Дружба народов». Встретив меня как-то, Юрий Валентинович рассказывал:

— После выхода журнала некоторые так называемые «прогрессисты» на меня обиделись: «Как ты мог о нем писать? Он то да се...» А как я мог не написать?! Федин делал для меня только добро...

Для Трифонова это был высший и решающий аргумент: делал добро.

В беглом вроде бы трифоновском определении: «подробный человек» — была схвачена какая-то важная особенность натуры. Федин способен был как будто бы подолгу застыть в разных накотившихся, завладевших им или требуемых психологических состояниях. Этот действительно многослойный человек.

Ничуть не собираюсь подпускать розовой дымки в подвижный портрет, скрывать пятна и тени, в том числе даже самые резкие отзывы.

Елена Сергеевна Булгакова в своем «Дневнике» вспоминает о единственной встрече Михаила Булгакова с Фединым. Тот исполнял тогда обязанности председателя Литфонда и приходил навестить больного коллегу по кругу обязанностей. Других личных встреч у них никогда не было. А эта явно не задалась.

«Когда Миша был уже очень болен, — записывала позже Е.С. Булгакова, — и все понимали, что близок конец, стали приходиться кое-кто из писателей, кто никогда не бывал... Так помню приход Федина. Это холодный человек, холодный, как собачий нос. Пришел, сел в кабинете около кровати Мишиной, в кресле. Как будто — по обязанности службы. Быстро ушел. Разговор не клеился. Миша, видимо, насквозь все видел и понимал. После его ухода сказал: “Никогда больше не пускай его ко мне”. А когда после этого был Пастернак, вошел, с открытым взглядом, легкий, искренний, сел верхом на стул и стал просто, дружески разговаривать, всем своим существом говоря: “Все будет хорошо”, — Миша потом сказал: “А этого всегда пускай, я буду рад”».

Не берусь строить окончательный вывод, почему так случилось. Но, видимо, Булгаков при его широко известной оппозиционности к режиму, не был для председателя Литфонда СССР Федина человеком столь близких духовных устремлений, как, скажем, эмигрант Евгений Замятин, с которым он вел себя совсем иначе. Впрочем, в людях искусства многое зависит от настроения, от состояния...

Мне приходилось видеть, сколько может недвижно просидеть К. А., если кто-то хорошо музицирует на фортепьяно. В молодости он играл на скрипке, был актером. Вспоминал, как однажды вместе со своим другом композитором Юрием Шапориним сочинял музыковедческую статью, которая в форме рецензии на симфонию главного персонажа — композитора Никиты Карева — включена отдельной главой в роман «Братья».

Со временем наши отношения сблизились настолько, что я стал иногда появляться у Федина на даче. Случалось приезжать в Перedelкино, когда его писательские занятия непредвиденно «наползали» на всегда за несколько дней вперед назначенную встречу. И хотя четкий и внутренне дисциплинированный Федин, «немец», как его прозвали, уже был переключен на другое, вся атмосфера в кабинете оставалась сугубо писательской, а стол был завален ворохом, казалось, еще не остывших бумаг.

Процесс письма сокровенен, но тут во всем были разлиты его приметы. Первоначальные наброски произведений Федин делал обычно на разрозненных клочках бумаги, а работал он методично и яростно. По собственным рассказам, в прежние времена, когда позволяло здоровье, по шестнадцать часов в сутки. Высокий, чуть сутулый, с седой головой, неторопливо двигался он по комнате и, присев вдруг к столу, набрасывал на полосках и клочках бумаги пришедшую мысль. К концу работы, если Федин в ударе, весь его стол бывал в белых хлопьях, разобраться в которых мог один он. Лишь когда текст создан, он гранил и шлифовал каждое слово.

Федин неповторимо ярко и образно писал о том, чем жил. А был он человеком искусства до мозга костей. Неисчислимы круг его друзей в писательской среде. Ближайшим своим учеником гордился Горький. Родственную себе музыкальную душу усма-

тривал в авторе романа «Братья» создатель многотомной эпопеи о композиторе Жане Кристофе Ромен Роллан. Чувствовал в нем близкого себе коллегу замечательный австрийский писатель Стефан Цвейг... К друзьям Федина причисляли себя Ахматова, Пильняк, Фадеев, Пастернак, Зощенко, Тихонов... Но и, помимо высокой литературной когорты, у него было столько близких друзей в разных художественных сферах — среди актеров, живописцев и графиков, композиторов, дирижеров, музыкальных исполнителей — от Алисы Коонен и А.И. Таирова, Н.Э. Радлова, Н.В. Кузьмина, Е.П. Конашевича, В.А. Милашевского, П.П. Кончаловского, В.А. Фаворского, Е.А. Мравинского до Ю.А. Шапорина... Не только в нашей, но и в европейских литературах немного мастеров, в творчестве которых мир людей искусства — художников, актеров, писателей, музыкантов — был бы прослежен на стольких ярких и интересных фигурах и судьбах, как в романах Федина ...

Определю позиции.

Подобно другим его ученикам, я многим обязан К.А. в своей профессиональной, да и не только литературной судьбе. Однако же, как и Ю. Трифонов, далек от того, чтобы обряжаться в тогу адвоката. Минувшие десятилетия и пережитые страной катастрофы взывают к объективности. Только так можно извлекать уроки и научиться чему-то в конце концов. Правдиво пора написать не только о тех, кто сгинул при тоталитарном режиме, сидел в лагерях и пропал в опале. Но и о людях с противоречивой биографией и пестрой судьбой.

Тем более что уже в начальном творчестве Федина были книги не просто широкого, но по новизне обобщений — эпохального звучания.

ЧУДЕСА НАШЕЙ ВЕРЫ

Таким крупным событием в литературе явился следующий за «Городами и годами» (1924) сборник прозы «Трансвааль» (1927). Действие большинства произведений там разворачивается в таких глухих местах Смоленщины, куда даже весть о революционных потрясениях приходит с большим опозданием. На скудной земле,

среди лесов, болот и камней, крестьянствуют самые темные и забитые люди. Именно таковы были родные места его «побратима» Ивана Сергеевича Соколова-Микитова, в которые наездами окунался Федина.

Из череды здешних знакомцев писательское внимание выхватывает не только здешние необычности и природные исключения — будь то девка Проска, способная на сильную дерзкую любовь, философствующий «эпикурец» пастух Прокоп или неугомонный бродяга Аверя (рассказы «Пастух», «Утро в Вяжном» и др.).

В скрещении всех прожекторских лучей, однако, если так можно выразиться, оказывается главный герой повести «Трансвааль», давшей название сборнику. Притом зарядом активной жизнедеятельности и другими привлекательными качествами наделен человек, который с официозной точки зрения вроде бы не воплощает в себе народных начал и уж во всяком случае во многих отношениях никак не является носителем добра.

«Трансвааль» — одна из самых фантастических, озорных и злых вещей Фебина. В повести иногда почти самостоятельно, иногда сливаясь на глазах читателя в единое целое действуют как бы два Сваакера — безжалостный и наглый хищник, деревенский нэпман нового «европейского» склада, и другой Сваакер — фантастический кумир темной крестьянской округи. Секрет этого психологического совмещения — не психологический трюк, придуманный в кабинетной тиши.

«Вильям Сваакер появился в уезде незадолго до революции. Никто толком не знал, откуда он пришел и что понадобилось ему в здешней не очень пышной округе, среди остатков помещичьих лесов и в деревнях, упрямо и дико отвоевывавших землю у бесконечных болот. Слух о странном человеке, говорившем смешно по-русски, обширно и легко распространился. Сказывали, что примечательный человек знает какой-то секрет жизни и вознамерился раскрыть его в этом уезде, нигде больше... В то время калеки начали приползать с далекого фронта к отцам и женам. Все более неясно и хмуро ожидали какого-то п р и ш е с т в и я, и,

пожалуй, ничего мудреного не было в том, что толки о нем в нелепых головах перепутались с чудесными россказнями о Сваакере».

Как и надлежит «мессии», Сваакер имеет несколько биографий. По одной — он эстонец с прибалтийского хутора, по другой — бур из Трансвааля, жертва иноземных завоевателей, на лице которого оставили злодейские отметины (выбитый глаз заменен стеклянным) немцы либо англичане. Эти и подобные им небылицы, в лад времени и обстановке, Сваакер сочиняет о себе сам. Но загадка состоит в том, чтобы понять, как возникает такой «выдуманный человек», почему ему верят и передают легенды о нем из уст в уста.

Сваакер и в самом деле владел некоторыми «секретами жизни». Он был прирожденным и образованным хозяином, умел «жить смешно и без усилия», «работал радостно и азартно». Но самое главное — Вильям Сваакер хорошо разбирался в людях, знал психологию крестьянской массы и умел подчинять ее своей воле и целям.

Повесть создавалась в 1925—1926 годах, но действие с дипломатической расчетливостью во избежание цензурных придинок отнесено писателем к первой послереволюционной поре — к 1920—1921 годам. За сравнительно недолгий срок на страницах произведения, окрашенного в сатирические тона, происходит чудодейственное преображение Вильяма Сваакера. Никогда и ничего вроде бы этот человек не затевает всерьез — он паясничает, кривляется, ломает комедию. А в результате? Этот гаер, ёрник, шут гороховый становится первым авторитетом для крестьян, владельцем мельницы, потом завода по производству мельничных жерновов, его уважают власти, любят лучшие женщины.

В повести «Трансвааль» обрисована история жизнестойкости и обогащения сельского хозяина в болотистых и скудных местах Смоленщины. В Вильяме Сваакере живет редкостная биологическая сила связи с землей, на которой он легко и с размахом хозяйствует. Он не только по науке возделывает собственный надел. Он дает работу деревенской бедноте. Он строит мельницу, он проводит в глухую деревню телеграфную связь. Дворянка, вдова

пропавшего на войне помещичьего сына, ищет у него опоры и прислоняется к нему, обращаясь в потаенную его любовницу.

Все это происходит до официального свертывания НЭПа. И потому убогие хитрости местных советских начальников законными путями развенчать и обуздать многоликие таланты этого так называемого «кулака» успеха не имеют. Вильям Сваакер непобедим и непреоборим, как Ванька-Встанька. Своим примером он показывает, что сельский хозяин глубоко индивидуален, он не овца и не корова, коллективизировать его нельзя. Каждый сколько-нибудь небездельный местный мужичонка мечтал бы походить на Сваакера. Симпатии и поклонение лапотной деревенской округи на его стороне.

Ореол тайны и могущества, который сопутствует делам и поступкам Сваакера, порожден отнюдь не только его собственными усилиями. Успех возрастает и процветает на душевном черноземе мужицкой массы. Это и естественный продукт нереализованных, подспудных хозяйских талантов окружающих, и продукт рабьей их психики. Отсталая крестьянская масса находится во власти вековых предрассудков. А узкая частнособственническая психология по-своему проявляет затаенные страхи и мечты: она относит к нелюдям слабых и столь же легко выдумывает для себя сверхчеловеков из среды самых удачливых и богатых.

И свойственно это, как мы знаем, отнюдь не только крестьянской психике. В эту расхожую наволочь охотно окунаются, например, миллионные массы рабов нынешнего электронного дурмана — телевизионных шоу. В своем воображении обыденная массовая психология до неузнаваемости преувеличивает доблести, иногда копеечные, самых удачливых, раздувая мелкое до размеров фантастических. Приписывает им едва ли не чудодейственные свойства, укрупняет саму их корысть, измышляет для них некие легендарные жития. Словом, подменяя реального современника мифом, она творит культ удачливого дельца.

И происходит это не только в деревнях, но и в городах, и повсюду. В этом общечеловеческое содержание по материалу как будто бы «деревенской повести». Так ловкий предприниматель и лицедей Вильям Сваакер в коллективной крестьянской фан-

тазии, питаемой молвой и слухами, разрастается в фигуру почти надреальную. И рядом с подлинным вырастает другой — мифический Сваакер.

«Меня интересовала не социальная сторона явлений, — пояснял позже Федин, — а биологическая, интимная сокровенность чувств хуторянина, цепкость его надежд, его ожидание сказки, родом своим вышедшим из лесной глуши и манившей человека назад, в глушь. Среди хуторских чайний возникали дикие, почти величественные уродства. Пройти мимо них не мог бы ни один художник, и повестью “Трансвааль” я отдал им должное в своей книге о деревне».

Федина привлекали в первую очередь не накопительские махинации «красного заводчика», хотя и о них не раз идет речь в повести, а особенности природы Сваакера в соотношении с психологией хуторских крестьян, причины, которые делали его уездным «маяком культуры» и кумиром здешней округи. В западных литературах существуют чуть ли не библиотеки книг, показывающие, насколько глубоко в недрах человеческой природы сидят частнособственнические инстинкты, как рвутся люди к «золотым клондайкам» и как легко самые удачливые и сильные сколачивают вокруг себя «всю королевскую рать». В этом смысле повесть Федина противостояла насаждаемым массовой ленинско-сталинской пропагандой иллюзиям о якобы социалистических инстинктах российского крестьянства, на чем некогда обожглись еще народники со своими доморощенными попытками «хождения в народ». Слушая словесные потоки отвлеченного благомыслия народных заботников, пахари и сеятели первыми же стремились сдать их полицейскому уряднику.

Принципиальное объяснение этому дал А. Солженицын в своих программных «поисках» «Как нам обустроить Россию» (1990). «Столыпин говорил, — пишет он там, — нельзя создать правового государства, не имея прежде независимого гражданина... А — независимого гражданина не может быть без частной собственности».

За 70 лет в наши мозги втравили бояться собственности и чуждаться наемного труда как нечистой силы — это большая победа

Идеологии над нашей человеческой сущностью. (Как и весь облик западной экономики внедрили в наши мозги карикатурно.)

Но обладание умеренной собственностью, не подавляющей других, — входит в понятие личности, дает ей устояние. А добросовестно выполненный и справедливо оплаченный наемный труд — есть форма взаимопомощи людей и ведет к доброжелательности между ними».

Но собственность также не только способствует самоутверждению личности, но при определенных условиях разъедает и губит ее нравственные основы. Федин рассматривает явления многосторонне. Частнособственнические устремления, темнота, политическая незрелость, косность, патриархальная доверчивость хуторян, как показывает художник, создают условия для демагогии, ловких ухищрений, показных благодеяний, с помощью которых обдeldывает свои делишки и процветает Сваакер. И это при том, что те же мужики близки к разгадке Сваакера, когда называют его «каменной просвирой» или пускают о нем липкое словцо: «Устервился жить, подлец!»

Так, еще задолго до провозглашения курса на сплошную коллективизации, Федин написал яркую и озорную, по существу, антиколхозную вещь. Написал ее стихийно, поддавшись обаянию жизненного типажа и увлечению талантом земледельца, которым только и может держаться крестьянин на земле. С «Трансваалем» Федина в тогдашней русской литературе трудно что-либо поставить рядом. Близок по духу рассказ А. Платонова «Усомнившийся Макар». Он появится позже, в 1930 году.

Однако же «Трансвааль» Федина стал не просто единственным в своем роде антиколхозным произведением тех лет, что само по себе являло дерзкую необычность. Повесть вела подкоп под некие идеологические каноны и сокрушала порядки, насаждаемые в стране. Автора погоняло и вело только одно качество — творческая честность. Он писал то, что наблюдал вокруг, то, что видел. Однако же, вверяясь художественным стихиям, понимал, что делает.

Недаром у повести «Трансвааль» в том же сборнике даже есть творческий близнец, в котором в какой-то мере повторен сходный

фабульный прием. Сюжет закручен опять-таки вокруг своего рода здешнего кумира — «выдуманного человека». Но если в первой повести действие разворачивается в деревенской глухомани, то в «Наровчатовской хронике» события происходят в городе.

Наровчат — уездный городишко Пензенской губернии, откуда родом мать Федина, воспитанная своим дедом из духовной семьи священников Алякринских. Тема веры и основанного на ней человеческого достоинства — основная в произведении.

Повествование ведется от лица молодого послушника пригородного во имя Св. апостола Симона Канонита монастыря Игнатия. В беззаконии или, точнее, по новым дикарским законам живет в первые послереволюционные годы здешнее людское общество. Здешние хозяева, городские власти, озабочены главным образом тем, какими способами ловчее и бесповоротней извести и согнать с лица земли «эксплуататоров», в данном случае оба местных монастыря — мужской и женский. Сами послушники, которых непрерывно то переселяют, то уплотняют, задавленные жестокими капризами гонителей и непосильными налогами, вынуждены для содержания святой обители изготавливать скромное и торговать им на базаре. Жирное, скромное, подумайте, монахи — и продавать на базаре! Бывший кладбищенский дьякон Истукарий и вовсе переквалифицировался, устроившись регистратором на службу в местный орган регистрации актов гражданского состояния — ЗАГС, поскольку, если и не рождается, то умирает людей не меньше, чем прежде.

Обычные обыватели без особой надобности предпочитают не показываться на улицах. Алкоголик земельный комиссар Рокотов не устрашает принимать вовнутрь даже жидкость, присланную из губернии для борьбы с сельхозвредителями. Его напарник бывший священник, а ныне газетный фельетонист Симфориан предпочитает потреблять стаканами разбавленный водой и оттого белый, как молоко, цветочный одеколон. Они чокаются, они обсуждают местные дела. А после того как маломощный земельный комиссар отключается, Симфориан достает из-под матраса револьвер и принимается за излюбленное занятие. «Нету мне на

земле спокойной жизни, покуда не перевелись святые! Не люблю святых!» — теперь это девиз жизни.

Он усаживается. Перед ним в переднем углу — икона десяти мучеников критских, известный образ греческого письма. Он протягивает руку с оружием, как в прицел, прищуривается и по церковному возглашает: «Иже во святых отец наших мученика Агафопуса...», что у бывшего иерея получается внушительно — и раз за разом расстреливает святые лики.

Беспросветная и темная жуть будней, обрисованная в «Наровчатовской хронике», временами напоминает, пожалуй, страницы «Окаянных дней» Ивана Бунина.

Однако и в этом царстве мглы есть человек, городская диковина, при виде которой расцветает душой большинство жителей Наровчата. Это обитающий здесь двойник Пушкина. «Вот уже много лет, — записывает чернец Игнатий, — в нашем городе проживает некий Афанасий Сергеевич Пушкин... Прибыл он в Наровчат бог знает откуда... получил место в конторе товарной станции, где писал накладные на железнодорожные грузы... В служебное время, с утра до вечера... оставался в своем чуланчике для постороннего глаза невидим... Между тем поглядеть на Афанасия Сергеевича прямо поучительно... Какому неразумному случаю обязан этот человек тем, что, помимо точного сходства с знаменитым писателем, он по законной выписи из метрической книги оказался обладателем и самого прославленного имени? Но натура вступила в заговор со слепым случаем, и шутка свершена: в городе Наровчате, почти век спустя после смерти А.С. Пушкина, живет новый А.С. Пушкин.

Похож он на настоящего Пушкина воистину разительно. Невысокого роста, плотного сложения, курчав и темно-рус, почти черен, носит бакенбарды... нос немного приплюснут, и губы оттопырены. Кто хоть плохо вспоминает портрет поэта, тот не может не содрогнуться при взгляде на его наровчатовское повторение.

Однако вся особенность такого случая прошла бы, вероятно, не слишком замеченной, когда сам Афанасий Сергеевич не обнаруживал бы ее со рвением и неослабным постоянством...

Пребывая, кроме служебных часов, почти в затворе, этот человек еженедельно по воскресным дням, в сумерки, когда главная улица Наровчата кишит гуляющими молодыми людьми из реального училища, из почтовой конторы, из женской гимназии и различных магазинов, появляется в центре города. Он пронесится стремительно из одного конца улицы в другой, идя по мостовой вблизи тротуара, наклонясь верхней частью корпуса значительно вперед и заложив руки за спину. Надо видеть в такие минуты Афанасия Сергеевича! Взгляд его черных глаз горит, черты благородного лица исполнены твердости, поступь как бы надземна, вся фигура его замечательна. Одет он в этот час совершенно так же, как одевался поэт Александр Сергеевич Пушкин — в шинели николаевской моды, с крылатою накидкой до пояса, в твердой широкой шляпе. Проходит он всего один раз мимо гуляющей публики в трепещущей от быстроты движений черной крылатке, развеваемой иногда ветром и всем своим образом напоминает прославленного поэта, если позволительно так выразиться — прямо мистично. И тогда навстречу ему и следом за ним из сотен, а может быть, и тысяч уст несется слово:

— Пушкин, Пушкин, Пушкин!»

Появление Пушкина раз в неделю, вечером в воскресенье, это как долгожданное явление мессии. Оно напоминает о чем-то святом и высоком, об иных измерениях и мирах, существующих за пределами опаскудевшей, убогой и сонной реальности Наровчата. И хотя все знают, что Пушкин не настоящий и вдогонку развивающейся крылатке, помимо зачарованных вздохов и восторгов, летят дерзкие выкрики и даже глумливые насмешки, почти на всех, так или иначе, его очередное появление действует как порыв, освежающий души. Каждый в эту ожидаемую новую встречу с этим выходцем из иных миров вкладывает что-то свое, вдвухает в расплывающийся высокий духовный образ часть собственной души. Так что видение местного Пушкина создает не один мелкий служащий железнодорожной товарной станции, его лепит и выстраивает коллективное сознание всего захолустного городка.

Но тем более сознает значение своей миссии сам А.С. Пушкин. «От своего правила показываться в таком виде в городе каждое воскресенье в один и тот же час Афанасий Сергеевич не отступил и после революции. Гуляний на главной улице за последние два года совсем не стало, вид ее уныл и пустынен... Но несмотря на упадок городской жизни, как бы не замечая его, Афанасий Сергеевич Пушкин, все так же чудесно похожий на славного своего двойника продолжает совершать по воскресным дням мечтательные прогулки по главной улице». В достигшем крайностей духовного падения послереволюционном Наровчате жители по своему гордятся Афанасием Сергеевичем, чтят и любят его, хотя не обходится и без завистничества и травли, приводящей в конце концов к трагической развязке.

Ведь вот даже бывший священник, а ныне палач святых ликов Симфориан в застолье со своим выпивошным коллегой, земельным комиссаром Рокотовым, сокрушается искренне:

«Он вдруг рванул себя за ворот и прокричал страшно:

— Ой, тоска, тоска! Целый город людей, и ни единой живой души! Куда ни глянь — все рыла! Может, один человек, один-единственный на весь Наровчат, да и тому нет места, затравили!

— О ком говоришь? — спросил Рокотов.

— Не о тебе, ты тоже — рыло!

— Согласен, — сказал Рокотов.

— Единственный человек в Наровчате — Пушкин, — прочувственно объявил Симфориан». И добавил: «Единственный в Наровчате человек с воображением, человек, а не рыло!»

В гонениях на единственное здешнее светозарное явление сплачиваются грубая начальственная сила и местная бездарь. «Предписываю вам с получением сего немедленно оставить появление в городе в несвойственном виде, т.е. в одежде писателя Пушкина, и вообще... прекратить обман пролетариата. В случае неподчинения приму зависящие меры», — строгим официальным циркуляром ставит нравственного бунтаря на свое место начальник гормилиции. А олицетворение здешнего духовного примитива завистливая бездарь «народный поэт» Антип Груст-

ный подкарауливает невольного соперника и, схватив за грудки, грубо расправляется с ним, выговаривая ему в лицо все, что о нем думает.

В результате Афанасий Сергеевич таинственно исчез. А через несколько дней местная река выбросила на берег возле загородного монастыря труп неизвестного утопленника. По некоторым признакам, и прежде всего по знаменитой крылатке, в нем признали местного Пушкина.

«Наровчатовская хроника» не отличается такой глубиной и изобразительной силой, как повесть «Трансвааль». Она более литературна, временами в тексте проскальзывают интонации Гоголя и Достоевского. Но обе повести объединяет стремление к смелому и независимому анализу народной жизни.

Сказал бы даже больше. Шедевр — это вещь, в которой ничего нельзя изменить и к которой нельзя написать продолжения.

Повесть «Трансвааль» как начинается, так и кончается ничем. Сваакер входит и выходит из нее одинаково — загадочным и процветающим. Меняются лишь способы и картинки его приспособительных побед и превращений.

Повесть пережила разные эпохи, многократно переиздавалась. Выдержала и испытания посторонних давлений и собственных авторских поползновений и искушений. А такие тоже были. Автор неоднократно порывался написать продолжение. Ясно было и название, в фантазии прокручивались сюжетные варианты — «Конец Трансвааля». Прозаик даже печатно оповещал об этом читателей в 1930, 1936 и в 1940 годах. Отзывы, отклики на знаменитую повесть лились рекой, притекали и документальные дополнения, и новые сведения о необычном герое, прежних и новых его похождениях.

В писательском архиве сохранились наброски и в отделанном виде первая глава повести «Конец Трансвааля». В 1982 году ее опубликовали наследники. Поддаваясь издательским давлениям, в июле 1940 года Федин изготовил даже торжественную вводку, предназначенную для издания двух повестей вместе. Она звучала как заклинание самого себя и гласила:

**«ЭТА КНИГА,
СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ПОВЕСТЕЙ**

Первая была написана в 1925—26 годах, вторая в 1940—41-м. Каждая из них может быть прочитана отдельно, но вторая является продолжением первой и завершает ее.

Книга

посвящается

писателю, путешественнику, охотнику

Ивану Сергеевичу

СОКОЛОВУ-МИКИТОВУ,

дружбе с которым я обязан как человек и писатель.

Дача. VII—1940».

К счастью, Федин намерения своего не исполнил. Да и о чем бы он мог там писать?

Есть запись Фебина от ноября 1933 года, сохранившаяся в архиве: «А конец? — Не попадет ли Сваакер на “перековку” на Беломорстрой?.. Не перековывается ли он?..

Во всяком случае, в основном остается тот путь, который я рассказывал Горькому: Сваакер самоарестовывается, затем действительно попадает в тюрьму; тюрьма во власти его гения; радиофикация и “спецчество” по радио; ссылка; оленеводство под Кемью? — “кулаческие” штучки; и потом “перековка”... После нее Сваакер выйдет жуликом двойным...»

Горький был энтузиастом строительства Беломорско-Балтийского канала, соединившего Волгу с северным морским бассейном страны. Канал создавался силами заключенных. Наряду с уголовниками, пресловутую массовую «перековку» проходили там «кулаки» и прочие так называемые «эксплуататорские элементы», вплоть до проституток. Условия содержания и труда заключенных публично всячески идеализировались, хотя земля там обильно удобрена многими жертвами этой якобы героической стройки. Ночами вместо выбывших и умерших прибывали новые товарные вагоны с будущими строителями, многих их которых ждала та же судьба.

Разговор с Горьким о продолжении «Трансваала», который упоминается в архивном наброске Фебина, происходил в ноябре 1933 года. Всего за три месяца до этого в пропагандистских целях состоялся известный парадный выезд на стройку Беломорско-

Балтийского канала так называемого большого литературного десанта из 120 советских писателей. Руководил поездкой лично нарком НКВД Генрих Ягода, нижегородский земляк Горького, продолжавший поддерживать с ним близкие личные отношения. 66 участников поездки написали затем по своим впечатлениям статьи и очерки для коллективного сборника «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина». Общую редактуру книги осуществлял Горький, поместивший в сборнике две собственных статьи.

Так что оба собеседника в принципе никак не были противниками такого рода трудовой и духовной *перековки*, которой в реальности подвергся Юлиус Саарек — жизненный прототип героя повести. Благодаря своим незаурядным способностям Саарек стал одним из первых ударников на строительстве Беломорско-Балтийского канала, был освобожден, а затем уже с неизбежностью пустился в дальнейшие похождения.

Руку сочинителя вовремя остановило чутье художника. Потому что «Трансвааль» — это не повесть о выкрутасах ловкого пройдохи или в какие-то моменты даже сельского бравого Солдата Швейка, во всех его увертливых играх с тупым начальством, а книга о скрытых возможностях природного земледельца, о его уме, о жаре и глубинах его натуры и возможностей, когда ему дозволено жить и творить в неполную силу своих замыслов и талантов. Все, что можно было сказать об этом в пределах вылепленного характера, художник уже сказал. И даже написанная им глава для второй книги (например, как Сваакер в домашних условиях вместо собаки выращивает волчонка), в сущности, является вариациями духа первой повести, нигде не выходит за их пределы.

Федин вовремя не поддался искусам многописания. Вторая книга «Поднятой целины» М. Шолохова, призванная довершить формальный событийный сюжет через два с лишним десятилетия после первой книги, оказалась слабой и практически ненужной. Автор повести «Трансвааль» по этому пути не пошел.

Молодость таланта — это радостный бег почти без передыха. За сборником «Трансвааль» уже в следующем году последовал роман о жизни композитора — «Братья» (1928). Почти враз он

вызвал отклики трех современников, да каких! — Б. Пастернака, С. Цвейга и академика В. Вернадского. Людей, столь разных и выдающихся.

«Читал и перечитывал я восхитительных “Братьев”, — писал 9 сентября 1928 года Федину из летнего отпуска Борис Пастернак, — непомерный по полноте подведения и полноте погашения расчет по целому ряду серьезнейших наших долгов и громадный вклад в тематическую нашу культуру.. глотали “Братьев” кругом... Разговоры эти... на вокзале в Новороссийске, на палубе “Кречета”, на пароходе от Сочи... Явился страх (так близок мне Ваш мир), что Вы заподозрите меня в подражании Вам, когда прочтете автобиографические заметки, наполовину уже написанные для “Звезды”, так поразительно временами однотипен этот материал: Германия, музыка, композиторская выучка, история поколения. Но будь что будет».

Перевод «Братьев» на немецкий язык был сделан безотлагательно и почти мгновенно. Причем в 1928 году роман вышел даже в двух издательствах — в Берлине и Штутгарте. Так что у Стефана Цвейга, жившего в Зальцбурге (Австрия), были разнообразные возможности для чтения.

10 декабря 1928 года Стефан Цвейг писал из Зальцбурга автору: «Дорогой Константин Федин!.. Мне так хотелось пожать Вам руку и поблагодарить за Вашу прежнюю книгу “Города и годы” и тем более за новую — “Братья”, которую я прочел с захватывающим интересом. Я нахожу, что искусство композиции в этом романе еще больше возросло и, кроме того, Вы обладаете тем, что так непонятно большинству в русских художниках... — великолепной способностью изображать, с одной стороны, народное, совсем простое, человеческое и одновременно создавать изысканные артистические фигуры, раскрывать духовные конфликты во всех их метафизических проявлениях». В другом письме (1929 года) Стефан Цвейг повторял, что книги Федина «принадлежат к наиболее значительному, что дала нам новая русская литература».

Пророческую запись об этой полной звучащей музыки книге сделал у себя в дневнике академик Владимир Вернадский. С присущей ему трезвостью суждений великий естествоиспытатель

обозначает и дилемму, вставшую перед автором и литературой на рубеже 30-х годов.

«Рассказывал Г.П. о Федине — своем приятеле, — записывал Вернадский 15 февраля 1928 года. — Новый роман Федина — “Братья” — возбудил большое внимание, но в нем нет коммунистического содержания. Федин был недавно коммунистом, но вышел из партии, и сейчас у него ее идеологии нет. Перед ним дилемма: или иметь возможность печататься и тогда проводить темы в соответствующем освещении или же не печататься. Этот его роман вызвал ожесточенные нападки в прессе — чисто болгаринской, какой сейчас является “критика”. Иначе осыпают золотом: гонорары огромные».

Эти нападки действительно «болгаринской прессы» на сей раз приняли особенно дикий и разнузданный характер. Вскоре они побудили Бориса Пастернака еще и печатно выступить в защиту романа «Братья». В журнале «Читатель и писатель» (1928, № 50—52) он поместил специальное заявление. Оно исполнено признанием заслуг автора. «Я не знаю, как называется в смысле общественной градации тот раздел литературы, в котором Константину Федину принадлежит первое место, — говорилось там, — и не знаю, есть ли у меня на то право, но любым местом в этом ряду я был бы доволен, как положением, отвечающим моим истинным идеологическим посылкам и устремлениям».

Однако кривое колесо даже относительных литературных свобод в стране на глазах неслось к финишу.

Рубеж 30-х годов — это окончательный перелом к единовластию сталинской диктатуры. Отказ от двойственной, но все же сравнительно либеральной политики НЭПа, сжимающийся стальной кулак индустриализации и коллективизации, разгром и ликвидация всякой оппозиции — левой и правой — даже внутри партии. Это время окончательного учреждения «единомыслия на Руси».

Вернадский сформулировал дилемму, вставшую перед культурой. Подобно многим собратьям по перу, Федин-художник, чтобы уцелеть, вынужден был изощряться в изобретении компромиссов. Их следы по-разному представлены в местах талантливом, но

по художественной концепции не сильно возвышающемся над средним уровнем романа «Похищение Европы» (1929—1935), повествующем о кознях капиталистического предпринимательства, а отчасти и в романе «Санаторий Арктур» (1937—1940) ...

Что же предстояло ему, Федину, как и многим другим настоящим честным талантам на этом переломе эпох? Отчаяние человека, вынужденного ломать себя, предающего главное внутри себя и вполубомороке честно себе в том признающегося. Это самоистязание и казнь под наркозом. Даже и со стороны наблюдать за этим мучительно и тяжело, а уж самоистязаться самому — заплачешь невольно.

Зимой 1932 года, вздергивая себя и мучаясь над второй книгой романа «Похищение Европы», Федин записывал в дневнике: «Вся вторая половина февраля ежедневная работа над “Похищением”. Почти полное отчаяние. Рот зажат маской с наркозом, надо дышать и задыхаться — такое ужасное чувство. Сердце не участвует в работе, вообще все, чем раньше двигалось писание, — любовь, страсть к созданию вещи, к построению чего-то эмоционально привлекательного — все это бесследно пропало. Холодное сердце и испуг перед тем, что я делаю и зачем».

Лучшее из всего написанного тогда, бесспорно, «Санаторий Арктур». Самый маленький из всех романов Федина, поэтический, в лучших местах будто поэма в прозе. Он воспроизводит нравственный климат уединенной альпийской лечебницы для тяжелых чахоточных хроников, где вырванный из привычного существования человек в принудительном кругу ему подобных ежедневно ведет сражение за самое дорогое, что даровано свыше, — за глоток воздуха, за луч солнца, за собственную жизнь. В романе много выстраданного, лично пережитого.

С конца 20-х годов Федин болел тяжелой формой наследственного туберкулеза. От этой болезни умерла его любимая сестра Шура. Да и сам Федин, даже излечившись, всю жизнь оставался потенциальным хроником, которого чуть что сбивали с ног то воспаления легких, то хронические бронхиты и т.п. С той поры он принужден был жить с оглядкой, редко достигая беззаботной легкости тела.

С перерывами более года (сентябрь 1931 — декабрь 1932) Федин лечился в горных санаториях Швейцарии и Германии, в том числе в Давосе. Свой роман о физических недугах и борьбе со смертью Федин писал в 1937—1940 годах, в самые тяжкие годы политических репрессий. От тревог и тягостной сумятицы дня текущего хотелось бежать как можно дальше. Уйти в вечное, в освещенные солнцем горы. Прослеживая борьбу с немощами тела, художник согревал душу. И во многих ярких пейзажах и сюжетных картинах это ему удалось. Временами портят добротную ткань повествования наплывы антикапиталистического схематизма в изображении некоторых фигур да выступающее порой нарочитое состязание с «Волшебной горой» Томаса Манна.

В одной из позднейших литературных бесед Федин вспоминает, как зимой 1940 года дописывал роман «Санаторий Арктур». Происходило это не где-нибудь, а в усадьбе Льва Толстого «Ясная Поляна». Творческий настрой, конечно, всегда многое значит для художника, но какую-то роль играли, вероятно, и сознательно избираемая соразмерность замысла и обстановки. И отчасти, может быть, вдобавок опять-таки — в более мягкой форме, подстегивание творческого настроения. Что для этого не сделаешь, куда не подашься!

«Художнически я принял и понял Льва Толстого, — повествует автор, — где-то к сорока годам, когда он стал для меня наивысшим авторитетом, слегка потеснив собой Достоевского — кумира моей молодости. Несколько позднее я стал посещать Ясную Поляну. Особенно запомнился один из первых приездов — зимой. Был страшный мороз. На станции Засека меня встретил закутанный в овчину кучер толстовских времен. В доме ждала внучка Софьи Андреевны Толстая-Есенина. На половине Софьи Андреевны-старшей была отведена комната. В доме все поддерживалось, как при хозяевах. Кухарка, которая готовила Толстому, подала ужин при свечах — молоко и хлеб. Ночью я слушал тишину. Другой такой тишины нет. Фантастическая тишина. Там, в Ясной, я жил полтора месяца и окончил “Санаторий Арктур”...»

В ход могут идти, конечно, какие угодно творческие допинги и внешние позы. Что хотите, однако, Льва Толстого в данном случае из автора все-таки не получилось...

Уступки в творчестве и компромиссы в тактике поведения не могли не сопровождаться, конечно, и какими-то переменами в образе жизни. На общественном поприще Федина поддерживает и продвигает Горький, вплоть до своей смерти летом 1936 года. Он помогает ему в лечених за границей, сам опирается на него при создании единого Союза писателей в 1934 году. Федин все чаще появляется за покрытыми бархатным кумачом столами президиумов, на полукруглых трибунах с микрофонами, а его фамилия — в списках руководящих должностей. В 1937—1939 годах он — председатель Литфонда СССР. На этом попечительском для бытовых нужд писателей и, безусловно, в какой-то мере почетном посту, кстати говоря, попеременно менялись питомцы Горького — именитые «попучики»: Федин — Вс. Иванов — Леонов...

ГИМНЫ ЛЕВШЕ

Даже начальный творческий портрет Федина будет неполным, если не сказать о присущей ему устремленности к русской национальной самобытности.

Прозаик так свободно и ярко написал свои романы «Города и годы», «Братья», повесть «Трансвааль» и многое другое, потому что умел глубоко ощущать русское национальное начало, со всеми его сильными сторонами и слабостями. «Немец», как склонны был иногда именовать Федина, подразумевая штрихи прошлой биографии, хватки манер и случавшуюся рассудочность поведения, по складу натуры оставался глубоко русским человеком. Он любил Волгу, любил с другом «посидеть над рюмочкой», а Саратов и Пенза в духовном смысле значили для него не меньше, чем Москва или Нева.

В первую послевоенную пору пензенский краевед А.В. Храбровицкий прислал ему свою только что вышедшую книжку «Русские писатели в Пензенской области» (Пенза, 1946). Федин отозвался на нее большим письмом, в котором были неоспоримые для

него слова: «Такие “географии” русской литературы читателю нужны, напоминая, что культура создается всей русской землей, а не только ее прославленными центрами».

Для того чтобы дополнительно проиллюстрировать, как понимал Федин русский национальный характер, достаточно вспомнить хотя бы его отношения с несколькими выдающимися художниками-графиками. Прежде всего — с Николаем Кузьминым, передавшим в рисунках биографию лесковского героя Левши, а затем выпустившего также иллюстрированную мемуарную книгу «Круг царя Соломона», Владимиром Милашевским, создателем новой техники портретного рисунка, и Владимиром Фаворским, автором знаменитых гравюр по сюжетам «Слова о полку Игореве»... С первыми двумя из них, саратовцами по происхождению, мне посчастливилось встречаться. Свое письмо автору Н.В. Кузьмину по поводу отечественных «горемык-гениев» Федин включил в газетную статью «Новое издание Левши» (май 1956 г.). «Я с наслаждением рассматриваю рисунки, — писал он там, — и дивлюсь тому, как Вы точно ухватили и передали самый дух лесковского шедевра — это сочетание насмешливого с грустным, явного со скрытым, эту пропасть между действительностью и сказкой, а в то же время их слитное единство.

Вся эта утонченная игра Лескова, который словом одним и изворотом слова дает почувствовать свою любовь к “величайшему гению” с утраченным для потомства именем и горькую свою злобу на несчастье русской народной судьбы...»

Все мы помним, конечно, сказ Лескова, как неграмотный тульский оружейник вместе с двумя сотоварищами подковал *нимфузорию* — подарок англичан русскому государю, победителю Наполеона, Александру I. То был бриллиантовый орех, а в нем чудо заморской ювелирной индустрии — микроскопических размеров шевелящая усиками, прыгающая и танцующая кадриль стальная блоха. Ради самолюбия государева, чтобы показать, что и мы не лаптем щи хлебаем, русский умелец из народа, без всяких там *мелкоскопов* и других чужеземных изобретений явил пушее диво ювелирно-кузнечной техники. Они втроем эту *нимфузорию*

невидимыми гвоздиками подковали и даже выгравировали на подковках свои имена.

Гораздо менее памятна другая половина истории — чем же этот величайший технический гений у себя на Родине кончил. Между тем в сказе 20 глав, действуют два императора — помимо Александра I, главным образом Николай I. По существу, это маленький роман в фольклорном стиле. Лесков был замечательный народный писатель и не побоялся явить в доподлинности обе стороны национальной медали.

Чтобы утереть нос гордому Альбиону и показать талант собственной нации, Николай I вместе с подкованной блохой распорядился послать в Великобританию гениального исполнителя — мастерового Левшу, имени которого даже никто толком не знал. По государеву слову усердствовали, как всегда, впопыхах. И хотя Левшу не отправили, как он есть, битого и драного по всяким поводам настолько, что у него и волосьев на голове почти не осталось. А слегка прихорошили и одели в парадный кафтан с придворного церковного певчего. Гений техники в глазах дворцовых служителей, в их самодельной табели о рангах был равен певчему! Но при этом не озаботились выправить ему паспорт и другие *тугаменты*.

Впрочем, у аглицкой нации, как вскоре убедился Левша, «на всё другие правила жизни, науки и продовольствия, и каждый человек у них себе все абсолютные обстоятельства перед собою имеет, и через то в нем совсем другой смысл». Курьер, сопровождавший Левшу, «хотя и чин имел и на разные языки был учен», он для англичан остался без потребностей. Они его лишь три дня поили и уломали побыстрее отбыть назад в Россию. А Левшу принялись всячески обхаживать и соблазнять.

Развертывали перед ним планы образования, чтобы он овладел всеми хитростями *«долбицы умножения»*. Ведь блоха, подкованная туляками, все-таки после этого порчу поимела — прыгать и танцевать перестала. «Оставайтесь у нас, — внушали они Левше, — мы вам большую образованность передадим, и из вас удивительный мастер выйдет». Предлагали перейти в их веру и закон. Отвозили на металлические фабрики и *«мыльно-пильные*

заводы» и блага рабочего содержания расписывали. Даже англичанку в жены сулили.

На каждый из этих пунктов у Левши были твердые ответы: «Спору нет, что мы в науках не зашлись, но только своему отечеству верно преданные». «Наша русская вера — самая правильная». «Желаю скорее в родное место, потому что иначе я могу род помешательства достать».

Словом, непреклонен был народный патриот (как, впрочем, и многие реальные его последователи тогда и через века позже): хочу на Родину — и все тут.

Каждый, впрочем, идет своей тропой. Почти ничем не соблазнился на чужой стороне Левша. И если к чему-то и проявлял приглядчивый интерес, то только к старым ружьям. Не новым, а старым лишь. Зачем? — спрашивается. — Почему? Он их рассматривал, особенно дула. Палец в них засовывал, водил внутри по стенкам и вздыхал: «Это, — говорит, — против нашего не в пример превосходнейше». Англичане никак не могли уразуметь его предпочтений. А однажды Левша спросил, интересовались ли приезжие русские генералы, как он, старыми ружьями. И получив отрицательный ответ, вдруг забеспокоился и стал спешно проситься домой.

В уважении к необыкновенному народному гению англичане силком его удерживать не стали. А, напротив, щедро одарили — деньгами наградили, подарили ему на память золотые часы с *трепетиром*... Очень тепло одели и отвезли Левшу на корабль, который в Россию шел».

Корабельная поездка по *Твердиземному морю* при наступающей зиме была муторной и долгой. Тут случилось нечаянное знакомство Левши с полшкипером, умевшим говорить по-русски. Из взаимной симпатии и от нечего делать поспорили — кто кого перепьет. Но силы были равны «и до того аккуратно равнялись», что по прошествии нескольких дней обоим одновременно из морской пучины черти головы высовывать стали, хотя англичанину — рыжие, а Левше — черные. От избытка чувств англичанин уже изготовился бросить Левшу за борт, чтобы верный рыжий черт,

как ученый пес мячик, дорогого камрада немедля назад доставил. А Левша на такое испытание изъявил полное душевное согласие.

В результате обоих приятелей, продолжавших свой честный поединок, горючим для него и едой безотказно снабжали, но держали взаперти до Петербурга. «...А тут расклали их на разные повозки и повезли англичанина в посланнический дом на Аглицкую набережную, а Левшу — в квартал.

Отсюда судьба их начала сильно разниться.

Англичанина, как привезли в посольский дом, сейчас сразу позвали к нему лекаря и аптекаря. Лекарь велел его при себе в теплую ванну всадить, а аптекарь сейчас же скатал гуттаперчевую пилюлю и сам в рот ему всунул, а потом оба вместе взялись и положили на перину и сверху шубой покрыли и оставили потеть, а чтобы ему никто не мешал, по всему посольству приказ дан, чтобы никто чихать не смел. <...>

А Левшу свалили в квартале и спрашивают:

— Кто такой и откудава, и есть ли паспорт или какой другой тугамент?

А он от болезни, от питья и от долгого колтыханья так ослабел, что ни слова не отвечает, а только стонет.

Тогда его тотчас обыскали, пестрое платье с него сняли и часы с трепитером и деньги обрали, а самого пристав велел на встречном извозчике бесплатно в больницу отправить».

Долго городской ловил попутчика, потому что извозчики от такого принудительного бесплатного провоза с полицейским бегают. А Левша, полураздетый, все это время на холодной мостовой лежал. Затем Левшу, неприкрытого, повезли, перекладывая с одного извозчика на другого. А «...станут пересаживать, всё роняют, а поднимать станут — уши рвут, чтобы в память пришел. Привезли в одну больницу — не принимают без тугамента, привезли в другую — и там не принимают, и так в третью, и в четвертую — до самого утра его по всем отдаленным кривопуткам таскали и все пересаживали, так что он весь избился. Тогда один подлекарь сказал городскому везти его в простонародную Обухвинскую больницу, где неведомого сословия всех умирать принимают.

Там велели расписку дать, а Левшу до разборки на полу в коридор посадить».

В таком положении и нашел своего камрада обихоженный и прекрасным образом пришедший в себя английский полшкипер. У Левши был расколот затылок о мостовую, и он уже кончался. Однако перед смертью успел еще совершить свой последний подвиг тульского оружейника. Дождавшись прихода русского доктора, сумел внятно выговорить то, что узнал в Англии:

« — Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят; пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять не годятся.

И с этой верностью Левша перекрестился и помер».

Государю, однако, так ничего и не сообщили. И чистка ружейного ствола кирпичом парадности ради «все продолжалась до самой Крымской кампании. В тогдaшнее время как стали ружья заряжать, а пули в них и болтаются, потому что стволы кирпичом расчищены. <...> А доведи они левшины слова государю — в Крыму на войне с неприятелем совсем бы другой оборот был...

Собственное имя Левши, — заключает повествователь, — подобно именам многих величайших гениев, навсегда утрачено для потомства; но <...> его похождения могут служить воспоминанием эпохи, общий дух которой схвачен метко и верно».

Если бы только той эпохи! А не этой, не другой, не нашей! — с горечью добавим мы теперь. Но спокон веку, увы, гений и обыкновенный человек одинаково у нас обязаны стране и виновны перед властью.

«Есть книги, которые нельзя не перечитывать заново, как только возьмешь их в руки... — писал Федин в своем печатном отзыве 1956 года. — К ним принадлежит и знаменитый “Левша” Николая Лескова — “Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе”... Книгу эту не раз иллюстрировали наши художники, и среди графических воплощений лесковских героев, столь исключительных, метко выхваченных из народных былинок, красочных и глубоких, есть очень удачные, смелые, иногда потешные, часто злые и острые.

Но я нахожу, что в этом последнем издании сказа мы получили выдающиеся по мастерству, я бы сказал — конгениальные лесковским образам рисунки в красках художника Н.В. Кузьмина...»

Шесть лет спустя вышло книжное издание «Левши» с дополненными новыми рисунками Н.В. Кузьмина. На него Федин откликнулся большим письмом художнику от 5 марта 1962 года. «...В этом издании, — писал он теперь, — которое я разглядел со вниманием и восхищенно, многое отличается подробностями от прежнего и много сверкнуло вполне нового.

Отмечаю, как особенно ценное, икону Николы-угодника, новый (испуганный вместо смиренно-хитрого) портрет Левши, изящно обновленную “принцессу”, заводящую ключиком “брюшную машинку” блохи. Вообще все новые “верояции” Ваши вплоть до знака вопроса (концовка) играют и улыбаются еще выразительнее, чем раньше.

Повторю: труд Ваш конгениален баснословной легенде-трагедии Лескова. Лучше уже никто никогда не сделает рисунков, как никто не напишет другого “Левши”».

Маленькая мемуарная эпопея Николая Кузьмина книга «Круг царя Соломона» внешне представляет собой бывальщины поры детства и отрочества автора, однако полна глубоких и острых наблюдений над людьми и жизнью. События разворачиваются в маленьком городке Сердобске тогдашней Саратовской губернии. С Фединым они были как бы земляки, хотя в то время, конечно, понятия не имели друг о друге. Долгое духовное общение с Лесковым сказалось и на этих описаниях — отобранные бывальщины тонки, ироничны и мудры в незамысловатой своей простоте. «...Мне очень и очень понравился Ваш превосходный дебют в прозе! — отзывался в письме Федин 16 декабря 1960 года, когда в газете появилась лишь одна из глав будущей книги. — Только дебют ли это?»

Текст сопровождался рисунками автора. Иллюстрации к «Левше» тоже словно бы бросили ответ на эти давние видения собственной памяти. «Смотрю на Вашу бабушку и вспоминаю: моя тоже носила такой же повойничек, — замечал Федин. — После

рассказа Вашего понимаю — *почему* Вы так *зорки* к текстам, которые иллюстрируете. Писательский глаз!»

Возвращаясь к собственным жизненным впечатлениям, скажу: особый экземпляр книги «Круг царя Соломона» у меня есть. Николай Васильевич Кузьмин, седой, худощавый, скромный и улыбчивый человек, с серыми глазами, простецки одетый, подарил ее мне в редакции «Известий», где я тогда работал.

Под надписью на титульном листе — дата: 8 февраля 1967 года. Издание второе, дополненное. Оно тогда только что вышло.

Книга снабжена предисловием Корнея Чуковского. Главным условием успеха художника-иллюстратора Чуковский считает его духовное родство с автором текста. Национальные мотивы и сама музыка творчества Лескова, автора «Левши», звучали в душе Николая Кузьмина. Любимые, живые, потешные и трагические шаржи русского национального бытия, каких нарочно не придумаешь, просились на бумагу. Недаром другими шедеврами его творческой работы были иллюстрации к «Плодам раздумья» Козьмы Пруткова, к «Евгению Онегину», этой «энциклопедии русской жизни» (Белинский), а заодно уж к амурной истории о несостоявшемся прелюбодеянии — неудачной любовной охоте завязтого Дон Жуана с мнимо целомудренной молодой супругой уехавшего на лесную охоту помещика — к «Графу Нулину» Пушкина...

Собственная художественная оригинальность, подкрепленная выбором литературного родства, ввела Н. Кузьмина в первый ряд мастеров отечественной иллюстрации. Так это оценивает и К. Чуковский. «Отсюда, — пишет он, — удача иллюстраций Врубеля к «Моцарту и Сальери» (помню, какой восторг они неизменно вызывали у И.Е. Репина), удача иллюстраций Александра Бенуа к «Медному всаднику», удача иллюстраций Л. Пастернака к «Воскресению», Лансере к «Хаджи-Мурату», иллюстраций В. Фаворского к «Слову о полку Игореве»... Отсюда все триумфы такого даровитого художника, как Николай Кузьмин».

В отечественном искусстве есть пары, которые так или иначе неразделимы. В литературе такими были Мережковский и Гиппиус, в живописи Ларионов и Гончарова... Духовным спутником

Кузьмина была живописец, график и иллюстратор Татьяна Алексеевна Лебедева, избравшая себе игриво-пугающий псевдоним Маврина. Единственная из советских художников, кстати, удостоенная международной премии — золотой медали Г.Х. Андерсена за иллюстрацию детских книг. Моложе Николая Васильевича на 12 лет. Со своими представлениями о русской национальной самобытности, оба они, хотя и были отмечены всевозможными званиями и регалиями (Кузьмин — народный художник РСФСР, Маврина — заслуженный художник РСФСР, но зато она же — лауреат Государственной премии СССР и т.д.) по мироощущению и стойкому самочувствию проживали как бы в «некоем царстве, некоем государстве». И, кстати, благополучно провели свой век каждый чуть ли не до ста лет.

Федин высоко ценил нарядную красочную живопись и тонкую, аналитическую, полную углубленной мысли графику Мавриной. В июне 1973 года, побывав на ее выставке, он писал автору:

«Дорогая, глубокоуважаемая Татьяна Алексеевна!

Немало уже дней прошло с тех пор, как я долго-долго смотрел на Ваши работы в зале № 48 Третьяковки. Но каждый день то вспыхнет, то всплывет на памяти каким-нибудь пятном цвета, запечатленном в этом необычном зале.

И замечательно: так много собрано в зале цветов, такое обилие “колеров”, но глаз не обременен никакой пестротой! Все живет в чудесном покое гармонии. А в этот покой вложена т е м а художника, которую, кажется, следует назвать одним кратким словом — Р у с ь.

Прекрасно разворачиваете Вы эту тему, Татьяна Алексеевна, и редкостного вкуса Вы художник!»

Взлеты и трагедии не востребовавшихся и пущенных на свалку талантов, олицетворенных в судьбе Левши, красоты и щедроты родной земли соседствовали в русской национальной истории с подвигами героического бытия. Хотя и тут обильно пролитой крови, слез и напрасных жертв было немало. За гравюры к «Слову о полку Игореве» вместе с другими сюжетами художник В.А. Фаворский только после многих и долгих борений был удостоен высшей премии страны в 1962 году. Но еще за десять с лишним

лет до этого, 5 января 1951 года, Федин писал о них генсеку СП Александру Фадееву: «Спасибо, дорогой Саша, за письмо. <...> Вот что я хотел тебе продемонстрировать в подробностях: последнюю работу Фаворского — гравюры к “Слову о полку Игореве”. Мне принес их показать Алянский, они пойдут в Детгизе.

Это совсем новый Фаворский, по-моему, очень сильный, очень поэтический. Фигуры необыкновенно реалистичны, просты, исторически конкретны, а все в них дышит легендой. И быль, и сказка! Особенно хороши “Сражение с половцами”, “Золотое слово”, “Плач Ярославны”, “Выступление в поход”. Удивителен простор степей. И жизненность лиц. И мужество. О технике работы — что говорить!

Полюбуйся и верни мне, — я должен гравюры возвратить.

Обнимаю тебя.

Твой *Конст.*».

Одновременно Федин отправил большое взволнованное письмо автору. Благодарный Фаворский свой ответ от души сопроводил даже набором гравюр к «Слову» в дар писателю. Завязался живой контакт единомышленников. Народно-героический эпос в графике, как считал Федин, нуждался в популяризации. Тем более что у этой линии были свои высокомерные влиятельные противники в лице, например, официального живописца, верховода огромного коллективного монументального полотна «Выступление В.И. Ленина на 3-м съезде комсомола», а затем и президента Академии художеств СССР (1958) Б.В. Иогансона.

Свое мнение под названием «Письмо Фаворскому» Федин опубликовал в печати (журн. «Москва», 1957 год, № 2). Устно развивал его на заседании Комитета по Ленинским премиям той же зимой 13 февраля. В этот день — запись в дневнике: «Вечером — пленум Ленинского комитета. Два выступления — о литературе и об изобразительных искусствах. Со страшным пылом говорил о Фаворском, о его “Слове о полку...” и добился того, что все стали говорить о нем как о неоспоримой кандидатуре, наперекор откровенному скептицизму Иогансона.

Второй тур сложился для художников знаменательно. Прошли Коненков, Сарьян, Фаворский».

Через несколько недель — очередная запись: «8.IV. — Все эти дни непрестанно — заседания. Сегодня — голосованием — завершили работу по Ленинскому комитету.. Я выступал со всей убежденностью за Фаворского. Его кандидатура доведена до голосования только благодаря моей последней речи... Его включили в бюллетень, но он состязается с сильным конкурентом — Сарьяном. И шансы невелики: живопись импонирует значительнее графики...»

Так оно и вышло: премию получил Сарьян. Но свою борьбу Федин все-таки довел до конца. В 1962 году автор гравюр «Слова о полку Игореве» лауреатом стал... Но за этого художника Федин бился почти 11 лет!

Так в художественной графике сплетались вместе легенды, улыбки, кровь, слезы, трагедии и героические были.

Федин и сам неплохо рисовал. Вот еще одна история, чтобы завершить эту поистине неисчерпаемую тему. В данном случае речь пойдет об одном из историографов литературы средствами живописи.

Осенью 1966 года в журнале «Волга» я прочитал небольшой очерк Федина под названием «У истоков сказок». Писатель тонко разбирал рисовальную манеру интересного художника-графика, своего земляка, родом из Саратова. Творчества этого художника, к своему стыду, я не знал, фамилию не запомнил. А спустя месяц или два почта принесла письмо. В ту пору я получал много читательских откликов на свою прошедшую с успехом документальную повесть об А.Н. Толстом и его матери, народнической писательнице Александре Бостром «Шумное захоlustье». И у меня не враз связалось в голове, что этот москвич В.А. Милашевский, интересующийся деталями биографии А.Н. Толстого, и есть тот самый художник из фединского очерка, который в моем представлении жил почему-то непременно в Саратове.

Теперь я знаю, кто такой В.А. Милашевский. Я видел многие его рисунки, читал прекрасную книгу мемуарной прозы «Вчера, позавчера» (Л., 1972). Мне нравится яркая его графика, его артистический и слегка язвительный слог. Но это теперь. С досадой на

себя думаю: какие встречи иногда дарует судьба, а мы смотрим во встретившееся лицо, да видим лишь мелькания и блики.

«...Я делал портрет А.Н. Толстого, — сообщал автор. — Написал несколько страничек о своих встречах с ним и о том, как проходили сеансы. В своих записях по некоему повороту текста я коснулся его детства и его происхождения, так как слышал об этом в Петрограде в начале революции. Может быть, сведения, которые я получил, ошибочны, хотя особа, которая мне их рассказывала, была близка к семейству Толстых». Речь шла об отголосках не без умысла распространявшихся в дореволюционных аристократических кругах сплетни, будто Алексей Толстой «не является биологическим сыном своего отца, крупного и знатного самарского землевладельца графа Н.А. Толстого, а только по документам».

«Насколько это правильно, не знаю... — продолжал автор письма. — Мне бы не хотелось давать намеки на непроверенные факты!.. Во-вторых, прогрессивное общество, которое вы описываете в Самаре, очень похоже на то окружение моего отца и матери, которое было у нас в Саратове, в эпоху моего детства (я родился в 1893 году)...».

Через некоторое время явился и сам Владимир Алексеевич, высокий красивый старик, лет за семьдесят, в суконной шубе и с суковатой тростью в руке. Был уже ноябрь. Хорошо помню его в редакции «Известий». Можно представить себе, как я ораторствовал! Одним из результатов беседы стала копия собственноручного рисунка «Алексей Толстой за утренним кофе. 1932 год», которую прислал мне Владимир Алексеевич. На обороте подаренного рисунка сделана надпись: «В память нашей встречи, заставившей переделать все мои воспоминания в той части, в которой я шел, записав рассказы княгини Марии Дмитриевны Гагариной, которые отражали петербургские светские “слухи” и, конечно, были неверны... *В. Милашевский. Ноябрь 1966 г.*».

Рисунок интересен по замыслу и технике исполнения. Портрет создан спичкой, которая макалась в тушь. О знаменитом и удачном этом новаторстве существуют легенды. Было так... Автор предисловия к его мемуарной книге «Вчера, позавчера» искусствовед А. Савинов рассказывает: «“Издательству Московского

Товарищества писателей”, с которым, кстати, тесно сотрудничал Федин, Милашевский предложил проект типового оформления небольших книжек с портретом писателя на фронтисписе. Идея была одобрена: советских писателей в лицо на рубеже двадцатых и тридцатых годов читатели знали мало. Портреты были исполнены штрихом, тушью, без карандаша. Работа над ними заняла годы... Теперь, в тридцатых годах, создавалась обширная галерея из нескольких десятков портретов деятелей советской литературы. Среди них были прозаики В. Вересаев, Ф. Гладков, А. Толстой, А. Новиков-Прибой, К. Федин, М. Шолохов, И. Бабель, Л. Леонов, А. Грин и другие... В портретах-набросках (они делались большей частью спичкой, заточенной и макаемой в тушь) сохраняется, дойдя до нас через десятилетия, трепет “той самой” минуты, когда художник впервые угадывал в человеческом лице будущий портрет...»

К этим свидетельствам в одной из журнальных статей под красноречивым названием «Амплитуда дарования» присоединяется и художественный спутник и графический друг «Левши» Николай Кузьмин. «У Милашевского в те годы, — рассказывает он о своем сотоварище, — любимым инструментом для рисования была спичка. Да, да, — обыкновенная спичка. Он обмакивал ее в флакончик туши и рисовал. Живая линия наносилась на бумагу уверенной рукой, без поправок и колебаний и соскабливания... Спичкой нарисована Милашевским вся его галерея писателей: В. Вересаев, Ф. Гладков, А. Толстой...»

Так художник-график сотворил свою историографию современной ему русской литературы...

ВЫСТРЕЛ В ПАРТИЮ

В писательском поселке Переделкино дача Фадеева располагалась вблизи, как бы на лесном пригорке, за дачей Фебина. Можно сказать, скрытая на лесистых горных задах поселка. 13 мая прилетела жуткая весть: Фадеев застрелился. И именно друзья-соседи Федин и Всеволод Иванов по зову растерянных родных первыми прибежали в дом Фадеевых.

Для Федина, хотя они сильно сблизились в послевоенную пору, Александр Александрович, при всех к нему симпатиях, всё-таки оставался фигурой не до конца разгаданной. Из тех, с кем любишь, да оглядывайся. От него можно было ожидать всякого. Порывистый и властолюбивый, многолетний генсек Союза писателей, любимец женщин, с молодым лицом и седым зачесом густых откинутых назад волос, он умел держаться на людях, умел выступать. С трибун говорил высоким тенором, пуская то властные, то лирические фиоритуры. Причем, случалось, умел со страстью утверждать не то, что думал и к чему был действительно привязан душой. А даже прямо противоположное. Таким примером внушал, что это свойство умелого партийного лидера.

Фадеев был младше Федина на девять лет. Выросший в семье профессиональных революционеров, с молодых ногтей наделенный комплексом вождизма, Саша Фадеев был членом Компартии уже в 16 лет. В Гражданскую войну успел повоевать в партизанах и на Дальнем Востоке, и принять участие в подавлении Кронштадтского мятежа, и столь же рано обнаружить большой и редкостный литературный дар. Ему было 26 лет, когда страна начала зачитываться романом «Разгром». А сам он вскоре, вкупе с Авербахом и Ермиловым, как-то споро и быстро очутился в числе вождей РАППа, твердо наставлявших с высоких трибун и печатных площадок на истинный путь, когда и насколько требовалось, нестойких «попутчиков» за их вихляющее сочинительство вроде прозы того же Федина рубежа 30-х годов.

Впрочем, все это к той поре почти выветрилось и былшем поросло в сознании Федина, хотя, может, в каких-то скрытых извилах памяти где-то еще сидело. Теперь же оба именитых мастера давным-давно состояли в близких друзьях-приятелях. Они вместе проводили так называемые литературные мероприятия, отъезжая, переписывались.

Федин неизменно называл младшего друга «дорогой Саша». Среди многочисленной сохранившейся их переписки есть письма редкого созвучия, отзывчивости и доброты. Таков, например, обмен мнениями 1946 года, когда автор триумфально прошедшего романа «Первые радости» разбирает тоже недавно

появившийся роман «Молодая гвардия», а затем приглашает «дорогого Сашу» поделиться мыслями о его новом детище на заседании московской секции прозы, которую недавно возглавил. Все здесь пышит молодостью, радостью жизни и свежестью надежд.

Когда в декабре 1951 года юбиляру исполнилось пятьдесят, для главной речи на официальном чествовании был избран К.А. Федин. Его доклад поместила «Литературная газета». И хотя почти весь он состоит из партийно-советского сленга тех времен — «герои-большевики», «советский человек побеждает» и т.п., — свою задачу, к удовольствию юбиляра, он исполнил.

С соседской простотой, без дальних околичностей, они заглядывали друг к другу в гости. Вслух по очереди читали собственные сочинения, находящиеся в работе. Со стороны Фадеева — будь то переработка романа «Молодая гвардия», когда он после указаний Сталина о том, что в премированной лауреатской редакции произведения не показано руководство партии комсомольским подпольем, по собственной невеселой шутке, мучительно превращал «молодую гвардию в старую», или читал новые главы незадачливого романа «Черная металлургия». А со стороны Федина — роман о войне «Костер», написанием первой книги которого он был поглощен.

Один из таких случаев датирован в дневнике Федина 24 сентября 1955 года, то есть за семь с небольшим месяцев до самоубийства: «Суббота... около полудня, когда я сидел за рукописью, пришел Фадеев. Конечно, он понял, что я занят, извинился, сказал, что сейчас же уйдет, но зашла речь о том, что же я пишу, и он попросил, чтобы я прочитал (как он — мне), и я не устоял, и волнение, разговор о прочитанном, похвала, еще больше разволновавшая, и затем еще дальше зашедший разговор — все это кончилось обедом с ним вдвоем. После же обеда я только ходил и думал, как буду писать...»

Есть и письменный отзыв Фадеева об этом или подобном же «читательском» посещении дачи соседа. В письме Э.И. Шуб от 24 ноября 1955 года Фадеев сообщал: «Единственно, что было хорошим, — это в конце сентября, когда я уже заболел, но был

еще крепок на ногах и головой, зашел я к Федину, и он прочел мне чудесный отрывок из нового романа — листа на два».

Объединяло обоих писателей еще и то, что Фадеев был ближайшим и незаменимым другом Твардовского, с которым бок о бок работал Федин. Фадеев был натурой глубоко поэтической, и, может быть, именно за эти качества большее всего и любил его Твардовский.

«Александр Фадеев, — позже писал Федин, — был богато наделен чуткостью к искусству. Он ненасытно любил театр, музыку, живопись... И я уверен — больше всего он любил поэзию. Не столь уж часто встречаешь у прозаиков страсть к чтению стихов. Фадеев читал их именно со страстью, слушал, как музыкант слушает оркестр, ценил, как поэт ценит поэтов.

У него была редкостная память на прекрасное: он держал в ней песни, стихи, прозу, он слово в слово мог повторять целые страницы из великих писателей, философов, политиков. Он знал множество книг по содержанию, толпы героев по именам... Весь этот мир его памяти не был библиотекой, из которой не берут книг... Этот мир был деятельной душой художника...»

Однако не только Федину, но и другим современникам за вроде бы бронированной внешностью высокого функционера открывалось ломкое ощущение противоречий натуры. На выявлении драматизма внутренних коллизий между политиком и человеком искусства, «между писателем и государственным деятелем, между бывшим партизаном и дисциплинированным солдатом» выстроил позже мемуарный очерк о Фадееве в книге «Люди, годы, жизнь» Илья Эренбург.

Там приводились примеры:

«Фадеев иногда говорил о какой-либо книге: “Конечно, талантливо... Но поймите меня правильно — дело не в абсолютных оценках. Есть государственная точка зрения, и в этом плане книга вредная...”

Раз полушутя он сказал: “Я двух людей боюсь — мою мать и Сталина. Боюсь и люблю...”»

Был в этом мемуарном описании Эренбурга казус и с Борисом Пастернаком: «В беседах со мной он часто любовно отзывался

о писателях, которых был вынужден публично осуждать. Помню нашу встречу после доклада Фадеева, в котором он обличал “отход от жизни” некоторых писателей, среди них Пастернака. Мы случайно встретились на улице Горького возле дома, где я живу. Александр Александрович уговорил меня пойти в кафе на углу, заказал коньяк и сразу сказал: “Илья Григорьевич, хотите послушать настоящую поэзию?..” Он начал читать на память стихи Пастернака, не мог остановиться, прервал чтение только для того, чтобы спросить: “Хорошо?” Это было не лицемерием, а драмой человека, отдавшего всю свою жизнь делу, которое он считал правым».

За изображение именно этого несочетаемого драматизма натуры покойного друга, показавшегося ему чернящей и порочащей его память, отказался печатать этот очерк на страницах журнала «Новый мир» Александр Твардовский. Вся мемуарная эпопея «Люди, годы, жизнь» по мере написания последовательно публиковалась на страницах руководимого им журнала. И сам Твардовский даже считал, как впоследствии заявлял печатно, ее лучшим из всего, что когда-либо выходило из-под пера Эренбурга. Но тут главный редактор не то что уперся, но встал стеной: «Нет, нет и нет! ... Только через мой труп!»

На страницах самого свободолюбивого советского журнала эта версия внутренних причин душевного разрушения и гибели Фадеева так света и не увидела.

...И вот теперь два пожилых писателя Федин и Вс. Иванов, по тревоге родственников, задыхаясь, мчались на дачу, где произошло непредставимое... Они прибежали и с медлительным ужасом отворили дверь в спальню.

«Мне рассказывал К. Федин, — пишет К. Зелинский в уже упоминавшемся очерке, — который вместе с Вс. Ивановым первым вошел в комнату после самоубийства, что А. Фадеев лежал на кровати сбоку, полусидя, был в одних трусиках. Лицо его было искажено невыразимой мукой. Правая рука, в которой он держал револьвер, была откинута направо на постель. Пуля была пущена в верхнюю аорту сердца с автоматической точностью. Она прошла навывлет, и вся кровь главным образом стекала по его спине на

кровать, смочив весь матрац. Рядом, на столике, возле широкой кровати, Фадеев поставил портрет Сталина. Не знаю, что он этим хотел сказать — с него ли спросите или — мы оба в ответе — но это первое, что бросилось в глаза Федину».

Впрочем, на том же столике лежало запечатанное письмо, в котором сам еще недавний генеральный секретарь Союза писателей и член ЦК партии, вероятно, объяснял, как все это надо понимать и что все это значит. Однако вошедшие не посмели, да и не успели сообразить, как поступить с письмом.

Во двор дачи вкатили два черных правительственных лимузина. Из одного из них выскочил маленький белобрысый человечек. Это был Иван Александрович Серов, председатель КГБ СССР, собственной персоной. «Где письмо?» — вместо приветствий и объяснений резко спросил он. И выхватив из рук одного из присутствовавших запечатанный конверт и даже не взглянув на покойного, он вместе с сопровождающими застучал ботинками вниз по лестнице. Обе машины затарахтели и умчались.

Это пренебрежение к смерти соратника произвело на Федина особенно тягостное и гнетущее впечатление.

Что было в письме? Почему Фадеев наложил на себя руки? Какие давал объяснения собственному поступку? Долгое время оставалось неизвестным. Можно было только гадать и строить предположения. Адресованная ЦК КПСС, предсмертная исповедь преданнейшего члена партии почти четверть века таилась в секретных бюрократических архивах. Письмо впервые опубликовано 20 сентября 1990 года в официозном еженедельнике ЦК КПСС «Гласность». Вот полный текст:

«Не вижу возможности дальше жить, так как искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии и теперь уже не может быть поправлено. Лучшие кадры литературы — в числе, которое даже не снилось царским сатрапам, физически истреблены или погибли, благодаря преступному попустительству власть имущих; лучшие люди литературы умерли в преждевременном возрасте; все остальное, мало-мальски способное создавать истинные ценности, умерло, не достигнув 40—50 лет.

Литература — это святая святых — отдана на растерзание бюрократам и самым отсталым элементам народа, и с самых “высоких” трибун — таких, как Московская конференция или XX партсъезд — раздался новый лозунг “Ату ее!” Тот путь, которым собираются исправить положение, вызывает возмущение: собрана группа невежд, за исключением немногих честных людей, находящихся в состоянии такой же затравленности и потому не могущих сказать правду, — выводы, глубоко антиленинские, ибо исходят из бюрократических привычек, сопровождаются угрозой, все той же “дубинкой”.

С каким чувством свободы и открытости мира входило мое поколение в литературу при Ленине, какие силы необъятные были в душе и какие прекрасные произведения мы создавали и еще могли бы создать!

Нас после смерти Ленина низвели до положения мальчишек, уничтожили, идеологически пугали и называли это — “партийностью”. И теперь, когда все это можно было бы исправить, сказала примитивность, невежественность — при возмутительной доли самоуверенности — тех, кто должен был бы все это исправить. Литература отдана во власть людей неталантливых, мелких, злопамятных. Единицы тех, кто сохранил в душе священный огонь, находятся в роли париев и — по возрасту своему — скоро умрут. И нет никакого стимула в душе, чтобы творить...

Созданный для большого творчества во имя коммунизма, с шестнадцати лет связанный с партией, с рабочими и крестьянами, одаренный богом талантом незаурядным, я был полон самых высоких мыслей и чувств, какие только может породить жизнь народа, соединенная с прекрасными идеалами коммунизма.

Но меня превратили в лошадь ломового извоза, всю жизнь я плелся под кладью бездарных, неоправданных, могущих быть выполненными любым человеком, неисчислимых бюрократических дел. И даже сейчас, когда подводишь итог жизни своей, невыносимо вспоминать все то количество окриков, внушений, поучений и просто идеологических пороков, которые обрушились на меня, — кем наш чудесный народ вправе был бы гордиться в силу подлинности и скромности внутренней глубокого ком-

мунистического таланта моего. Литература — это высший плод нового строя — унижена, затравлена, загублена. Самодовольство нуворишей от великого ленинского учения даже тогда, когда они клянутся им, этим учением, привело к полному недоверию к ним с моей стороны, ибо от них можно ждать еще худшего, чем от сатрапа Сталина. Тот был хоть образован, а эти — невежды.

Жизнь моя, как писателя, теряет всякий смысл, и я с превеликой радостью, как избавление от этого гнусного существования, где на тебя обрушивается подлость, ложь и клевета, ухожу из этой жизни.

Последняя надежда была хоть сказать это людям, которые правят государством, но в течение трех лет, несмотря на мои просьбы, меня даже не могут принять.

Прошу похоронить меня рядом с матерью моей. *А. Фадеев*.

Нет сомнений, что многое из того, что накипело в душе и о чем говорилось в предсмертном письме, на конкретных фактах так или иначе Фадеев не раз высказывал в близком своем окружении, в том числе в разговорах с Фединым. Эти разговоры вдыхали отвагу, будили мысль слушателя. Вместе с тем Фадеев ведь и не требовал ничего особенного, как только соблюдения «ленинских норм жизни», в которые со страстью старого коммуниста продолжал верить.

Конечно, внешне весьма сходные словесные трафареты о «ленинских нормах» в то время звучали с высоких трибун и мелькали в столбцах газет. Но то были заведомые пустышки. Слова-близнецы на деле выражали разное содержание. Для Фадеева «ленинские нормы» означали обращение к романтике революционной мечты, к незапятнанным в его глазах идеалам революции. Для новоявленных трибунно-газетных говорунов то были удобные словесные трафареты — фигуры речи для фальсификации истории. Нарочито упускалось из виду, что если террор против людей художественной культуры в ленинские времена далеко и не достиг еще уровня ежовщины или других массовых пиков и вывертов сталинизма, то потому только, что у новой ленинской власти тогда еще не до всего дошли руки. Но ведь именно при Ленине под руководством Крупской составлялись первые проскрипци-

онные списки по изъятию из сети публичных библиотек многих мировых образцов и шедевров художественной литературы, при нем был отправлен в вынужденную эмиграцию «философский пароход» с лучшими отечественными мыслителями и мастерами слова, при нем за сомнительную причастность к контрреволюционному заговору был расстрелян выдающийся русский поэт Николай Гумилев и даже дружеский совет самому «буревестнику революции» Горькому для общего спокойствия пожить несколько годков в эмиграции за границей дал не кто-нибудь другой, а сам вождь мирового пролетариата В.И. Ленин...

Возвращение к истокам революции, именуемым «ленинскими нормами общественной жизни», многие передовые интеллигенты-«шестидесятники» стремились превратить в ударный лозунг дня. На этом стояли Твардовский, вскоре снова возглавивший редакцию «Нового мира», Эренбург, да и сам Федин. Но у Фадеева было одно великое преимущество перед ними, не говоря уж о пустозвонстве официальной пропаганды. Он остался верен изначальным мечтам и целям революции. Ради этих идеально понятых норм Фадеев пустил себе пулю в сердце.

Вот этого и не могло ему простить тогдашнее партийное руководство. Сначала в первом сообщении о самоубийстве была сделана попытка всячески замарать и принизить значение громкого поступка. В газетном медицинском заключении было сказано жестко и однозначно: «А.А. Фадеев в течение многих лет страдал прогрессирующим недугом — алкоголизмом... 13 мая в состоянии депрессии, вызванной очередным приступом недуга, А.А. Фадеев покончил жизнь самоубийством».

Высшее партийное начальство, вынужденное по обязанности почтить присутствием похороны на Новодевичьем кладбище, вело себя хмуро и недовольно. Передавалась фраза, изроненная Молотовым и получившая хождение: «Это он не в себя стрелял, это он в партию стрелял!» Да и Хрущев не слишком отстал от «каменной задницы», как именовал Молотова еще Ленин. «Если бы не выстрел, мы бы его похоронили на Красной площади», — рассудительно произнес он. Витал дух сталинских времен, когда даже самоубийство в безвыходном положении, без указаний сверху,

считалось, если и не прямым преступлением, то уж во всяком случае антипартийным деянием.

От писателей Москвы речь над могилой произнес Федин. В противовес обстановке она была человечной, хвалебной и возвышающей. «Фадеев умел завоевывать друзей и умел быть другом... — мягко говорил он. — За трагической чертой, которая безжалостно и жутко отделила Александра Фадеева от нас, он остается в нашем сознании прежним — веселым, красивым, пышущим красками жизни, со своими незабываемыми россыпями пронзительно звонкого смеха, другом, товарищем, прекрасным талантливым писателем...»

Надгробное слово, отзвучав, имело продолжение. Через год с лишним после трагической гибели у Федина произошел душевный разговор с Твардовским о том, что в его путешествиях по стране, воспроизводимых в поэме «За далью даль», как описывает их автор, не хватает одного друга, с которым встретиться уже не суждено.

Запись из дневника Федина от 28 сентября 1957 года: «...Был Твардовский, мирный, чуть не благолепный. Я заговорил о его Ангаре, недавно напечатанной (глава из поэмы «На Ангаре», появившейся в начале сентября. — Ю.О.), о том, что хорошо и что не понравилось (излишнее величание техники — самосвалов, за которыми исчезают и лирика, и... ум). Он согласился, что самосвалов “многовато”. Правда ведь: величие дел человеческих поэзия выражает не описанием средств и орудий делания, а волнением чувств, по виду ничего иногда не имеющих общего с самим процессом делания. Прекрасны и сильны строки, в которых Твардовский сказал о горечи своей, вспомнив друга, недостающего ему. <...> Все ведь поняли, какого друга пожалел в эту минуту поэт. <...> Никакие самосвалы, даже превосходно описанные, не идут в сравнение с этими строками отступления, с этим криком сердца, так уместно вырвавшимся в главе, посвященной славе строителей великой плотины на великой реке. Никакой реквием не прозвучит более потрясающе, нежели эти кратчайшие строки сожаления и страдания, что <...> нет больше их товарища и друга — Александра Фадеева».

Часть третья

РЯДОМ С ТВАРДОВСКИМ

Будучи членом редколлегии журнала «Новый мир», Федин работал в тесном содружестве с этим глубоко национальным поэтом. Многие годы то был удачный и плодотворный альянс.

Александр Твардовский при всей широте и многообразии творческого размаха, безусловно, был самым крупным из литературных «шестидесятников», то есть либеральных коммунистов, энтузиастов идей XX съезда, которых мне довелось наблюдать. Широколицый, скуластый, медлительный, грузный, неторопливой походкой властного и уверенного в себе хозяина, двигался он в помещениях руководимого им журнала «Новый мир».

Конечно, выдающийся художник шире всяких идеологических дефиниций. Но если иметь в виду некую идейно-политическую платформу, то означенное определение к нему все-таки приложимо.

Преобладающие черты «шестидесятничества» как общественного течения при этом можно обозначить так. Либеральный марксизм и то, что получило название «социализм с человеческим лицом»; атеистический гуманизм; дух антисталинизма (под прикрывающим флагом XX съезда партии); традиционное народолюбие русской классики... Все эти черты так или иначе представлены в общественно-политических воззрениях Твардовского, когда он вторично в течение 12 лет возглавлял журнал «Новый мир». Но, разумеется, они как-то проявлялись и ранее, в частности во время первого редактирования того же журнала (1950—1954).

Вот отчего при всех противоречиях и несхожести взглядов Твардовский в высших руководящих кругах страны оставался хотя и человеком с «вывихами», но все-таки своим. И это же обеспечивало многие годы возможности его близкого взаимопонимания и сотрудничества с главой Союза писателей Фединым.

Даже и формально Александр Трифонович в ту пору входил в высшие руководящие органы партии — член Центральной Ре-

визионной Комиссии КПСС в 1952—1956 гг. и кандидат в члены ЦК КПСС в 1961—1966 гг.

Но ведь и Федин тоже был марксистом, атеистом и социалистом, патриотом России, видевшим божество в литературе и искусстве, поклонником лучших образцов русской классики, человеком с тонким развитым эстетическим чувством. Разница между обоими писателями состояла не столько даже в оттенках воззрений, большей или меньшей их освободительной либеральности и гражданственности, сколько прежде всего в силе характера, в способности ради убеждений и признанных над собой духовных ценностей не останавливаться перед любыми жертвами, идти до конца.

Долгие годы советский режим старался относиться к А. Т. Твардовскому, большому поэту и непредсказуемому человеку, ласкательно, «душил в объятьях». Традиция была заложена еще в сталинские времена. Признания и награды — «пряники» — преобладали над ударами кнутом. Твардовский — трижды лауреат Сталинской премии (1941, 1946, 1947), лауреат Ленинской премии (1961), лауреат Государственной премии (1971). Депутат Верховного Совета СССР четырех созывов, член правления СП СССР (с 1950) и одновременно лишь с коротким перерывом секретарь правления СП СССР до 1971 г. Это был тот случай, когда власти всеми силами пытались вернуть «паршивую овцу», отбившуюся от стада.

Конечно, бороться было за что. Поэт, автор «Василия Теркина», был явлением редкостным и необычным. Духовный и стилиевой заряд его творчества кратко определил один из близких друзей — Самуил Маршак. Имея в виду современную поэзию, он писал: «До Твардовского говорили о народе, здесь заговорил сам народ».

Но власти не чурались, как уже сказано, и болевых приемов, назидательных порок. Тем более что после назначения на пост редактора «Нового мира» в 1950 году Твардовский не раз давал к тому поводы (начиная с очерков «Районные будни» В. Овечкина).

Вообще, Твардовский был слишком самостоятелен и не спешил присоединиться к «партийной линии». Противоречил ей

иногда даже с позиций консервативных. К примеру, продолжая работать над поэмой «За далью даль», в начале 1954 года он передал для публикации в журнале главу, названную с публицистическим вызовом, — «Так это было», о Сталине.

В ту пору в печати и устной пропаганде набирала силу сдавленная и чаще всего безымянная критика почившего неполный год назад «*вождя всех народов*». На страницах партийных изданий критиковали какой-то никому не ведомый «культ личности» руководителя, присущий якобы то ли народникам 70-х годов прошлого века, то ли их более современным последователям эсерам, то ли, может быть, даже японцам с их культом божественного микадо, хотя было ясно, что подразумевалось отношение к Сталину. Поэт всей душой противился этому, как ему казалось, официальному фарисейству. В предлагаемой главе были строки, дышавшие прямым общественным вызовом и оттого не допущенные в печать цензурой. В тексте главы, отпечатанной на папиросной бумаге, они ходили в Москве по рукам. Тогда впервые прочитал их и я. Протест против официального лицемерия засел в памяти:

Я жил при нем. И был я в праве
Мечтать до нынешнего дня,
Что в общем перечне названий
Он мог отметить и меня.
Что мог с досадою суровой
Иль с тайной радостью прочесть
Мою страничку, строчку, слово
Из тех, что будут или есть.
И что же? Горькая отрада
Иль, может, даже радость в том?
Что мне в стихах менять не надо
Того, что пел о нем, при нем...

Строки пронизаны внутренним протестом против скоропалительной перелицовки истории. Честному патриоту, мол, который самоотверженно и бескорыстно служил великой идее мирового социализма, не в чем себя упрекнуть и нечего стыдиться... (А значит: «в стихах менять не надо...»). Но так ли оно? Как вскоре ока-

жется, еще как надо! Хотя бы в той же поэме «Страна Муравия»... Да и во многом другом!

Федин принадлежал к поклонникам поэзии Твардовского. Его привлекал сам внутренний замысел поэмы «За далью даль»: чтобы сбросить с себя идеологический морок опрокинутой и уходящей в прошлое эпохи, разобраться в себе самом и окружающем мире — поехать по стране, смотреть широко открытыми глазами, смело и непредвзято брать «за далью даль», пройти через очищение правдой. Честно писать всё, как оно есть, как видишь и понимаешь. Внутреннее очищение — в честности взгляда и правдивости исповеди...

9 мая 1953 года, прочитав в качестве члена редколлегии «Нового мира» очередные главы этого «путешествия» в даль пространства, в глубь времени и внутрь себя, Федин писал автору:

«Дорогой друг Александр Трифонович, что же мне сказать Вам о Ваших стихах?

Это — поэзия. И я не знаю сейчас других стихов, другого поэта, которые пробуждали бы во мне чувство, называемое поэтическим, с такой неоспоримостью, как Ваши стихи. <...> Мне еще трудно сказать, какую из глав я считаю сильнейшей по воздействию — Волгу? Урал? — какая картина меня больше тронула, забеспокоила, разволновала — отцовская кузница? Прошедшая война? Иль, может быть, размышления о поэте и его горьком дне бесплодья?

Все хорошо, и пока не знаю, что лучше, но наилучшее в том, что вот прочитал, а хочется почитать еще и еще.

И совсем превосходно, что нет никакой риторики, а все очень конкретно, вещно, просто. <...> Печатать, по-моему, вполне можно (в том, что *нужно* — нет сомненья). Вероятно, все же, что будут обиды. Критиков по призванью много ли у нас? А критики по положению не поступятся “угрюмой важностью лица”.

Но, слава богу, Вы “едете, едете”: это сопоставление поэтического подъема с радостями путешествия — прекрасно!

Ваш *Конст. Федин*».

И вот на этом фоне — глава «Так это было», воспевавшая прямо или косвенно деяния и образ недавно почившего вождя народов, безжалостного тирана. Как относиться к этому? Боль, переданная

там, была подлинной, искренность написанного несомненной. Это был ожог души, пережитый миллионами людей. И Твардовский как народный поэт выплеснул боль пережитого. Но когда что-то сильно болит, искренними могут быть и самообманы.

Слепая вера вождю, пусть даже сопровождаемая фрондой к вождям нынешним, хотеть того или нет, и для поэта, и для тогдашних почитателей текста на папиросной бумаге так или иначе была, конечно, болевым инстинктом самооправдания.

Федин тут оказался в числе единомышленников автора главы «Так это было». Тем более что и в его творчестве имелись страницы и даже главы (например, упоминавшиеся «военно-исторические картины» в романе «Необыкновенное лето» и т.п.), воспевавшие Сталина. Твардовский тоже написал немало стихов и даже поэм, восхвалявших деяния и мнимые триумфы сталинского режима. Но в данном случае оба руководящих «новомировца» еще многое были склонны списывать на «историческую неизбежность», оставаясь в целом в рамках партийной марксистско-ленинской идеологии, так или иначе приуменьшать трагедии и несчастья, сотворенные со страной.

В другом письме, 7 февраля 1954 года, Федин, за исключением мелких коррективов, по существу, выражал автору свою солидарность: «Дорогой Александр Трифонович, — писал он, — глава “Далей” хороша по поэтичности, с какой в ней оживлена новым голосом не новая у нас тема “отца”. Остановив прежний разбег глав “тормозами” стона, боли, Вы всю поэму сильнее скрепляете с нашими днями, — и это тоже хорошо. Наконец, хорошо то, что у Вас не только природа, труд и народ “озаряют светлей” пережитую утрату, но в самом признании зрелости поколения, наступившей с этой утратой, заключена светлая благодарность (!) “отцу”».

Глава трагического отступления возвышает значение всего большого пути поэмы: он становится и с т о р и ч н е е. Да и для самой лирики Вашей глава эта — несомненное приобретение.

Так как Вы ожидаете услышать мой голос члена редколлегии, то, извольте, буду официален: я — за печатание главы в 3-м номере журнала.

Одно замечание. Понимаю Ваше чувство гордости, что “...Вам в стихах менять не надо того, что пел о нем при нем”. Но в этой части строф меня остановило не только желание поэта сказать о своей гордости, но не меньше его саркастическое превосходство над всеми певшими “...в словах, повторенных стократ”. Мне кажется, глава так высоко поднимается над “славословием... льстеца”, что мотив лести, неожиданно здесь явившийся, в моем восприятии ослабил тему “отца”. <...>

Будьте здоровы, дорогой, крепко жму Вашу руку.

Ваш *Конст. Федин*».

Чашу начальственного терпения от поведения неуправляемого редактора между тем переполнили четыре статьи, ставшие знаковыми явлениями послесталинского духовного поворота, — публикации, что называется, прямо наоборот. Хрущевской идеологической команде прямо бы на них опираться, но она поступила наоборот. То были, в сущности, сугубо антисталинистские статьи — В. Померанцева «Об искренности в литературе», Ф. Абрамова «Люди колхозной деревни в послевоенной литературе», М. Щеглова «“Русский лес” Леонида Леонова» и памфлет М. Лифшица — о дневниках Мариэтты Шагинян. Вящей виной и крамолой расценивалось наверху при этом намерение главного редактора опубликовать в том же 1954 году собственную, как говорилось в секретном постановлении ЦК, сатирическую «идейно-порочную и политически вредную поэму «Теркин на том свете».

В колебательный этот и в каком-то смысле даже философский момент люди более ловкие и расторопные успевали иногда отметиться дважды — и «за», и «против».

Так повел себя, например, К. Симонов, о чем, правда, позже искренне сожалел. «Я знал, — публично признавался он в записках уже после кончины поэта, — у Твардовского есть горькая обида на меня за то, что я сначала слушал в его чтении большую часть поэмы “Теркин на том свете” и хвалил ее, а потом, когда он завершил поэму и зашла речь о ее печатании, не только не поддержал его, а, напротив, высказался против публикации поэмы в журнале... Его справедливая обида на меня еще несколько лет

после этого стояла между нами...» («Несколько глав из записей об А.Т. Твардовском», 1973 г.).

Как раз в этот трудный час главного редактора решительно поддержал член редколлегии Федин. Об этом с благодарностью вспоминал сам Твардовский. Да не где-нибудь, а в открытом письме Федину от января 1968 года, целью которого была как раз критика его позиции в отношении повести «Раковый корпус» и судьбы Солженицына. В том самом письме, что ходило по рукам в литературной среде и печаталось за границей.

Между прочим, были там и такие слова: «...Федин — человек чести, человек, способный в любую минуту встать на защиту правого дела, прийти на помощь товарищу, — со ссылкой на мнение Маршака писал А. Твардовский. — Я сам имел возможность убедиться в этом, когда в труднейшей для меня ситуации 1954 года (имеется в виду канун решения о первом снятии с должности главного редактора «Нового мира». — Ю.О.) Вы нашли добрые слова в мою пользу, сказанные Вами “на самом верху” и переданные мне участниками того памятного заседания...».

Тем не менее в 1954 году Президиум ЦК КПСС внял аппаратным домогательствам чиновников Идеологического отдела — Твардовского сняли. И в редакторах «Нового мира» заменили более гибким и податливым К.М. Симоновым. Неспроста, стало быть, он за короткий срок высказывал два противоположных мнения обо одном и том же тексте...

Впрочем, жизнь шла по путаным дорожкам, так что через четыре года Твардовского вернули на тот же пост. Федин же оставался членом редколлегии при обоих редакторах.

На дворе стояла «оттепель». «Малярная оттепель», как, имея в виду перепады общественных «температур», окрестил ее Солженицын. XX съезд партии (март 1956 г.) утвердил так называемый курс на ликвидацию культа личности Сталина и его последствий, на демократизацию общественной жизни страны. Многое тогда в этом направлении действительно осуществлялось и совершалось. Однако же нередко с хмурой оглядкой и глубиной за спиной, не раз пускавшейся в употребление.

По сравнению с лютой зимой сталинизма 1953 года на дворе расплывалась теплынь общественных преобразований. Но уже осень 1956 года отметилась кровавым подавлением венгерского восстания и первыми расправами с инакомыслием внутри страны.

И однако после десятилетий террора и кладбищенской тишины набирало темп духовное пробуждение. В период XX — XXII съездов партии возродилась надежда на возвращение к чистоте былых революционных идеалов. На этой волне возникло движение «шестидесятничества», развернули деятельность не только журнал «Новый мир», но и театр «Современник», Театр на Таганке Ю. Любимова, театр Товстоногова в Ленинграде... Создавалась богатейшая по соцветию имен литература, яркий кинематограф.

«Новомировство» под водительством А. Твардовского стало главным оплотом и наиболее ярким выражением духовного «шестидесятничества». Под синей своей обложкой журнал умел объединить все то лучшее и живое, что могло прорваться и пролезть сквозь цензурные рогатки. Причем палитра имен была гораздо шире самого направления.

Перечень известен, но все же стоит повторить. Здесь печатались А. Твардовский, А. Солженицын, А. Ахматова, И. Эренбург, В. Гроссман, В. Катаев, К. Паустовский. С. Маршак, Ю. Домбровский, В. Некрасов, Ю. Трифонов, Б. Можаяев, А. Яшин, В. Шукшин, В. Белов, А. Синявский, Ю. Казаков, В. Тендряков, В. Панова, И. Грекова, К. Воробьев, Ф. Искандер, В. Семин, В. Быков, Ф. Абрамов, Ч. Айтматов, Г. Троепольский, С. Залыгин, Г. Владимов, В. Войнович... Многие из этих авторов были впервые открыты и выпестованы журналом. А иные за отчетливую узнаваемость позиций и регулярность журнальных публикаций в обиходе даже так и назывались — «новомировские прозаики».

Под руководством Твардовского «Новый мир» превратился в собирателя здоровых духовных сил страны, в негласный орган литературной оппозиции. В какой-то зародышевой форме в ситуациях исключительных он даже играл роль оппозиционного режиму литературно-политического клуба. Выдающийся художественный и редакторский талант Твардовского, его честность, мужество и воля, — вот что прежде всего обеспечивало столь не-

обычную роль подцензурному ежемесячнику, выпускаемому на уличном московском задворке, за Пушкинской площадью, группой единомышленников.

Федин, как уже сказано, был членом редколлегии журнала «Новый мир» оба редакторских срока Твардовского (1950—1954; 1958 — февраль 1970). И если маститый прозаик временами исполнял свою должность иногда и без особых перегрузок, то работали они с творческим взаимопониманием. Доверяли друг другу. Первую книгу Ю. Трифонова — роман «Студенты», принесший Сталинскую премию сыну «врага народа», как помним, рекомендовал Твардовскому Федин. Он же на примере рукописи романа «Товарищи по оружию» пестовал прозаика Константина Симонова...

В 1961 году по предложению Федина и с его вступительной заметкой в «Новом мире» были опубликованы воспоминания вдовы расстрелянного Михаила Кольцова Е. Ратмановой-Кольцовой о муже и литературных событиях той поры. В № 9—10 журнала за 1965 год по рекомендации Федина и с его печатным напутствием публиковались мемуары В.М. Конашевича «О себе и своем деле. Записки художника». В июньской книге за 1967 год своей рекомендацией и предисловием Федин пробил появление на свет рукописи издателя «Алконоста» С.М. Алянского «Встречи с Александром Блоком». Список, в котором преобладают культурно-исторические ценности, можно длить.

Твардовский с Феदिным совместно обсуждали некоторые поворотные явления литературного процесса (вроде, скажем, прозы Шукшина или дебюта Солженицына). Заодно действовали и в самых сложных ситуациях.

Вместе с главным редактором и его командой Федин в 1962 году твердо стоял, например, за публикацию повести «Один день Ивана Денисовича». Однако же на людях действовал иногда, может, уже с обретенной к той поре после публичных побоев и официальных возвышений тактической гибкостью.

Л. Сараскина в биографии «Солженицын» приводит такую дневниковую выдержку из дневника зам. главного редактора журнала: «Как записал В. Лакшин в июне 1962 года, Федин очень

хвалил Солженицына. “Вы сами не знаете настоящей художественной цены этой повести Солженицына”. Но написать на бумаге отзыв боится. “Ну, вот только не знаю, как вы это печатаете? — сказал еще Федин. — А папе (то есть Хрущеву) показывали?” — спросил он...»

Любая топорная заданность губит многоголосие жизни. В ту пору Федин был уже не только членом редколлегии журнала, но и первым секретарем Союза писателей СССР. А занимаемый пост диктовал, конечно, собственные правила политеса и обхождения.

Твардовский, напротив, впоследствии подчеркивал важнейшую роль мнения Федина при решении участи «Одного дня Ивана Денисовича». Причем отмечал это даже в неблагоприятный вроде бы для их отношений момент. В своем январском публичном письме 1968 года Федину по поводу запрета на публикацию «Ракового корпуса» А. Солженицына, получившем хождение в литературной среде, он писал: «Ваша высокая оценка рукописи, поступившей в “Новый мир” от безвестного автора, сыграла свою роль в ее судьбе: ставя вопрос об опубликовании ее, я особо ссылался на Вас...» («Иван Денисович», как известно, был напечатан «с ведома и одобрения ЦК КПСС».)

Отмечу вдобавок, что сам Твардовский, ближе знавший Федина и лично, и творчески по перевалам пройденных литературных дорог, относился к этому необычному члену редколлегии гораздо лучше и душевней, чем часть его редакционной команды, из числа молодых, не избегавшей поветрия расхожих московских литературных веяний насчет Чучела Орла.

Вообще в мировоззренческих позициях Твардовского и Федина было гораздо больше перекличек и совпадений, чем это представлялось иным энтузиастам и поклонникам журнального вождя «шестидесятничества».

Взять отношение к религии, начавшей стремительно возрождаться в хрущевскую эпоху. Твардовский был куда более рьяным и воинствующим атеистом, ее ниспровергателем, чем Федин.

Один только пример. Издавна, когда еще мало кто слышал о прозаике Вере Пановой, Твардовский выступил рьяным почитателем ее таланта. В первую послевоенную пору, будучи членом

редколлегии журнала «Знамя», он пробивал на страницы этого журнала повесть «Спутники» — о передвижном военном госпитале фронтовых лет, который некогда довелось сопровождать Пановой. С этой яркой вещи и грянула тогдашняя слава прозаика. Она же определила и дальнейшие отношения двух писателей. Позже, в «Новом мире», по свидетельству зам. главного редактора Кондратовича, Панова входила в число нескольких авторов, которых Твардовский «читал, минуя отделы, и редактировал сам». Произведения писательницы всегда были желанными и долгожданными в редакции.

Но вот Вера Федоровна обратилась в верующего человека. После долгих трудов и исследований написала одну из лучших своих книг «Лики на заре». В сборнике исторических повестей исследовала зарождение и становление христианства на Руси и его переменчивые судьбы на разных исторических изворотах эпох раннего Средневековья. Обрисовала яркие живые фигуры первых христианских подвижников, в том числе тех, которые стали основателями Киево-Печерской лавры, вроде святого подвижника Феодосия... Показала реальные духовные трудности и сложности жития первых святых и религиозных просветителей, их отношений с мирским окружением, церковными и светскими властями.

Рукопись, как водится, оказалась в «Новом мире», на столе у Твардовского. И что же? Давний ее почитатель ответил острым исполненным ядовитой иронии письмом от 21 июля 1966 года.

На сей раз главный редактор не церемонился и в духе атеистических брошюр той поры крыл напрямую. Оценивая центральную вещь «Ликов на заре», Твардовский так пояснял причину отказа печатать повести: «Что же касается “Феодосия”, то тут просто получился образчик житийного жанра. Ведь Вы трактуете об известной эволюции христианской идеологии, о ее кризисе, сращивании с государственностью, а следовательно, вынуждены всерьез, без всякой иронии повествовать о пещерных подвижниках, умерщвлении плоти и т.п. Я уверен, что где бы это ни было напечатано, верующие будут вырезать этот рассказ, читать и умиляться, — давненько такого не доводилось воспринимать с печатной страницы. Словом, это оказалось совсем, совсем не ко двору журналу “Новый мир”...»

Беллетристическое обращение к судьбам религиозной идеи, да еще с мотивами ее приятия, в глазах редактора журнала «Новый мир» заслуживало лишь ядовитой иронии. Федин тут был куда ближе к традициям мировой классики — Достоевского, Толстого, Томаса Манна... Оставаясь атеистом, он допускал пользу религии как вида гуманизма и жизнеспасения на Земле.

Словом, в общественных позициях и взглядах обоих писателей было много общего. Это и позволяло им часто дружно и со взаимной пользой работать. Они вслушивались, как мы уже видели, в мнения и творческие подсказки друг друга. Совместно продумывали даже текущие «календарные» нужды и заботы журнала. Например, как лучше отметить 50-летие со дня смерти Льва Толстого, для чего Федин еще летом 1959 года выезжал в Ясную Поляну. Оба выдвигали для публикаций на его страницах оригинального прозаика И.С. Соколова-Микитова.

Этот человек был дополнительной объединяющей фигурой. Для обоих к тому же еще и как бы общим «мостиком» к Бунину.

На дому у Соколова-Микитова часто бывали оба — и Твардовский, и Федин. Иван Сергеевич обладал влекущим душевным зарядом.

Крестьянин по духу, охотник, рыболов, моряк, землепроходец, корневой «почвенник», ровесник Федина, он был старше Твардовского на 18 лет. Сблизились и подружились земляки со Смоленщины сравнительно поздно — лишь в 1955 году. Но Твардовский проникся к Ивану Сергеевичу почти сыновним чувством. Только сохранившаяся их переписка с той поры до 1971 года, по сведениям вдовы поэта М.И. Твардовской, насчитывает «примерно полторы сотни писем».

Что же касается Федина, то они с Соколовым-Микитовым взаимно считали себя побратимами. Ровесники, тогда еще тридцатилетние, они познакомились летом 1922 года в Петрограде, в редакции журнала «Книга и революция», где работал Федин.

Наделенный крупным самобытным талантом, без суетности и грызущей ревности тщеславия, довольствовавшийся чем Бог послал, лишь бы оставаться в ладу со своей совестью, более всего

на свете ценивший простые радости бытия, доступные каждому, обладавший ясным умом и народной сметкой, Соколов-Микитов был для Федина образцом писателя и человека.

В начале 20-х годов Федин в летние месяцы стал приезжим завсегдаем в деревнях Кочаны и Кислово на Смоленщине, в доме Соколова-Микитова. Большинство произведений сборника «Трансвааль» (1927 г.) и сама одноименная повесть выросли в итоге здешних пребываний. «Единственный ты у меня брат на этой земле», — вырывалось у Федина в письмах 1926 года. Теперь их переписка, более чем за полвека, занимает увесистый том.

В свою очередь Соколов-Микитов ценил в Федине дарованную тому способность «объясняться с историей», воплощать в картинах психологию людей во времени, движение эпохи, склонность того к многосложному искусству романа.

Словом, дружба этого городского человека и деревенского, эпика и лирика, вольного чувства и сфокусированной мысли, сердца и разума, если иметь в виду сравнительное преобладание того и другого в каждом случае, отчасти держалась и на взаимных различиях, даже на контрастах — не только на сходстве. Однако она была всегдашней.

«В лесной деревеньке Кочаны... — обращаясь через печать к Федину в связи с его 70-летием, вспоминал в 1962 году Соколов-Микитов, — ты дописывал свой первый роман “Города и годы”, там же зачиналась твоя книга “Трансвааль”... Прообразы “деревенских” героев рождались и жили на знакомых нам лесных скромных речках, воды которых извечно питают родную тебе великую русскую реку матушку-Волгу...»

Цель земного существования для сочинителя Соколов-Микитов однажды печатно определил так: «Художник — даже с малым, но истинным талантом, не может жить только для себя. Сердце его принадлежит людям. В этом его счастье и оправдание. Даже если согрешит, собьется с пути художник — нужно ему великодушно простить. Разве не чудо: биение моего сердца слышат тысячи людей! Самый страшный, смертельный грех для художника, его окончательное падение — ложь».

Сам Соколов-Микитов, знаток русского крестьянства, у которого представлена в сочинениях 20-х годов самая пестрая и неприкрашенная правда — «и мужики, и земля, и самогонщики, и всякая всячина первых лет революции в деревне», решительно запретил себе, например, касаться темы коллективизации, как она осуществлялась в стране на рубеже 30-х годов. В тогдашних условиях это значило бы лгать, притворяться или следовать государственной мифологии.

Александр Трифонович, автор поэмы «Страна Муравия» (1934—1936), всем сердцем любивший Соколова-Микитова, еще и в 1955 году сокрушался. Дескать, тот много «потерял, уйдя от коллективизации в дальние охотничьи путешествия, в Заполярье, ледовые походы и т.п.». (В этой тематике действительно находил себе пристанище Соколов-Микитов.) При любых обстоятельствах такое бегство, мол, «все равно не прощается художнику — оттого он и грустен, сам понимает, что жизнь прошла не на полную мощность».

Все оно так. Но нелишне было бы учесть и собственный горький опыт с поэмой «Страна Муравия». При мастерстве стиха произведение это — мифологический сказ, стилизованный под некрасовское «Кому на Руси жить хорошо». Вроде бы перенявшее простонародный речитатив великой поэмы, но во многих сюжетных поворотах и персонажах лишенное ее безоглядой правдивости. Из агитационного умысла проистекают упрощенные сюжетные картины и персонажи, поданные с нарочитой плакатной огрубленностью. Таковы здесь и вороватый кулак-перевертыш, бежавший из ссылки и ловко разыгрывающий теперь роль уличного слепца-попрошайки с фуражкой для монет на земле, и служитель православного религиозного культа, перекупающий у бывшего кулака украденную (!) тем лошадь Никиты Моргунка, и мифический народный заботник Сталин, в одиночестве разъезжающий со своей трубочкой по сельским весям, чтобы воочию, изнутри познавать народную жизнь, и горевые единоличники — заживо гниющие лежебоки, несусветные лодыри из бедствующей единоличной деревни и т.д. Выходит, колхозники — трудяги, а эти, злополучные частники, — лодыри...

Конечно, знавший трагедию «великого перелома» талантливый поэт, насколько мог, пытался не замалчивать правду. Из-под пера выходили картинки «раскулачивания», которому подверглась и собственная родительская семья:

Их не били, не вязали,
 Не пытали пытками.
 Их везли, вели возами
 С детьми и пожитками.
 А кто сам не шел из хаты,
 Кто кидался в обмороки —
 Милицейские ребята
 Выводили под руки...

Но такие строки поэту удалось опубликовать лишь в 1966 году. А в 1937 году за неосторожную их декламацию под застольное настроение — их так называемую «пропаганду» — был арестован и отправлен на Воркуту ближайший его друг и почти одноклассник критик и литературовед А. Македонов. В первопечатных же текстах сохранялись разве глухие намеки на Соловки или непосильные налоги на единоличников...

Была, правда, в поэме как бы уравновешивающая глава, взывающая к разуму и обузданию деревенских опричников. Тот самый воображаемый разговор Никиты Моргунка с плодом его фантазии — тоже воображаемым вождем, философски разъезжающим на коне со своей трубочкой по деревенским пределам. Моргунок смело вопрошает:

— Товарищ Сталин! Дай ответ.
 Чтоб люди зря не спорили:
 Конец предвидится иль нет
 Всей этой суетории?
 И жизнь — на слом,
 И все на слом
 Под корень, под чистую,
 А что к хорошему идем,
 Так я не протестую...

Конечно, назвать великую сталинскую революцию в деревне «суеторией» — шаг дерзкий. Но ведь говорящий ни в коем случае

не злопыхатель. Этот чудака хорошо понимает, что «к хорошему идем» и какого-либо супротивничества и бузотерства ни по какой стати затевать не собирается. Переход к коллективному хозяйствованию, в колхоз значит лучше чем то, что испокон веков водилось на земле прежде. Моргунок лишь по-простецки, по-деревенски высказывает вождю, что дело это сложное и действовать надо осторожно и не торопко. Но ведь и сам вождь вроде бы не раз давал образцы сходных пропагандистских заявлений.

К тому же у него, Моргунка, отчасти деревенского чудака, вдобавок имеется еще и личная просьба, к которой могут, наверное, присоединиться и другие охотники до химер, коли таковые отыщутся. Надо лишь не травить, не гнать просящих, а дать им насладиться своими особенностями и чудачествами. Моргунок продолжает:

Теперь мне тридцать восемь лет,
Два года впереди.
А в сорок лет зажитка нет,
Так дальше не гляди.
И при хозяйстве, как сейчас,
Да при коне
Своим двором пожить хоть раз
Хотелось мне.
Земля в длину и в ширину
Кругом своя,
Посеешь бубочку одну
И та — твоя.
Пожить бы так чуть-чуть... А там
В колхоз приду,
Подписку дам!

Вот так — даже и подписку даёт!

...И с тем согласен я сполна,
Что будет жизнь отличная.
И у меня к тебе одна
Имелась просьба личная.
Вот я, Никита Моргунок,
Прошу, товарищ Сталин,

Чтоб и меня и хуторок
Покамест что... оставить.
И объявить: мол, так и так,
Чтоб зря не обижали,
Остался, мол, такой чудак
Один во всей державе.

«Один во всей державе» — это седьмая глава, близкая к зачину поэмы. Дальнейшее сказовое развитие и призвано убедить героя, а с ним и читателя, что все такие колебания и сомнения были от недомыслия и деревенской темноты. Моргунок, конечно, чудак, но он наш чудак, наш, во всех нутрях колхозный... А о необходимости чутко относиться к болезненному чувствулищу вековой крестьянской частнособственнической психологии и не перегибать с темпами коллективизации, то ведь опять-таки об этом не раз предупреждал и сам прозорливый вождь народов товарищ Сталин, начиная с известной своей статьи «Головокружение от успехов» (март 1930 г.)...

В какой-то мере выручала автора полушутливая мифологическая форма поэмы. Все это вроде бы и всерьез, однако в то же время как бы и речитативы победного балагурства. Кровоточащая народная рана, какой в реальности явилась коллективизация, нередко обращалась в серию легковесных картинок, хотя и созданных талантливым пером. Так, подражая Некрасову, сочинял некогда свои лубочные агитки о народной жизни в эпоху Гражданской войны, а потом и о той же коллективизации еще один из его предшественников, хотя и не столь щедро талантливый, Демьян Бедный.

Часто в картины происходящего в «Стране Муравии», подобно увеселительной трещотке, врываются победительные переплясы торжествующей колхозной нови. То в виде счастливой колхозной свадьбы, где жизнерадостный жених, конечно же, — тракторист, держащий жизнь, как коня под уздцы, через два слова на третье повторяет бодрое присловье: «Слава Богу, Бога нет!» То в виде вытанцовывающей по кругу и счастливо голосащей частушки деревенской девицы с расписным платочком в руке:

Меня замуж взять хотели —
Не сумели убедить:
Неохота из артели
Даже замуж выходить.

Наиболее самобытен и правдив все-таки главный герой — пытливый Никита Моргунок. Важны его переживания, его взгляд на события, без чего поэма бы не состоялась и развалилась на куски. Крестьянин, привязанный к привычному деревенскому укладу, к традициям поколений. «Посеешь бубочку одну и та твоя» — все-таки его душевная привязанность, его вера и убеждение. Труженик и собственник по натуре, Моргунок хочет хоть на какое-то время остаться единоличником. Но идет эпоха сплошной коллективизации, переворачивающая прежний уклад, как плуг земельные пласты. И чтобы убедиться, где же истина, уподобляясь героям Некрасовской поэмы, Никита Моргунок отправляется в свое долгое странствие, правда, конное, по деревенской округе, — искать счастливую бесколхозную «страну Муравию».

«Страна Муравия» принадлежит к облюбованному автором и в дальнейшем жанру так называемых проблемных поэм, где живописуются и истолковываются важные идейно-политические события эпохи. В большом по объему произведении немало искренних страниц, выразительных картин и психологических характеристик. Даже в незамысловатых переплясах чувствуется рука талантливого мастера. Но итог поисков главного героя заведомо предрешен. В конце поэмы неугомонно пытливый Никита Моргунок (фамилия тут ведь тоже что-то значит — моргавший и проморгавший, по-видимому, что-то важное в событиях эпохи?) лишь вынужден всенародно покаяться, что столько сил и дней понапрасну потратил на бесцельные скитания, тогда как их можно было обратить в весомые колхозные трудодни. Что с одобрением встречается толпой окруживших героя счастливых колхозных сельчан, нередко напоминающих, впрочем, искусственно изготовленных пейзажей.

Вот отчего даже Горький, некогда призывавший молодого поэта Твардовского крупно воспеть колхозное преображение российской деревни, первый вариант поэмы сопроводил суровой

оценкой: «Не надо писать так, — отзывался он, — чтобы читателю ясны были подражания то Некрасову, то Прокофьеву, то набор частушек и т.д. Автор должен посмотреть на эти стихи как на черновик. Если он хочет серьезно работать в области литературы, он должен знать, что “поэмы” такого размера, то есть в данном случае — длины — пишутся годами...»

Но просчеты формы обусловлены нарочитыми заготовками смысла. Конечный вывод, к которому ведут все сельские скитания и мыслительные поиски бродячего героя Никиты Моргунок, известен заранее — для одиночника нигде нет лучше, чем в колхозе. Для советской литературы поэтическая «Страна Муравия» Твардовского стала, может, и не таким значительным художественным созданием, как шолоховский роман, но своего рода второй «Поднятой целиной», произведением того же плана, только на сей раз не в прозе, а в поэзии.

Федин был старше Твардовского на 18 лет. Но между первыми звучными дебютами обоих писателей, давшими им имя в большой литературе, — между романом «Города и годы» о погибшей под давлением жизненных обстоятельств любви и поэмой Твардовского о якобы счастливой деревенской нови — есть известная перекличка своих в каждом случае трагических автобиографических смыслов. Прямых или косвенных духовных компромиссов.

Федин за право стать одним из крупнейших писателей заплатил подавлением глубокого чувства, изменой в любви. Озорная и голосистая вроде бы «Страна Муравия» вместе с тем — поэма душевных ран. Нигде нет лучше, чем в колхозе?! И это заявлял человек, у которого был раскулачен отец, деревенский кузнец, и в дальние ссыльные сибирские края загнаны самые близкие люди — вся родительская многодетная семья.

Отец Трифон Гордеевич Твардовский, великий труженик, всю жизнь вертелся между жаром горна-наковальни и тощей полоской глинистой земли. За это он удостоился бранной клички — «кулак». Вся семья, включая отца, мать и младших братьев, оказались в ссылке в Северном Зауралье. Сам Александр избежал общей участи только во внимание к его идейной комсомольской убеж-

денности, селькоровской активности и первым стихотворным опусам типа поэмы «Путь к социализму» (1931 г.).

Брат поэта Иван Трифонович Твардовский позже в мемуарной книге «На родине и на чужбине» воссоздал тогдашние семейные обстоятельства. В ссылке, пишет он, «пришло от Александра два письма. Первое было чем-то обнадеживающим, что-то он обещал предпринять. Но вскоре пришло и второе письмо, несколько строк из которого я не забыл до сего дня. Не мог забыть. Слова эти были вот какие:

“Дорогие родные! Я не варвар и не зверь. Прошу вас крепиться, терпеть, работать. Ликвидация кулачества не есть ликвидация людей, тем более — детей...”

Письмо этим не кончалось, сидела в строчках чуть скрытая готовность к разрыву: “...писать я вам не могу... мне не пишете...” <...> Больше он не писал и о судьбе нашей ничего не знал до 1936 года».

Впрочем, случилось еще и гораздо худшее. Когда раскулаченный кузнец с меньшим сыном Павлушей бежал из холодно-комариного ссыльного края и явился за поддержкой к сыну — начинающей литературной знаменитости — в Смоленск, тот, устремив твердый взгляд светлых глаз мимо обоих, выговорил четко: «Я могу помочь только тем, чтобы бесплатно вернуть вас туда, откуда вы бежали». Таков был этот юный боец партии.

Суровый нравственный расчет с самим собой Александр Трифонович провел десятилетия спустя в поэме «По праву памяти», послужившей в 1970 году одним из поводов для расправы с непокорным редактором журнала «Новый мир». Но это произойдет почти через сорок лет.

А в середине 30-х годов поэма «Страна Муравия» ввела Твардовского в большую литературу, на все лады была воспета советской критикой, получила Сталинскую премию. Но читать ее теперь могут разве дотошные историки литературы, а публично заговорить главный болезненный изъян не удастся даже самым пылким приверженцам поэта.

Итак, Федин и Твардовский были ближайшими журнальными коллегами эпохи «оттепели»... В их отношениях иногда про-

скальзывала и усталая умудренность от переживаний былых лет. Твардовский хорошо знал и высоко ценил лучшие произведения Федина, в том числе и о русской деревне. Об этом он прямо заявляет и в своем критическом «Открытом письме»: «Я знаю Вас, Константин Александрович, как писателя с моей ранней юности, — высказывается он там, — когда впервые прочел Ваш “Трансвааль” (кстати, не помню, чтобы Вы письменно или изустно каялись, когда, где-то в конце 20-х годов, Вас обвиняли за эту вещь в “апологии кулачества” и т.д.)».

Твардовский высоко ставил Федина как мастера литературы, считал своим союзником также и вне журнала.

В 1961 году Твардовский за поэму «За далью даль» был удостоен Ленинской премии. А Федин в том же году начал печатать в «Новом мире» роман «Костер». Главный редактор ценил уже близкую тогда к завершению первую и, кстати, художественно наиболее сильную книгу романа. 16 августа, прочитав журнальную верстку, Твардовский писал автору из Барвихи: «Здесь прочел продолжение “Костра” в верстке... Читал и радовался за Вас, за нас и за читателя, который уже столько лет не имел такого основательного чтения».

В сюжетных историях о людях искусства Твардовский выделял, в частности, фигуру писателя Пастухова (близким прототипом в данном случае являлся А.Н. Толстой, друг и приятель романиста, чья способность к изготовлению драматургических поделок составляла не самую сильную сторону этого многогранного выдающегося таланта). «...Герой Ваш в этой книге, — писал Твардовский, — начинает жить более сложной и трудной жизнью, чем в предыдущей, и он от этого становится, по человечеству, симпатичней и ближе читателю».

В качестве мелких погрешностей главный редактор называл отдельные, «совершенно блошинные» случаи «архаичного словоупотребления: м.б., нарочито архаичного». И приводил примеры из лексикона того же Пастухова. Скажем, слово «билет» в смысле дензнака («тридцатка», «сотня», «десятка») или слова «автомобиль»: «“Автомобиль” тоже говорят иные, но среди множества машин “автомашина” (кажется, в документах ТАСС) — в жи-

вом языке стала только “машина”. Или еще: “на театре” — это в какой-то мере для форсу говорят околomхатовские круги, но у Вас так говорит, кажется, Парабукин (на вокзале, когда пьют пиво)». Твардовский не настаивал на своих замечаниях: «Это говорит не редактор, а Ваш читатель, из Ваших коллег».

21 августа 1961 года Федин ответил большим письмом. Спор мастеров такого класса о языковых тонкостях всегда любопытен. Стоит поэтому чуть развернуть то, что пояснял Федин.

Театральный классик Александр Владимирович Пастухов, большая часть жизни которого прошла до революции, — человек консервативных привязанностей, оберегающий свой душевный комфорт от излишних вторжений, в том числе без крайней необходимости — и от новых словечек. Недаром и по пристрастиям своим он — антиквар, знаток и любитель старины (также приметы, перешедшие от прототипа — А.Н. Толстого). К тому же маститый драматург в собственном представлении и в глазах домашних — персона исключительная. И обладатель он не какой-нибудь заурядной «эмки», а заграничного «кадиллака». Нет, Александр Владимирович не станет переучиваться и без крайней необходимости переходить на новые словечки. Пусть у всех других будут «машины», у него, Пастухова, единственный в своем роде «автомобиль» или «кадиллак».

«Автомобиль» и «кадиллак» и употребляются обычно в романе, когда изображение дается через восприятие Пастухова. Вот почему, когда этот законодатель здешнего репертуара, оскорбленный недооценкой новой своей пьесы руководством Малого театра, величественно удаляется из оскорбивших его пределов, — искать решений «наверху», — он усаживается «в автомобиль, чтобы ехать в Комитет по делам искусств». И откидывается на сиденье собственного «автомобиля» и т.д. И разве что в случаях исключительных Александр Владимирович может назвать свой «автомобиль» или «кадиллак» — «машиной». Зато для Матвея Веригина хозяйский «кадиллак» — машина, как и другие, на которых он работал шофером.

«Живет и “автомобиль”, — утверждал в письме Федин (хотя я раз двадцать называл его в романе “машиной” ...). И продолжал: «О выражении “на театре”. Вы говорите правильно: это актер-

ское жеманство последних десятилетий... Но я вложил Павлу Парабукину в уста актерское “на театре” во внимание к тому, что так *уже могла* сказать его знаменитая сестрица, почитающая околomхатовские “авторитеты” и сама чрезвычайно авторитетная для младшего брата, ею вынянченного».

Так они объяснялись. И этот обстоятельный неторопливый разговор двух знатоков и мастеров языка передает их тогдашнее творческое и человеческое согласие.

...У хронометра истории свой ход времени, с которым как будто бы никак не связана твоя бегущая секундная стрелка. Но минуют десятилетия, и на каком-то повороте событий открывается вдруг, что и этот маленький приткий бегунок отстукивал и спешил не сам по себе, а под скрытым давлением пружин эпохи.

СПОРЫ С НАСТАВНИКОМ

Несмотря на волны признательности к учителю, рано стали возникать и первые несогласия с ним. С молодым поколением так, наверное, бывает всегда. Иные расхождения надолго оставляли по себе духовные меты, как, например, получилось у нас при оценке судьбы «Ракового корпуса» Солженицына. Что-то возникало и растворялось в воздухе, будто его и не было. Другие несогласия копились и зрели постепенно.

Случай, относящийся к лету 1962 года, вылился даже на страницы печати. Федин подробно среагировал на него в письме. Речь шла об одном из центральных эпизодов той самой первой книги романа «Костер», которую печатал у себя в журнале Твардовский и где оба советских классика среди прочего на стадии верстки увлеченно обсуждали языковые краски некоторых действующих лиц.

Роман в целом посвящен эпохе Отечественной войны. В этой заключительной части трилогии автор отважился на дерзкий беллетристический эксперимент. Своих героев, в том числе коммунистов Рагозина и Извекова, романист, будто на машине времени, переносит из переломного и победного года Гражданской войны 1919-го в пик политических расправ и посадок, когда бритва сталинских репрессий срезала головы поколения, свершившего

революцию, — в 1937 год. Для начала он окунает их в эпоху внутренних разборок, кровавой мясорубки. Подтверждался давний афоризм: «Революцию задумывают мечтатели, делают герои, а выгоду из нее извлекают негодяи».

У меня хранится письмо К.А. Федина от 23 июля 1962 года — ответ на мою статью в журнале «Сибирские огни», посвященную как раз первой книге романа «Костер». Из письма видна суть возникшего у нас тогда спора об изображении «психологического удара», перенесенного политическим «штрафником» Извековым в самую истребительную пору ежовщины.

Федин взялся за актуальную тему. Однако же по остроте анализа романисту далеко до почти одновременно с ним печатавшегося «Одного дня Ивана Денисовича» Солженицына. Безвинно проштрафившийся участник Гражданской войны Извеков проходит кругами «чистки» все-таки в шадящем режиме. Нет здесь ни садистов-следователей, ни ночных арестов, ни тюрем, ни пыток, ни бескрайних обитателей ГУЛАГа... Представлены лишь однотонные, как близнецы, типовые кабинеты и безмолвные коридоры тогдашних высших партийных инстанций — ЦК ВКП(б) и его Центральной Контрольной Комиссии. С оклеветанным коммунистом беседуют в конце концов его же партийные товарищи.

Между тем на повальные расправы 30—40-х годов у меня была особая личная рана. Я дважды пережил все тяготы и последствия арестов отца, заводского инженера-экономиста. Один из ночных арестов происходил при мне, тогдашнем второкурснике МГУ. Мы немало перестрадали во время пребывания отца в лагерях и ссылке. Не говоря уж о том, что тюремные сроки развалили нашу семью, отравили детство и юность, вплоть до окончания университета.

Вот отчего в критической статье эти главы романа не просто обсуждались подробно. Но поневоле стали ее центром, причем автор находил, что драматизм их ослаблен определенной локальностью и камерностью происходящего, в частности, скупой и не всегда выразительной подачей примет и деталей, из которых вставал бы фон окружающих событий. Ведь террор тогда разлился повсюду и рубил все социальные слои. Иначе говоря, подлин-

ный размах злодеяний второй половины 30-х годов, захвативших страну, на мой взгляд, был размыт и по-настоящему не показан в романе.

По-другому я, если бы даже очень хотел и старался, написать не мог. И в каких-то пределах (с «неполнотой раскрытия психического удара») романист со мной согласился.

Письменный ответ Фебина на присланный ему номер «Сибирских огней» привожу почти полностью: «...Наверно, это одна из лучших статей о “Костре”, которые мне пришлось прочитать, если не самая лучшая, — откликнулся он. — Близки к ней статьи В. Смирновой, Виктора Шкловского. Говорю, конечно, не о “похожести”, но о том внутреннем внимании к замыслам автора, из которого вытекает и верность суждений, и разгадки подтекста, и — может быть — сочувствие с автором (и к автору!).»

Вы спрашиваете о моем отношении к анализу извековско-рагозинского эпизода 37-го года. Он — этот анализ — понятен мне. Его можно назвать тонким, интересным. Известная неполнота раскрытия психического удара, перенесенного Извековым, имеет место в романе. Но вот о б с т о я т е л ь с т в а “дуэта” двух старых друзей как будто упускаются Вами. Не хотите ли Вы сказать, что вся партия з н а л а о “массовых несправедливостях... неожиданных репрессиях”, и что разговор об этом запросто мог вестись — где? — в кабинете Рагозина? Уж в кабинете-то этом никак не могли работать люди, считавшие репрессии... несправедливыми! Это что касается Рагозина. Что же до Извекова, то (именно при его принципиальности) мог ли он до разговора с Рагозиным почитать происходившее в 37-м году “несправедливостями” и не попасть, по меньшей мере, в Магадан? Если же не попал, то — значит — п р и н ц и п и а л ь н о соглашался с наличием во всех щелях “врагов народа”. Конечно, так. Потому-то он и испытал шок, будучи зачислен сам в эту категорию “врагов”. Что же до его “примиренческой” формулы (“делай, что должно...”¹), то, не приди он к ней, ему надо было бы потерять веру в партию. Мог ли он? Вы знаете, что не мог... В безвыходности-то для него и заключается все дело.

¹ У Фебина в романе «Делай, что должно, и терпи, что неизбежно». — Ю. О.

Одного места романа в анализе Рагозина Вы не коснулись: кончив стоять у окна и перейдя к столу, он вслух говорит себе — “Нет, невозможно поверить!” И еще: в конце 3-й п[од]главки Шестой главы Рагозин (проводив Кирилла) словно бы пришел в себя: “И тут в нем очнулась к Извекову любовь”.

Думается, остановись Вы на этих штрихах, Вам понадобилось бы внести добавочные мысли в суждение (и осуждение) Рагозина.

А главное: г д е , к о г д а , с к е м всё это происходит?... вот что нельзя упускать.... Писался он (этот эпизод. — Ю.О.) до XXII съезда. А место действия за всю историю сов. литературы не фигурировало ни у одного романиста...

В общем же, повторяю, анализ Ваш весьма серьезен, убедителен во многом.

Еще раз спасибо Вам».

В своем письме Федин выделяет среди прочего сцену, когда «штрафной» Извеков приходит в высокий надзорный кабинет Центральной партийной Контрольной Комиссии, в это своего рода олицетворение «ока государева». В кабинете сидит бывлой учитель и друг по революционной борьбе Рагозин. Много лет они не встречались. Каждый происходившее переживал внутри себя и существовал наособицу. Когда-то они составляли живое целое. Теперь один был подозреваемый, другому сквозь зоркий прищур глаз, в духе нынешних директив, требовалось вынести неизреченный приговор, который в ту пору массовых посадок редко мог быть оправдательным.

Некоторых дорогих для автора, чисто изобразительных мотивов напряженного внутреннего психологизма этой сцены я, возможно, недооценил. Для меня 1937 год «ежовщины» был годом кровавых репрессий, разлившихся по стране. А в смысле вины и ответственности за происходившее не особо-то хотелось задаваться различиями между персонажами. Кто кого в данный момент расследует и кто чью судьбу в данный момент держит на веревочке. Слепцы оба, завтра могли поменяться местами. Зачем же нам слепцов выдавать за совесть эпохи? В кабинете Рагозина мне не хватало воздуха, нечем было дышать.

«Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына, «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург и уроки собственной судьбы были

понятней и ближе. Все происходившее тогда скопом хотелось осудить и проклясть.

Виктор Шкловский, написавший позже большой мемуарный очерк «Федин» (1966—1979), отнесся к психологическому наполнению этой сцены, может быть, тоньше и уж во всяком случае снисходительней. Его интересовали не только былые жизненные события, но психология заданных фигур, каковы они есть. Выше жизнеподобия он ставил глубину психологического анализа, с отлетом от конкретики ситуаций, в духе прозы Серебряного века, к традициям которой с молодости тяготели оба.

«Извеков приходит к старому своему другу Рагозину, — пишет В. Шкловский. — Рагозин, наведя справки, принимает Кирилла Извекова с малословной строгостью. Два человека ищут веры, хотят они верить в одно и то же, и не верят в то, во что хотят верить. Они кажутся друг другу не действительностью, а отражением. Они каждый понимают правоту другого и видят, что их правота разошлась».

Одна из центральных сцен романа построена на том, что ситуация, перешедшая в конфликт, не получает никакой развязки, даже условной. Параллельные линии не сходятся, а сблизиться, искривив себя, они не могут».

Возможно, все это так. Психологические переживания персонажей Извекова и Рагозина прослежены тонко и мастерски. Но, так или иначе, оба, если говорить всерьез, на поверку оказываются «винтиками партии». И самое главное, что при этом, хотеть того или нет, — оба выдаются за лучших людей эпохи. Их переживания, конечно, можно понять, но не просто обратить в часть собственной души человеку других путей и других жизненных знаний. То, что обряжено в мантию высшего мастерства, выходит, на деле замещено оглядками на художественный опыт предшественников из прошлой эпохи, то бишь, называя вещи своими именами, — сдобрено литературщиной. Большая доля живительного кислорода за усложнениями формы недодана читателю. Сталинская политическая система, людоедским пиршеством которой явилась «ежовщина», во всех случаях нуждалась

в гораздо более остром и беспощадном выверте наизнанку, чем это было представлено в романе Федина.

Вероятно, взаимная откровенность с К.А. способствовала развитию отношений.

Чтобы «изнутри» продолжать мемуарный рассказ, придется вернуться к дальнейшим поворотам судьбы провинциального журналиста. После репортерских пересечений 1957—1958 годов в Куйбышеве и Саратове лично с К.А. мы года три не встречались. Было лишь замечательное письмо великодушного наставника о первой книге — очерковом сборнике «Серебристые облака».

Нащупывая тропу, я старался не ударить лицом в грязь. В качестве собственного корреспондента «Литературной газеты», одержимый журналистским азартом, вел себя по-мальчишески дерзко и неосторожно. Некоторые острые выступления имели всесоюзный резонанс и даже вызвали постановление Совета Министров РСФСР. Выделялась статья «Пираты у Волжской плотины», написанная в соавторстве с моим другом, талантливым писателем и сотрудником областной газеты «Волжский комсомолец», рано умершим Геннадием Гулиным (литературный псевдоним — Андрей Вятский, белобрысый добродушный Генка отчим краем для себя навсегда числил Вятку, где родился и вырос). Статья была о разгульном бандитском браконьерстве под вновь выстроенной Куйбышевской ГЭС, первенце гигантского волжского каскада.

Перед новым непролазным забором плотины весной останавливались бессчетные стада осетровых, идущих вверх по Волге к традиционным местам метания икры. Вода кипела от рыбы под плотиной, как в магазинном аквариуме. Осетров можно было брать сетями, глушить динамитом и концами проводов с током высокого напряжения, благо, гидростанция была под боком и в браконьерстве не обходилось без участия «своих». Это грозило исчезновением осетровых рыб, да и вообще обезрыблением Волги.

Орудовали межрегиональные шайки. Процветал рыбный бандитизм в самых различных формах. Торговля черной икрой из выпотрошенных в нерест и выброшенных за ненадобностью назад в Волгу осетровых туш развертывалась во многих городах страны.

Возникали перестрелки с малочисленной и слабо вооруженной рыбной охраной. Однажды ночью под плотиной ее хилая моторка была потоплена, а барахтавшийся в воде экипаж из трех человек с прогулочного катера браконьеры били баграми по головам. С Гулиным и сотрудниками рыбной охраны до публикации статьи мы собирали и тщательно документировали подтверждающие материалы не один месяц.

В здешних хищнических похождениях были замешаны начальник мировой гидростанции А. Рябошапка (прогулочный катер принадлежал ему и бесконтрольно использовался пьяной обслугой), областной прокурор, сам однажды во время браконьерских занятий по ошибке связанный рыбной охраной, и много другого местного руководства. Словом, статья, проблемная для страны, вызвавшая потоки писем в редакцию и постановлений разных инстанций, для Куйбышева была еще и скандальной.

Сходного замеса была и другая публикация — «Дело о Студеном овраге», разоблачавшая продажность и преступные деяния местных начальников в аферах дачного строительства.

Печатные триумфы новоявленного «разгребателя грязи» закончились плачевно. После многомесячных разбирательств неопровержимых фактов под давлением Куйбышевского обкома КПСС дипломатичное и податливое руководство редакции во главе с В.А. Косолаповым для «утихомиривания страстей» закрыло корреспондентский пункт на Волге.

Меня же по той же соборовской линии даже вроде бы с поощрительным повышением перебросили на работу в Сибирь. Теперь я заведовал Сибирским отделением «Литературной газеты» из двух человек (вторым корреспондентом был ленинградский поэт Илья Фояков, попавший сюда по распределению), с постоянным пребыванием в Новосибирске.

На этом жизненном повороте я и получил от Федина приглашение при очередной оказии навестить его в подмосковном Переделкине. Оказывается, наших «пиратов» он читал, резонанс на них знает. Интерес писателя, безусловно, подогрела еще и моя недавняя статья в журнале «Сибирские огни» о его новом романе «Костер», хотя при общем заздравном тоне она и не избежала

выплеска острых замечаний. В результате произошла первая «домашняя встреча».

Первое всегда памятно. В подробностях запала мне и та «домашняя» встреча.

Помню, как, сидя в черном мягком кожаном кресле дачного второго этажа в Переделкине, против спокойного внимательного слушателя, покуривавшего трубку, я рассказывал о произведенной со мной кадровой «рокировке» с Волги на Обь. Затем я долго ораторствовал, изливая свои впечатления о жизни и делах в Сибири. Рассказывал о пустых продовольственных магазинах, где есть только кадушки с синеватыми селедочными спинками, зеленые треугольные граненые пузырьки с уксусом на полках и маргарин в шоколаде (для денежного повышения товарооборота!) на прилавках. О жуткой тиши атомной тревоги в обезлюдившем городе, во время недавнего Карибского кризиса (в Новосибирске такие атомные тревоги объявлялись). О парадном явлении Хрущева в том же Новосибирске на совещании передовиков сельского хозяйства Сибири и Дальнего Востока и его беспрестанных «исторических репликах», которыми он, как кукловод за ниточку, дергал ораторов на трибуне, почти никому не давая произнести живого слова и т.п.

Битых два часа Федин следил за поворотами им же вызванного рассказа, поощряя продолжение короткими репликами и вопросами. В таких доверительных информаторах с мест он, видимо, нуждался. В голове осталась фраза: «Это очень хорошо, что у Вас такой не внутрицеховой... не союзнописательский подход...»

На мой встречный вопрос (после недавнего международного конфликта — столкновения вокруг местонахождения ракет на Кубе), многих тогда волновавший, — возможна ли третья мировая война? — ответил:

— Когда льют пушки, они рано или поздно могут начать стрелять...

Осталось впечатление, что о жгучих проблемах дня, опрокинутых в политику, Федин предпочитает больше слушать, чем высказываться. Выглядел он человеком осторожным. К той поре Федин уже занимал высокие общественные посты, с 1959 года был

*Ханни Мрва — «спартак-
ковка», немецкая со-
ратница и возлюбленная
К.А. Федина*



*Автор книги Ю. Оклянский (слева) и немецкий краевед Гер-
берт Фишер у родовой могилы семейства Мрва в гор. Циттау.
Начало 80-х годов*



*Константин Федин в кругу литераторов за роялем. Ленинград, 1926 год.
Стоят слева направо: М.Л. Слонимский, Б.А. Лавренев,
И.С. Зильберштейн, А.Н. Толстой, М.Е. Кольцов, А.С. Рябинин*



Юлиус Саарек — прототип главного героя знаменитой «антиколхозной» повести К. Федина «Трансвааль» (напечатана в 1927 году)



*А.М. Горький и И.В. Сталин беседуют на трибуне Мавзолея.
На заднем плане — председатель правительства СССР В.М. Молотов
(начало 30-х годов)*



а)

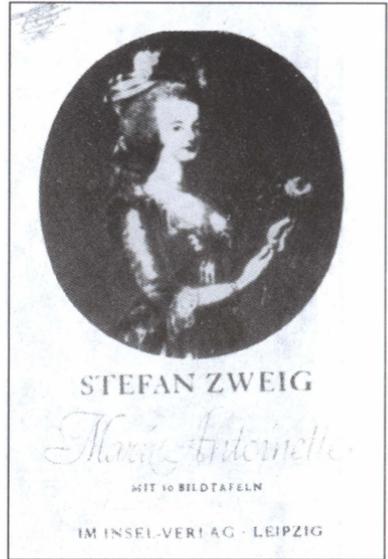


б)

*Две стороны «одной медали»: будущий министр советской литературы мог быть таким и мог быть другим:
а) Мечтательный красавец К.А. Федин. С картины Г. Верейского (1927 г.).
б) К. Федин. Портрет известного карикатуриста Н. Радлова*

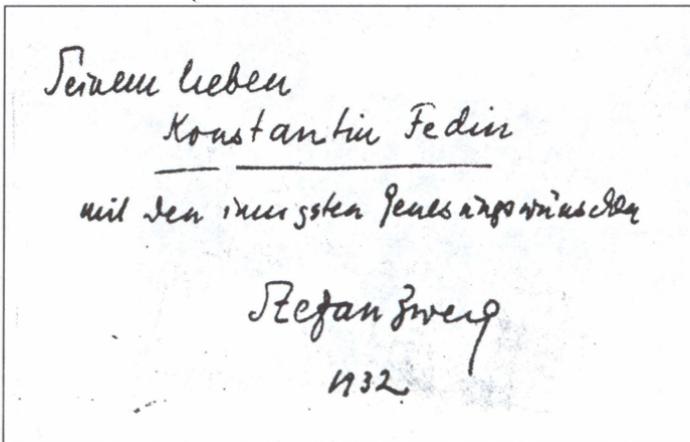


a)



б)

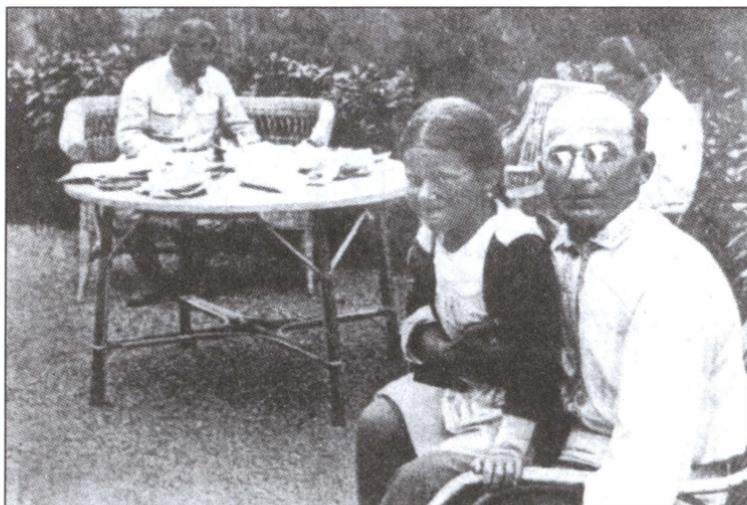
- a) К.А. Федин перед отъездом в лечебницу швейцарского Давоса;
б) Роман немецкого писателя Стефана Цвейга «Мария-Антуанетта» с дарственной надписью Константину Федину (начало 30-х годов)



Дарственная надпись Константину Федину



*Похороны А.М. Горького. В первом ряду урну несут
И.В. Сталин и другие руководители СССР*



*Главный советский «жандарм» А.П. Берия с дочерью Сталина Свет-
ланой на коленях. В отдалении за круглым столом с трубкой во рту
работает над бумагами сам И.В. Сталин*



*Беспокойная для Европы осень 1936 года.
Нобелевский лауреат Иван Бунин, собирающийся изменить место
жительства, с носильщиком на вокзале*



К.А. Федин с группой саперов на освобожденной Псковщине в Святогорском монастыре, у могилы А.С. Пушкина. 1944 год



Командир звукобатареи начинающий автор А.И. Солженицын в блиндаже (1944 год), когда он обдумывал запрос к высшим тогда для него художественным авторитетам К.А. Федину и Б.Л. Лавреневу о своей дальнейшей литературной судьбе



*Ближайшие друзья — К.А. Федин и Б.Л. Пастернак.
1946 год, Переделкино*



Н.С. Хрущев и А.Т. Твардовский в Пицунде (начало 50-х годов)



*Второй Всесоюзный съезд советских писателей. В президиуме съезда
А.А. Фадеев, К.А. Федин, А.Е. Корнейчук. Заседание ведет П.П. Тычина.
Декабрь 1954 года, Москва*



Новый министр «советской литературы» — А.А. Сурков



К.А. Федин на Горьковской конференции в Куйбышеве (Самаре) в ноябре 1957 года в преддверии 90-летия со дня рождения «буревестника революции». Рядом с ним вдова писателя Е.П. Пеishkova и литературовед-горьковед Б.А. Бялик. Фото автора



Один из учеников Федина — Юрий Трифонов



Похороны Бориса Пастернака. Почитатели несут на руках гроб с телом поэта по улице поселка Переделкино от дома, где находилась его дача. Фото из зарубежной прессы. Июнь 1960 года



а)



б)

а) Недолгая слава А. Солженицына в СССР, за «железным занавесом». Повесть «Один день Ивана Денисовича» в массовом издании «Роман-газеты», 1963 год; б) Свистопляска газетной брани перед высылкой автора из СССР, январь—февраль 1974 года



В честь 70-летия со дня рождения Н.С. Хрущева Л.И. Брежнев вручает юбиляру Золотую Звезду Героя Советского Союза. До государственного переворота осталось полгода... Из снимков официальной кинохроники выхвачен наиболее случайный и искаженно представлявший события кадр. Владыка страны выглядит жалким и помятым рядом с бодрым красавцем Брежневым. На самом деле глава и организатор заговора Брежнев лебезил, дрожал и трепетал перед юбиляром, опасаясь разоблачения готовившегося переворота, для чего к той поре уже пробивались наружу некоторые факты. Апрель 1964 года



Будни министра советской литературы: юбилейный вечер, посвященный 60-летию М.А. Шолохова. 1965 год. На заднем плане, напряженно вслушиваясь, следит за беседой двух классиков приставленный к Федину сибирский историко-революционный прозаик и партийно-общественный деятель, реальный администратор Союза писателей, Г.М. Марков



Советские танки на улицах Праги. Отдельные смельчаки — пражане пытаются протестовать, взобравшись на машины оккупантов. Август 1968 года



*«Толпой любимцев окруженный». К.А. Федин в кулуарах V съезда писателей СССР с руководителями республиканских писательских союзов.
Июль 1971 года*



Надгробие К.А. Федина на Новодевичьем кладбище в Москве

первым секретарем Союза писателей СССР. Так что к сдержанности вроде бы обязывало и положение. Впрочем, для молодого человека — провинциала, далекого от столичных мерок, — важно было высказаться самому, чтобы его слушали, а остальное приложится.

С годами, правда, особенно после переезда на жительство в Москву, стал я замечать, что внимательное слушание для такого воспитанного европейца, как Федин, вовсе не всегда означает согласие. Могло случаться даже совсем наоборот. Вплоть до краткого, но резкого отпора.

САМООБУЗДАНИЕ ЭЛИТЫ

Тоталитарная система стремилась облагородить фасад и украсить его яркими фигурами и солидными именами. В те же самые годы, когда Федин значился руководителем Союза писателей СССР, Союз композиторов РСФСР возглавлял Дмитрий Шостакович. Он ездил по необъятным просторам страны, пропагандировал массовую политическую песню тех дней. В таком качестве однажды я встречался с ним в Новосибирске и брал у него интервью для «Литературной газеты».

Хорошо помню нелепый в своей огромности и театральной пышности трехкомнатный люксовский номер гостинцы «Сибирь», в коврах и шелковых позументах с кисточками на кремовых занавесах окон и пологе кровати, в котором поздним вечером принял меня Дмитрий Дмитриевич. Я постучался в дверь люкса в точно назначенное время. В шесть утра, как, пожившись, мне тут же сообщил Шостакович, ему уже требовалось быть на аэродроме. Он улетал в другой город — пропагандировать ту же залихватскую и бодрую политическую массовку. В тройном апартаменте его разместили одного. В комнате было холодно. Маленький, как хилый подросток, скромный, беззащитный, облаченный в коричневый халат, Шостакович явно уже изговлялся ко сну. Композитор прочитал машинописные странички с текстом интервью. На ярко-желтой бархатной скатерти, с серебряным графином, авторучкой стремительно внес в листки несколько поправок и

размашисто подписал. «Литгазета» интервью напечатала, а машинописные странички где-то лежат у меня до сих пор.

Верховной руководящей персоной в Союзе композиторов СССР был тогда Тихон Хренников, автор революционной оперы «Мать» и член ЦРК КПСС, а Шостакович был один из пятнадцати, если считать по числу союзных республик, разъезжих секретарей. И это он, Дмитрий Дмитриевич, подписывал бессчетные верноподданнические статьи в газете «Правда». В 1960 году, когда это вовсе от него даже и не требовалось, с театральной оглаской вступил в КПСС... Слабость души и сервиллизм, конечно, не красят никого. Но кто же скажет, что от этого Шостакович перестал быть великим композитором?

О высокой духовной элите, сливающейся иногда с когортой партийно-советских вельмож тех времен, писал А.И. Солженицын. «А есть еще особый разряд, — чеканит он в знаменитой статье “Образованщина” (1974 г.), — людей именитых, так недосыгаемо, так прочно поставивших имя своё, предохранительно окутанное всесоюзной, а то и мировой известностью, что, во всяком случае в послесталинскую эпоху, их уже не может постичь полицейский удар, это ясно всем напрозор, и вблизи и издали; и нуждою тоже их не накажешь — накоплено. <...> Двести таких человек (а их и полтысячи можно насчитать) своим появлением и спаянным состоянием очистили бы общественный воздух в нашей стране, едва не переменили бы всю жизнь! <...> Какая сила заставляет великого композитора XX века стать жалкой марионеткой третьестепенных чиновников из министерства культуры и по их воле подписывать любую презренную бумажку, защищая кого прикажут за границей, травя, кого прикажут у нас?»

Физик, впоследствии лауреат Нобелевской премии, Петр Леонидович Капица, на заключительном этапе сталинского правления занимавший министерский пост начальника Главкислорода, за полтора десятка лет написал почти пятьдесят писем Сталину, наставляя его, как надо управлять точными науками и относиться к ученым. Его переписка с вождями, включая В.М. Молотова, Г.М. Маленкова, вплоть до начальника Лубянских секретных служб Ю.В. Андропова (уже в 1980 году), напоминала нередко

систему изошренных шахматных ходов, в которых выдающийся физик был великий мастак и дока. Иногда Капица выигрывал и выходил победителем из самых, казалось бы, безнадежных жизненных хитросплетений.

Благодаря мужеству и бесстрашному использованию логики доказательств перед ближайшими подручными и замами Берии Меркуловым и Кабуловым в ночном поединке, затеявшемся в устрашающих стенах Лубянки, Капица в 1938 году вытащил из тюремного заключения и взял на поруки выдающегося физика-теоретика Льва Ландау. Тогда он не просто спас жизнь молодого гения, но и оказал неучтенную услугу мировой науке. И это был не единственный жизненный подвиг Капицы такого рода.

Но сапер ошибается один раз. Наставления Сталину в конце концов закончились для Капицы драматически — увольнением со всех постов и домашней ссылкой. Но изобретенную им одинокую игровую форму отстаивания свободы личности и борьбы в условиях повальной деспотии, с признанием вроде бы ее многих общественных достоинств, форму ловкого лицедейства выдающийся физик умело двигал вперед и эксплуатировал до конца дней.

Конечно, такими были не все. Бескомпромиссной стойкостью выделялся, например, академик Владимир Вернадский. Он не давался иллюзиям, чурался всякого самоубаюкивания, не допускал даже частичного внутреннего самообуздания. Как это было ни тяжело, смотрел на действительность открытыми глазами.

Происходившее вокруг великий мыслитель воспринимал как точные естественно-научные картины. 21 января 1941 года Владимир Вернадский заносил в дневник такую всеохватную характеристику: «Полицейский коммунизм растет и фактически разъедает государственную структуру. Сейчас все проникнуто шпионажем. Всюду воровство все растущее. Продавцы продуктовых магазинов повсеместно этим занимаются. Нет чувства прочности режима через 20 лет с лишком. Но что-то все-таки большое делается — но не по тому направлению, по которому “ведет власть”...

Колхозы все больше превращаются как форма 2-го крепостного права — партийцы во главе.

Газеты переполнены бездарной болтовней XVIII съезда партии. Ни одной живой речи. Поражает убогость и отсутствие живой мысли и одаренности выступающих большевиков. Сильно пала их умственная сила. Собрались чиновники, боящиеся сказать правду. Показывает, мне кажется, большое понижение их умственного и нравственного уровня по сравнению с реальной силой нации. Ни одной почти живой мысли. Ход роста нации ими не затрагивается. Жизнь идет — сколько это возможно при диктатуре — вне их» (С. 497—498).

Самообуздание таланта включало в себя в какой-то степени даже наиболее распространенные способы продвижения в литературе. Об этом, возможно, с заостренным преувеличением, однако же язвительно и метко выражал свое мнение Варлам Шаламов Солженицыну на пике шумного успеха первой его повести «Один день Ивана Денисовича»

21 января 1964 года он писал стремительно ворвавшемуся в литературу и обратившемуся в фокус общественного внимания, ставшему сразу и главным писателем России, и властителем свободолобивого независимого общественного мнения страны коллеге.

«Дорогой Александр Исаевич! — предсказывал он. — Теснимые сверху московские литераторы превратятся в эстетов, прославив Платонова, как Кафку, и будут его расхваливать на все всевозможные лады. <...> Зачем? Затем, чтобы противопоставить Платонова Солженицыну, которого москвичи не любят, не верят — во что? Под спудом тут: москвичи не хотят верить в возможность появления большого таланта где-то в Рязани, и т.д. “Путь наверх” всех поголовно писателей наших, включая, конечно, и Федина, — это долгий многолетний путь продвижения со щепочки на щепочку, со ступеньки на ступеньку, взаимная поддержка, не только литературная, это черепаший ход, во время которого черепахи учатся верить, что никаких других путей в литературу нет. Союз писателей — это та, вовсе не символическая организационная форма, которая именно этому движению со щепочки на щепочку и соответствует.

Даже Пастернак не нарушает этой схемы. Но Солженицын нарушает — а поэтому у него выискивают всяких блох, готовы принизить, обойти и т.д. <...> *В. Шаламов*».

Еще одним человеком, принадлежащим к самообузданной советской элите, как и Д. Шостакович, К. Федин или Л. Леонов, внутренним критиком и одновременно ратоборцем системы, всю свою жизнь был Константин Симонов, более подвижный и мо- ложе по возрасту.

Около пяти лет (с конца 1973 года) мне привелось работать штатным заместителем председателя Совета по очерку и публици- стике при правлении Союза писателей СССР. Его председателями были К.М. Симонов и для противовеса и контроля, как тогда было хитроумно заведено Георгием Марковым, — Н.М. Грибачев, человек «иноного направления», откровенный автоматчик партии. Одновременно я был главным редактором всесоюзного очерково- публицистического альманаха «Шаги», где К.М. Симонов состоял членом редколлегии.

Сотрудничество с К. Симоновым для моей биографии и для меня лично было, конечно, немалой удачей. Но для системы Со- юза писателей, что касается К. Симонова, лишь одним из рас- пространенных случаев и широко практиковавшихся в коммуни- стическую эпоху феноменов общественно-должностной много- совместимости. Помимо Совета по очерку и публицистике при правлении Союза писателей, К.М. был одновременно и на тех же правах председателем Совета по узбекской литературе, Совета по грузинской литературе, председателем Совета по военно-патри- отической литературе, председателем правления Центрального Дома литераторов, а еще и членом нескольких редколлегий печатных органов, председателем бесчисленных комиссий по литера- турному наследию умерших писателей, и т.д.

Боюсь, что называю лишь толику его одновременных тогдаш- них общественных должностей, обязанностей и попечительств. Что касается сферы публицистики, тем не менее, трудились мы более или менее исправно и, как надеюсь, не без некоторой поль- зы для документальных жанров. Тем более что Грибачев в деятель- ность Совета особо не вникал и, довольствуясь титулом и при-

стальным прищуром холодных голубых глаз, держался в стороне. Но все эти годы меня не покидало внутреннее изумление перед той жадной разрешенной общественной активностью, которая обуревала реального шефа Симонова. Действительно, каких только общественных постов не занимал Константин Михайлович, какие только обязанности он добровольно на себя не взваливал, какие только старые начинания не подхватывал и новые не затевал. Все это отрывало от рабочего стола, в конце концов отнимало самые продуктивные часы жизни. К.М. работал, как машина. Штатным сотрудникам звонить при надобности по делам к нему полагалось (он меня с первых дней предупредил) лишь в точно обозначенное одно и то же время — в 8 часов утра или в 2 часа дня. Только представить себе такое! Выслушивать на свежую голову, едва пробудившись от сна, какие-то административные казусы и организационные неполадки со всех сторон! Да еще в столь пестром ассортименте и неограниченном количестве!

И все это — вместо того чтобы сидеть на даче в Красной Пахре и спокойно писать. Ведь Константин Симонов, как поэт, прозаик и драматург, и без того был достаточно славен и знаменит. Шестикратный лауреат Сталинских премий, лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда, избранник всевозможных общественных, партийных и государственных органов и т.д. Зачем же и для чего все это, то есть все остальное?

Тогда еще можно было жить на литературные гонорары. Однажды, поскольку меня давно уже томило, как, наверное, и многих других безответственных молодых эгоистов-индивидуалистов, свербящее намерение об уходе со службы и переходе на «вольные хлеба» (что затем кое-как и удалось осуществить), я решил без обиняков спросить его об этом К.М. в хорошую минуту.

Симонов был демократичен и прост в обращении. Случилось однажды, что мы обедали вдвоем в Доме кино. Оказались мы там в ходе подготовки своего рода этапного расширенного пленума нашего Совета, который должен был обсудить нынешнее состояние документальных жанров в кино, телевидении, радио и печатной публицистике. Долгая совместная подготовка к этому пленуму значительно нас сблизила.

Так получилось, что перед этим мне довелось наблюдать организационные неудачи, которые одна за другой валились на Симонова. Только день или два продержалось организованное им современное повторение предсмертной Выставки В.В. Маяковского «За тридцать лет». Больше месяца, с большими трудами бился Симонов за воссоздание этой уникальной отчетной творческой выставки великого поэта. Лично вникал в подбор экспонатов для полного ее воспроизведения. Его хлопотами и стараниями за неимением другого помещения Выставку расположили наконец в конференц-зале правления Союза писателей СССР на ул. Воровского (ныне со старым именем — Поварская). Но уже через день или два под предлогом, что перекрытия старинного здания могут не выдержать веса людской массы из-за наплыва публики, закрыли и больше уже нигде и никогда не возобновляли. Это был скрытый плевок в лицо, официозная насмешка над энтузиазмом устроителя! Все-таки для реальных чиновных хозяев Союза писателей — Г. Маркова или К. Воронкова Симонов не был своим человеком, как Грибачев, а многие его затеи вызывали в них чувство отталкивания.

В другой раз К.М. вернулся из борющегося Вьетнама. Привез оттуда новый сборник стихов. Центром была лирическая поэма под названием «Чужого горя не бывает». Название с самого начала отдавало для меня неуловимым привкусом фальши. Политическая конъюнктура в нем как-то неуловимо присасывалась и подменяла собой общечеловеческие понятия. Действительно ли в нашем перенаселенном мире, где каждую секунду кто-то умирает, — «чужого горя не бывает»? Для этого, наверное, надо быть не просто святым, а самим Господом Богом. Помню, как в кабинете фактического руководителя Союза писателей Г.М. Маркова, восседавшего за председательским столом, покрытым зеленой суконной скатертью, в присутствии трех десятков литераторов, по преимуществу чиновного люда, происходил творческий отчет Симонова об этой вьетнамской поездке. Красивый в ранней своей седине, бравый, в синем джинсовом костюме, слегка картавя, Симонов читал стихи из рукописного сборника. Со своего председательского места на него с прицельным прищуром маленькими

карими глазами взглядывал Марков. Стихи были средние, стандартные, с претензией на дежурную общечеловечность. «Чужого горя не бывает»?! Очень уж все выходило просто. Стихотворные трафареты уговаривали, но не убеждали.

Были и другие организационные срывы и неполадки. К тому же К.М. последнее время серьезно болел.

Последний срыв, вроде бы бытовая мелочь, по сути, явился и вовсе конфузом, оскорбительным для человеческого достоинства.

У К.М. был давний друг и приятель еще с молодости, полный его ровесник по возрасту, фронтовик, доктор искусствоведения, профессор и кинокритик Александр Васильевич Караганов. Человек достаточно уклончивый и ловкий, но в пределах порядочности и честности той поры. Более двадцати лет А.В. Караганов с исправной незаменимостью исполнял должность рабочего секретаря Союза кинематографистов СССР. То есть был не последней спицей в колеснице тогдашней системы союзной кинематографии.

Симонов и Караганов дружили, если не ошибаюсь, даже семьями. Во всяком случае, однажды они договорились лечь вместе на месяц в Кунцевскую больницу ЦК КПСС. И сделать это с двойной целью. Вещь сугубо бытовая и оздоровительная. К.М. давно хотел «подремонтировать» зубы и вставить новые протезы. При Кунцевской больнице был хороший лесной массив, можно было отдохнуть, надышаться кислородом. Дело происходило в мае или начале июня. А отдельные просторные палаты больницы позволяли, захватив магнитофон и пишущую машинку — обычные рабочие инструменты Симонова, всласть поработать. Никаких перерывов в трудах Симонов не терпел. И все это, совместив неприятное (медицинскую возню с зубными протезами) с самым что ни на есть приятным, — отдыхом и работой на природе, в тесном дружеском уединении из двух персон. Дело оставалось за формальным разрешением из административного отдела ЦК.

Я оказался по минутной служебной надобности в кабинете рабочего секретаря Союза писателей СССР Ю.Н. Верченко, сменившего к той поре Воронкова. В кресле против него сидел К.М.

Они перекидывались малозначащими словами а, может, лишь коротали время. Мне предстояло подписать у Верченко какую-то спешную бумагу и уйти, когда зазвонила «вертушка».

Законченная картина обрисовалась позже. Разговор касался Симонова. Это был ответ того самого высокого административного начальства ЦК по поводу Кунцевской больницы. Суть дела выяснялась из путаных телефонных настояний и виляний Верченко.

Ответ оказался разрешительным лишь наполовину. Примерно такой. Караганов — рабочий секретарь Союза кинематографистов СССР, он номенклатура ЦК. Ему, пожалуйста, милости просим — он может ехать на месяц в Кунцевскую больницу. А Симонов — секретарь Союза писателей на общественных началах. Он — не номенклатура. И в этом качестве принять его на месяц Кунцевская больница никак не может. Порядок есть порядок. Вот и все. И напрасно Верченко, извиваясь, пыхтя и отдуваясь, вставлял и расписывал, что Симонов — шестикратный лауреат Государственных премий, лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда, наконец... Вероятно, трубка урчала в ответ: «Знаем... знаем». Но все упиралось в слова «номенклатура» и «порядок», который изменить нельзя.

В каком-то месте разговора Симонов, в своем джинсовом синем костюме, с седой головой и молодой статью, весь красный, с пылающим лицом, встал. И, не оборачиваясь, вышел из кабинета. В Союзе писателей после этого он целый месяц не появлялся. На своей загородной даче в одиночку исполнял то самое, что по-приятельски весело и дружно хотел осуществить в Кунцеве.

Итак, мы пообедали... Отношения позволяли. Улучив момент, я спросил напрямую:

— Константин Михайлович! Для чего я работаю в Совете по очерку, догадаться не трудно. Других источников существования у меня попросту нет. Подохну с голоду. Но зачем Вам все эти Советы — по узбекской, по грузинской, по абхазской литературе? Ведь где Вы только не состоите, чем Вам только не приходится заниматься! Я один из поклонников лучшего, что вами написано. Почему Вы так себя не бережете? Зачем? Для вас да в конце концов и для литературы ведь это ущерб...

Подняв голову от тарелки, Симонов от неожиданности вопроса блеснул на меня карими, почти армянскими, как мне представлялось, глазами. Мочки ушей его покраснели. Помедлил, потом произнес с расстановкой:

— Во-первых, я делаю только то, что мне нравится...

Это было заведомой неправдой.

Потом К.М., как будто задетый поднятой темой, начал подробно перечислять, что в конце 50-х — начале 60-х годов он жил в Ташкенте и не мог отказать узбекским писателям. Много переводил грузинских поэтов, что те даже соблазнили его купить дачу у Черного моря, где на берегу много гальки, но зато с холма слышен шум моря, — и не мог отказать грузинским друзьям... О Совете по военной литературе говорить нечего — он кадровый военный писатель. Вот скоро сюда подойдет кинорежиссер Роман Кармен. Тоже фронтовой киношник, — и мы вместе будем толковать о развитии документального жанра. Без этого нельзя!.. Кто же будет иначе? И так далее, и тому подобное.

Разговор явно не получился. А в последующие отношения на какое-то время вкралось чувство неловкости.

Путь «От Черного до Баренцева моря» (название одной из его публицистических книг военных лет) Симонов по фронтовым дорогам проделал действительно не на словах, а на деле. В одном из собственных переводов «Эпитафий» Редьярда Киплинга, относящихся к героям прошлых битв и сражений, он выразил и волевой импульс, с которым только и мог сам одолеть военные дороги четырех и более лет:

Всё отдав, я не встану из праха,
Мне не надо ни слов, ни похвал.
Я не жил, умирая от страха,
Я, убив в себе страх, воевал.

Без этого не могли бы быть написаны «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», «Жди меня», поэмы или циклы «С тобой и без тебя»... Во время одной из таких поездок 1943 года, на Орловщине, он впервые и познакомился с Фединым, о чем позже вспоминали оба. Вообще, К. Симонов был человеком

дела. Воздухом войны напитаны лучшие и самые правдивые произведения этого поэта, прозаика и драматурга. Но в той же трилогии «Живые и мертвые», нарочито загубив главного своего критически мыслящего героя Серпилина, он пошел на компромиссы и сделки с полуправдой. Трилогию удостоили Ленинской премии.

За звания и награды приходилось расплачиваться. И в творчестве, и в общественной жизни.

К.М. Симонов был одним из первых, кто напечатал хвалебную рецензию на повесть «Один день Ивана Денисовича» при ее выходе. И он же опубликовал короткое письмо с осуждением А.И. Солженицына в канун его ареста и высылки за границу. Таких поворотных зигзагов в лидерских устремлениях его биографии много.

Не говорю уж о случаях, о которых с достойным мужеством печатно каялся сам К.М. Вроде написанной по заданию Сталина пьесы «Чужая тень», о борьбе с евреями-космополитами, или истории с поэмой Твардовского «Теркин на том свете», которую вначале хвалил, а потом ругал...

Но совершенно нечто подобное, однако на сей раз без всякого покаяния, по свидетельству И. Эренбурга, старшего друга и спутника по фронтовым дорогам, случилось с острой по тем временам повестью «Оттепель» (1954), давшей имя целому периоду нашей истории. Симонов у себя в кабинете в глаза автору хвалил повесть и почти одновременно давал команду к публичному ее разному на страницах редактируемой им «Литературной газеты». Событие это рассорило бывших друзей надолго, если не навсегда.

Зигзагообразные ходы, к сожалению, повторялись.

Вершина служебной карьеры младшего друга и ученика Федина К.М. Симонова пришлась на сталинские времена. Когда умер вождь, К.М. было всего 38 лет. Но за предшествующую пору он успел побывать главным редактором «Нового мира», главным редактором «Литературной газеты», заместителем генерального секретаря Союза писателей СССР, кандидатом в члены ЦК КПСС... Это включало и близкие личные общения с вождем, которых достаивались немногие. В надиктованных им

предсмертных мемуарах «Глазами человека моего поколения (Размышления о И.В. Сталине)» Симонов подробно перечислил эти знаки особого внимания и доверия. По собственному печатному пересчету, в эти годы он «на протяжении нескольких часов был на приеме у Сталина в связи с делами Союза писателей; один раз говорил с ним по телефону по вопросу, касавшемуся лично моей литературной работы; несколько раз присутствовал на заседаниях Политбюро, посвященных присуждению Сталинских премий и продолжавшихся каждый раз несколько часов. <...> Я слышал не только последнее выступление Сталина на XIX съезде партии, но и его, очевидно, самое последнее выступление на пленуме ЦК после этого съезда».

Безнадежная болезнь и телесные недуги не заставили Симонова сойти с колеи непрестанного труда и исполнения долга. Как сказано в его переводе надгробной воинской эпитафии из Киплинга, он «убив в себе страх, воевал». Так что безусловным мужественным поступком последних месяцев жизни являются именно эти больничные мемуарные надиктовки. Там откровенно и честно, в большинстве случаев как на духу, К.М. рассказал многое о себе и пережитой им эпохе.

Многочисленный лауреат, Герой Соцтруда, Симонов тоже принадлежал к стану советских «полубогов». Однажды, когда я наблюдал его в среде маршалов, из которых почему-то особенно запомнился полный и краснолицый И.Х. Баграмян, когда смотрел его многочасовые кинозаписи бесед с опальным Г.К. Жуковым, то чувствовал, что ради этого было все остальное. Он непременно хотел лидерства. Говоря современным языком, хотел купаться в пиаре. Это была форма его жизни. Иначе существовать он не мог.

Совсем не случайно в первый послевоенный год именно столь доверенному и овеянному героикой войны К.М. Симонову была поручена сложная дипломатическая миссия — по возможности перетянуть в «прогрессивный» (читай: просоветский) лагерь русского классика и нобелевского лауреата Бунина.

По-своему причастен к этой истории оказался и Федин.

ПОЛУБОГИ И БУНИН

Во фронтовых сводках военных лет было такое выражение — «поиск разведчиков». При затишьи в военных действиях происходило активное ощупывание обороны противника, добывание «языков» и вообще всевозможными скрытыми путями необходимых разведанных для последующего натиска и атак. Таким промежутком военно-дипломатического затишья в отношении вчерашних союзников по антигитлеровской коалиции явился год с небольшим после окончания Второй мировой войны...

Три месяца из них (декабрь 1945 — февраль 1946 года) Федин провел в разгромленной Германии — сначала в Берлине, а затем в Нюрнберге, на процессе главных военных преступников. Статус корреспондента правительственной газеты «Известия» и неограниченный срок командировки давали писателю возможность не только глубоко вникать в драматическое действие судебных заседаний, отображая происходившее в цикле очерков, но и всюду ездить, бывать, все смотреть, встречаться с теми, кого он хотел бы видеть.

И вот тут нежданно-негаданно для Федина его пути пересеклись с писателем, которого он высоко ценил, но мысль о живых контактах с которым даже в голову не могла прийти. Этим его давним кумиром был парижский эмигрант нобелевский лауреат И.А. Бунин. Его книгами он всегда восхищался, о них говорил студентам в Литинституте. Но автор по фамилии Бунин для него лично давно уже вознесся над буднями, как дух прошлого, существовал отвлеченно в виде некой исторической данности, как книжный феномен. И вдруг...

Едва Федин вернулся из Нюрнберга в Москву, как неожиданно, будто по мановению волшебной палочки, стало происходить невероятное. «В марте месяце 1946 года, — вспоминал он позже в заметке к архивным публикациям тома “Литературного наследства” “Иван Бунин”, — почтой доставлена была мне книга, какой я не мог ожидать. Что-то похожее на недоумение почувствовал я при самом беглом взгляде на посылку, а раскрыв ее — изумился.

Это был том первый “Собрания сочинений” И.А. Бунина в берлинском издании “Петрополис”.

Было от чего взволноваться: в автографе Бунин называл себя моим “давним усердным читателем”. Посматривая на эту надпись, я искал объяснений — почему именно теперь прислан мне дорогой дар моим “давним” читателем? — как вновь, спустя несколько дней, от Бунина прибыла другая книга — рассказ “Речной трактир” также с сердечной авторской надписью. Оба автографа заканчивались одинаковой датой: “1.3.1946. Париж”».

Надпись на томе Собрания сочинений гласила: *«К.А. Федину его давний усердный читатель. Ив.Б. 1.3.1946.Париж»*.

«В январе — феврале того года, — мысленно перебирал варианты возможного расклада событий Федин, — я находился в Нюрнберге, ежедневно посещая заседания Международного трибунала, судившего военных преступников. Немало встреч происходило в помещении суда среди разнообразных кругов корреспондентов со всего света. На свежей памяти у меня оставался разговор с двумя парижским журналистами из русской эмиграции, которые рассказывали о своем общении с Буниным и о том, как за время войны изменилось его отношение к советской жизни. Отвечая на их расспросы, я сказал, что у нас знают о новых настроениях Бунина и, конечно, можно ждать снова издания его произведений на его родине.

Только этим нюрнбергским разговором мог я себе объяснить получение нечаянного бунинского подарка<...>».

Два тома «Литературного наследства» «Иван Бунин» (где помещены дарственные автографы Бунина, а также текст его последующего большого письма Федину) вышли в свет в 1973 году. Среди прочего они служили документальной оснасткой для открытия читателю долго не издававшегося в СССР Бунина. Вот отчего редакция «Литнаследства» представила там же подборку отзывов видных действующих советских писателей о Буине, — Ю. Казакова, В. Быкова и др. Для нашего рассказа особый интерес представляет написанная по этому случаю заметка Юрия Трифонова.

«Мое первое знакомство с Буниным, — сообщает Трифонов, — произошло еще в студенческие годы. К. Федин, у которого я занимался в семинаре, говорил: “Учитесь делать фразу у Бунина”.

Иначе говоря, профессор Литинститута, автор “деревенских рассказов” и повести “Трансвааль”, Федин еще в самые лихие сталинские времена рекомендовал Бунина участникам своего семинара. Это было небезопасно. Заключение Варламу Шаламову в 1943 году добавили еще десять лет лагерей только за то, что он назвал эмигранта Бунина русским классиком».

Но московская жизнь, конечно, не лагеря за колючей проволокой, и здесь не было такого уж всеобъемлющего полицейского надзора. «Тогда же, году в 1946 или 1947, — продолжает Трифонов, — я купил в букинистическом магазине старое издание Бунина (приложение к “Ниве”), переплетенное в три тома, и читал запоем. Бунин был для меня открытием: какова может быть сила пластического, живописного слова! Никто прежде именно в этом смысле — воздействия фразы, слова — так сильно на меня не действовал. Поражало еще, как удивительно точно и живо говорят люди, крестьяне. Вскоре удалось в букинистическом магазине на Арбате купить “Митину любовь” — книжечку, изданную в 1925 или 1926 г., в Ленинграде, в издательстве “Прибой”. Это была необыкновенная удача <...>».

Прервем теперь московскую фабульную линию и перенесемся в повседневную круговерть, в которую был вовлечен живой И.А. Бунин в то же самое время в Париже.

14 июня 1946 года Президиум Верховного Совета СССР издал «Указ о восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской империи, а также лиц, утративших советское гражданство, проживающих на территории Франции». Это была крупная акция по репатриации эмигрантов на родину.

Указ был оформлен и оглашен в июне. Но понятно, что акция подспудно разрабатывалась и готовилась заранее. Со всей ее организационно-идеологической оснасткой.

В эти самые месяцы и недели в Париж прибыл поэт и журналист, овеянный героикой войны, молодой, красивый, с густой шевелюрой темных волос, со жгучим взглядом черных и быстрых глаз, тридцатилетний Константин Симонов. Тогда уже трижды лауреат Сталинской премии, по должности заместитель генерального секретаря Союза писателей СССР, то бишь по ад-

министративной линии напарник А.А. Фадеева, второе лицо в писательском Союзе, Симонов был откомандирован в Париж для литературных выступлений. Но сверх того в списке его дел и поручений имелась потаённая и деликатная миссия, возможно, одна из главных, — прозондировать возможности возвращения на родину И.А. Бунина. Или, на худой конец, хотя бы формального получения им советского гражданства, что тоже имело бы немалый политический резонанс.

По этому поводу они и встречались с нобелевским лауреатом пять или шесть раз. То в многолюдном клубе, где кто-то взял на себя труд их познакомить, то для бесед с глазу на глаз в различных ресторанах, а однажды и у Бунина дома.

Парижский ресторан «Лаперуз» был самый изысканный, дорогой и аристократический. На него, вспоминает К. Симонов, «с некоторым недоверием к моим возможностям», и «выставил» для начала бойкого молодого советского посланца, пригласившего его отобедать, ироничный и наблюдательный Бунин.

Жилищем Буниных в Париже «была большая, обветшавшая, запущенная — квартира обнищавших петербургских интеллигентов». Званный ужин, в узком составе, провели здесь на взаимно согласованных началах, предложенных Симоновым, — «ваша территория, мой провиант». Продукты, закупленные в коммерческом Елисеевском магазине, были доставлены самолетом из Москвы, как можно догадываться, не властью одного Симонова. И Бунин, вкушая «московские харчи» после голодовки оккупации и здешних лишений, «смеясь, приговаривал: «Да, хороша большевистская колбаска!»

«Мне трудно вспомнить, как он был одет, — пишет Симонов, — но на нем все хорошо сидело и выглядело хорошим. Уже суховатая старческая шея, сухощавое лицо. Видимо, оттого, что он похудел не за последние годы военной голодовки, а всегда был худощав, это помешало образоваться на его лице и шее мешкам и складкам». На ужине, по просьбе хозяина, Симонов читал свои стихи, объединенные позже в книгу с боевитым названием «Друзья и враги». Был там и эпизод из поэмы, связанный с недавней поездкой в Японию: «Я в эмигрантский дом попал, в сочельник, в

рождество». Изображалась судьбоносная для героев ночь под Рождество в эмигрантской семье, получившей советские паспорта.

Выслушав поэтическое чтение, Бунин, помедлив, через некоторое время испытующе произнес:

« — Однако вы рискнули это читать мне?

— Да, Иван Алексеевич, рискнул.

— Рискованно, рискованно, нашего брата вы там не больно пощадили».

Во время таких встреч там и здесь велись свободные доверительные разговоры. Много лет спустя Симонов воспроизвел происходившее в мемуарном очерке «Из записей об И.А. Бунине».

При самом высоком уважении к таланту Бунина и безупречному его поведению в пору фашистской оккупации 76-летний парижский эмигрант в глазах убежденного посланца Советской державы в том, что касалось современных идей в мире, выглядит в очерке все-таки вынужденным из нафталина господином, который ничего не понял и ничему не научился. Недаром всего лишь несколько недель спустя, как пишет автор, — «осенью 1946 года Бунин выступил в Париже с заявлением достаточно враждебного нам характера».

В очерке не уточняется, что поводом для такого выступления стало постановление ЦК партии «О журналах “Звезда” и “Ленинград”», означавшее крутой поворот сталинского режима к идеологическому подавлению внутри страны, а в плане международном первые трубные звуки холодной войны в духовной сфере. Однако Бунин свой выбор сделал немедля. В специальном заявлении для печати он осудил начавшийся в СССР идеологический погром. После этого все предыдущие маневры и ностальгические увещевания с лауреатом нобелевской премии утрачивали смысл.

И как же все враз переменялось! Вместо рейсовых самолетов с продуктами из Елисейского магазина и парижских ресторанов, вместо овечьего героикой войны молодого красавца и своего застольного собеседника Симонова вблизи объявился не то журналист, не то государственный сановник, процветающий господин, в хорошем гражданском костюме, с пружинистой по-

ходкой, умеющий смотреть на окружающих с прицельным прищуром неподвижных светлокарих глаз, — правдист-международник Юрий Жуков.

Подробности дальнейших событий взяты мной из свежей публикации семейного архива поэта Григория Санникова, работавшего в те времена заместителем редактора в журнале «Октябрь». В названном журнале и появилась очерковая статья Жукова под нарочито расплывчатым названием «На Западе после войны» (1947, № 10). У тогдашнего сотрудника «Октября» осталось на руках письмо И. Бунина — отклик на задевшую его публикацию. Пробриться на страницы журнала оно, разумеется, никаких шансов не имело.

Сын поэта и тогдашнего заместителя редактора журнала «Октябрь» Д. Санников сделал выписки из тех мест сочинения Жукова, что посвящены Бунину. Публикация доносит до нас раскатистый лай из удаленной эпохи:

«...Маленький сухонький Бунин: рафинированное лицо эстета, под усталыми глазами дряблые мешки, седой, аккуратно расчесанный пробор, пенсне. Он старчески жуёт губами, утомленно потирает лоб... Бунин поеживается, убирает со стола ландыши, открывает книгу и начинает читать свой старый рассказ “Смерть”... Он читает с некоторым раздражением, как учитель, перегруженный уроками, читает много раз повторенные им тексты... Бунин входит и стоит, прислонившись к притолоке. Он глядит пустыми глазами в зал, раздраженно жуёт губами, сердится на что-то, но не уходит». Бунин «с деланной живостью начинает говорить; «озадаченно повторяет»; «раздраженно машет рукой: “Ну что ты, матушка, говоришь”»; «он помолчал, пожевал по-стариковски губами и сухо повторил...»; «резко оборвав разговор, стал прощаться и потянулся за своим видевшим виды пальто и мятой шляпой». Заканчивается статья так: «...строгий и желчный. Раздраженный и обиженный на своих слушателей, на самого себя, на свою судьбу, на судьбу всей эмиграции, бесцельно растратившей лучшие годы в добровольном изгнании».

Прочитав о себе такое в случайно подвернувшемся ему под руку номере советского журнала, герой очерка с опозданием

отозвался на эту публикацию письмом в редакцию (25.3.1948). В первой части письма он ядовито иронизирует над кривым зеркалом своего отображения. Убогого обносившегося старикашки, чтеца рассказа о смерти на вечере «Общества русско-еврейской интеллигенции», обрисованного автором в духе «классических пошлостей». Во второй части затрагивает некоторые идеологические детали.

«Совершенно нелеп и лжив и второй мой портрет, сделанный Жуковым, — пишет Бунин, — он ведь не удовольствовался одним — нелеп тем более, что полностью разрушает первый. Этот портрет сделан уже на основании личного знакомства Жукова со мной и с моей женой, какое знакомство состоялось по окончании вечера, когда Жуков подошел ко мне с каким-то другим господином и, замирая от восторженного подобострастия, сказал мне, какое великое счастье испытал он в Берлине, читая зарубежные издания каких-то моих книг. Тут я с машинальной любезностью, обычной в таких случаях, что-то отвечал на его восторги — и, конечно, уклончиво, шутливо на его бестактные вопросы, намерен ли я вернуться в Россию. А что же прочел я в “Октябре”, только недавно и случайно попавшем в мои руки? Прочел, что ядовитый и, как видно, энергичный старикашка превратился вдруг в блаженного, расслабленного полуидиота, что-то смущенно бормочущего, называющего свою жену “матушкой”, невзирая на свое “рафинированное лицо эстета” и т.д. и т.п.

Ив. Бунин».

Однако все это происходило уже на первых разворотах холодной войны.

Вернемся теперь к Федину, пребывавшему в Москве, еще в затишную пору «поиска разведчиков», до череды зубодробительных идеологических постановлений ЦК и знаменитой речи Черчилля в Фултоне.

Через две недели после отосланных одна за другой книг (1 марта 1946 г.) Бунин написал Федину письмо. Там упоминаются два близких ему человека, в разной степени известных Федину. Один из них — Я.Б. Полонский, парижский журналист-эмигрант, с которым Федин недавно вел разговоры в кулуарах Международного

трибунала в Нюрнберге. Другой, знакомый гораздо ближе, — Николай Дмитриевич Телешов, писатель-«знаньевец», живая достопримечательность столичной литературной среды, старый друг и ровесник Бунина.

Текст послания был таким:

«Париж, 15 марта 1946 г.

Очень благодарю вас, Константин Александрович, за ваш привет мне через моего друга Я.Б. Полонского. Он же сообщил мне с ваших слов, что Государственное издательство решило выпустить том моих сочинений. Почти одновременно я получил открытку из Москвы от Телешова, где, между прочим, такая фраза: “В Государственном издательстве печатается книга твоих произведений листов в 25”.

Сообщение ваше и Телешова меня очень взволновало. Очевидно, будет выпущен большой сборник из всего мной написанного, самое существенное из труда всей моей жизни, и я опасаясь, что редакторы возьмут многое из издания моих сочинений 1915 года (приложение к “Ниве”), первый том которого будет заставлять меня стонать даже и в могиле. Полагаю, что Государственному издательству незнакомы окончательные, исправленные тексты моих заграничных изданий (собрание моих сочинений в издании берлинского “Петрополиса” и др.).

Константин Александрович, вам ли объяснять, что я должен чувствовать, — я, для которого даже каждая неуместная запятая есть истинная мука! Через несколько дней после открытки Телешова я написал ему горячее (может быть, даже слишком горячее) письмо и почти полную копию этого письма — Государственному издательству через старшего советника посольства в Париже, А.А. Гузовского. Но ответа до сих пор не получил.

Простите, что докучаю, может быть, вам своею литературной бедой. Если можете, вступитесь за меня перед Государственным издательством: пусть оно поставит меня в известность о том, что именно оно предполагает напечатать, и подождет моего ответа относительно выбранных им текстов.

Я не касаюсь вопроса гонорарного, так как полагаю, что он будет решен по справедливости.

Примите мой сердечный привет.

Ваш Ив. Бунин».

Обещания об издании его сочинений в Москве исходили, понятно, не от Фебина. Писатель — корреспондент «Известий» в кулуарном разговоре лишь оповестил о том, что в московской литературной среде было достаточно известно. Почти одновременно открытку на этот счет Бунин получил от Н.Д. Телешова. Николай Дмитриевич был куда определеннее и категоричней. Он извещал уже не о намерениях, а о действиях: «В Государственном издательстве печатается книга твоих произведений листов в 25».

Значит, решение было принято где-то на самом верху и не составляло тайны в Москве. Бунина эти известия немало взволновали, а памятуя печальный опыт с приложением к «Ниве», всполошили. Он принялся лихорадочно раздумывать и прикидывать, на кого бы опереться и положиться при осуществлении издательского проекта в Москве.

Выбор пал на Фебина. Человека с хорошей репутацией. Стоит подчеркнуть, что в 1946 году Фебин не занимал руководящих чиновных постов, разве лишь выборный общественный пост — председателя московской секции прозы. Бунин обращался к нему просто как к русскому писателю, книги которого он читал, видному мастеру, вкусу которого доверял.

Письмо исполнено доверительных интонаций. К Фебину Бунин обращается как к собрату по искусству, человеку пунктуальному и ответственному, хорошо понимающему, что значат для настоящего художника каждое слово и каждая запятая. «Литературная беда», как он ее именует в письме, состояла в том, что в 1915 году при издании его сочинений в приложениях к журналу «Нива» издательство популярного еженедельника, пользуясь тем, что Бунин находился в финансовой зависимости, допустило произвол в выборе текстов, торопливость и неряшливость в их воспроизведении. Особенно в первом томе печатавшегося собрания. Чтобы не случилось нечаянного повторения этой «беды», Бунин и просит Фебина «вступить за меня перед Государственным издательством». При составлении «изборника» подать свой голос.

Наметившийся диалог литературной «эмиграции» и «метрополии», как уже сказано, оборвал шквал идеологических постановлений ЦК ВКП(б), в которых, как и в речи Черчилля в Фултоне, прозвучали первые раскаты холодной войны. Бунин отреагировал мгновенно и без колебаний.

Но от марта до августа оставалось еще почти полгода прежней радужной эпохи союзнической близости и надежд. Бунин выжидал издательской определенности в Москве, ответа на свой запрос от старшего советника посольства по культуре в Париже А.А. Гузовского, наконец, отклика на полученные книги от Федина. И свое письмо с конкретными деловыми просьбами к нему задержал, не отправил.

В свою очередь от московского адресата, конечно же, требовалось как-то отреагировать на столь редкий и ошеломительный сюрприз — на полученные им книги из Франции. Что сделать? Можно было бы послать в Париж благодарственные строки, поинтересоваться жизненными и литературными обстоятельствами Бунина, как-то еще проявить интерес к дальнейшим контактам с ним. Ничего этого Федин не сделал. Протянутая рука нобелевского лауреата, который был к тому же на 22 года старше, повисла в воздухе. Книжные дары остались без ответа.

Почему?

Федин слишком хорошо знал идеологических бульдогов, которые лишь на минуту втихоря прилегли под хозяйской скамейкой в тени и ждали отмашки. Статью Жукова о Бунине в журнале «Октябрь» Федин позже мог читать. Но даже если и не читал, то легко мог вообразить пыл и жар подобных статей. О нем самом не только в 20-е — 30-е годы, а даже почти вчера в связи с мемуарами «Горький среди нас» писались схожие опусы. На Лубянке или на Старой площади стоило лишь обронить: «Фас!» — и эти бульдоги так привычно и легко впивались в хлипкие писательские шеи. А Федин только за год с небольшим до этого был жестоко избит за книгу «Горький среди нас», заспинно обращен в «германского шпиона» и чуть не оказался за решеткой. Почтовый отклик начал начало переписки, что, конечно, не могло укрыться от ока Лубянки. А этим собаководам вторично на глаза лучше было не

попадаться. Вот отчего он отмалчивался, выжидал, не торопился с ответом на лестные и взволновавшие его бунинские подарки.

Правда, конечно, и то, что в Москве, неподалеку от Фебина, проживал уже упоминавшийся друг и ровесник Бунина Николай Дмитриевич Телешов. Даже в самые жестокие развороты событий конца 30-х годов он не обрывал переписки с французским эмигрантом. И об этом при случае не страшился сообщать в близком кругу. Но то был глубокий старик, музейная редкость — и что с него взять?!

Федин же наедине с собой внутренне вымеривал, расставлял. Собственную тревогу отодвигал вспышками рассуждений — где тут осторожность, трусость, а где мера здравого смысла? Корил, но и оправдывал себя. Словом, расчетливость, опасливость и страх возобладали над высшими порывами сердца и души. Даже «побратиму» Соколову-Микитову, похоже, не сказал всего. Не хотел слишком растревлять Ивана Сергеевича перспективой небыточных общений.

Ведь в глазах того Бунин был существом особым, наивысшим авторитетом. Чувство укоренилось после их былых личных встреч. В сумятицу Гражданской войны в Одессе, занятой тогда белыми, Бунин напечатал в здешней газете один из деревенских рассказов молодого черноморского матроса с зашедшего в порт торгового судна. Тут же предложил ему «фиксу» — постоянную оплату за дальнейшее сотрудничество. Дарственной надписью на своей книге «Человек из Сан-Франциско» благословил талант.

Своим творческим самоопределением Соколов-Микитов обязан был не только Аксакову с его «Семейной хроникой» или Тургеневу с «Записками охотника», как было принято подчеркивать в глухие советские времена, но и Бунину прежде всего, начиная с его беспощадно правдивой повести «Деревня».

Впрочем, и Федин тогда многого не знал. Само письмо Бунина он прочитал лишь четверть века спустя, в начале 70-х годов. Когда оно вместе с другими бумагами поступило из Парижа в Москву для готовившегося двухтомника «Литературного наследства» от вдовы писателя Веры Николаевны Муромцевой. Иван Алексеевич умер еще в ноябре 1953 года. Вот теперь, через даль лет, адресат

заново взглянул на себя. Но терзаться своим поступком он начал много раньше.

В дневниках, которые теперь опубликованы, Федин вновь и вновь возвращается к оценкам Бунина и его творчества. Воспоминает о полученных по почте книгах. Казнит себя. «По-прежнему возвращаюсь к Бунину, — записывал он 23 октября 1957 года, — стыжусь, что промолчал в ответ на подаренные им книги».

Осторожность, трезвый расчет, умение взнуздывать и держать в кулаке свои чувства, как бы ни билось и ни трепыхалось сердце, — вот что не раз выручало и спасало его в жизни. И это же, как он знал, было его гибелью. Было его проклятьем.

Грех своего давнего малодушия к человеческой судьбе и искусству Бунина Федин исправил выступлением на Втором съезде писателей в декабре 1954 года. Ударным моментом речи стали характеристика и оценка литературного наследия Бунина, «русского классика», как он впервые заявил с высокой советской трибуны, и призыв возвратить на родину его книги.

«Не следует, по моему мнению, — звучал вывод, — отчуждать Бунина от истории русской литературы, и все ценное из его творчества должно принадлежать читателю». Атакующее по тем временам новшество.

19 мая 1955 года Федин записывал в дневнике: «После того, как я осмелился сказать о Бунине в речи на Съезде, его оживляют: выбрали несколько маленьких вещей для “Нового мира”, еще робко, с предварением читателя о его роковой “позиции”. Будет скоро выпускать книги Гослитиздат... Все же я сделал, что мог: назвал *имя*».

Добавлю здесь, что «Новый мир» в это время редактировал К.М. Симонов. И он тоже по-своему торопился исправить казенные зигзаги своего поведения чуть не десятилетней давности.

Среди тех, кто наезжал в село Карачарово Калининской области, где в деревенском домике вдаль от суеты проживал Соколов-Микитов, ученик Бунина и самобытный художник, помимо Федина, был, как уже сказано, еще один давний поклонник того же мастера — Александр Твардовский. Причем интерес тут также был взаимным и обоюдным.

Еще в первые послевоенные годы Бунин ознакомился с поэмой Твардовского «Василий Теркин». Под впечатлением от прочитанного Бунин писал в Москву Н.Д. Телешову (10 сентября 1947 года): «...Прошу тебя, если ты знаком и встречаешься с ним, передать ему при случае, что я (читатель, как ты знаешь, придиричивый, требовательный) совершенно восхищен его талантом». О самом «Теркине» тут же прибавлял: «Это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, какая точность во всем и какой необыкновенный народный, солдатский язык — ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, т.е. литературно-пошлого, слова».

...Издательский шлюз для книг Бунина в СССР в 1954 году открыл Федин.

А когда в 1965 году в Москве началось издание девятитомника Бунина, веское слово о нем сказал Твардовский. Ему принадлежит Вступительная статья «О Буине» к первому после почти полувека вытравливаний и насильственного забвения Собранию сочинений писателя (1965—1967 гг.). Более 40 страниц убористого текста — тоже первый такого размаха и исследовательского полета монографический очерк о писателе-эмигранте в СССР. Далеко не безукоризненный, конечно, а в некоторых местах даже уязвимый и ложный (если принимать во внимание некоторые биографические оценки поведения Бунина в Гражданскую войну, суждения о его книге «Окаянные дни», общие представления о зарубежной русской эмиграции и т.п.), но содержащий глубокие проникновения в особенности художественного мира русского классика. Между прочим, в перечне современных учеников Бунина Твардовский называет и Федина...

Твардовский любил творчество Бунина, которого «усердно перечитывал в молодости по его “нивскому собранию сочинений”». «В моей собственной работе, — признавался автор, — я многим обязан И.А. Бунину, который был одним из самых сильных увлечений моей юности»

В связи с темой жизненных и духовных взаимоотношений — Федин, Твардовский и Бунин — стоит сказать об этом чуть подробнее.

Во *Вступительной статье* Твардовского проанализированы произведения Бунина «деревенского цикла», включая центральную дореволюционную повесть «Деревня» (1910). Причем проделано это не только с общественно-политических позиций. Прослежены одновременно главные «мотивы бунинской поэзии в стихах и прозе» — любовь и смерть.

Поэту любви Бунину, как художнику, было присуще врожденное чувство смерти. Разбить лед казенного оптимизма стремится и Твардовский. «Немалое число людей... — замечает он, — с привычной бездумностью на словах, что, мол, все смертны, все там будем, вообще не впускают в круг своих размышлений полной реальности своего конца или полагают, что если смерть и неизбежна, то к ним она придет, по крайней мере, в удобное для них время. <...> Такая беззаботность в иных случаях, в час испытания реальностью смерти оборачивается животным трепетом перед ней, готовностью откупиться от нее чем угодно...»

Высокой проникновенности достигает пишущий, когда обращается к разбору дарований Бунина-художника и применяемой им системы изобразительных средств. Вместе с автором статьи читатель совершает путешествие в мастерскую писателя.

Напротив, козлы ржавой колючей проволоки и баррикадные завалы взгромождаются перед духовным собеседником, как только речь заходит о священных и непререкаемых постулатах. Об Октябрьской революции, большевиках и советской власти...

Один из главных поводов для таких размежеваний — книга «Окаянные дни», возникшая в 1917—1919 годах. Дни, когда, по словам Бунина, «раскрылась такая несказанно страшная правда о человеке».

Факты и картины происходящего вокруг воспроизводятся Буниным-очевидцем именно с широких гуманитарных позиций. И уж, конечно, не только из-за житейских передрыг (как выражается автор статьи) «застигнутого бурями революции и терпящего от них порядочные бытовые неудобства и лишения» «его превосходительства, почетного члена императорской Академии наук».

Если в критических очерках Горького «Несвоевременные мысли» примерно той же поры написания и сходной тематики

встречаются вихляния типа «нельзя не признаться, нельзя не сознаться», то «Окаянные дни» Бунина — это стопроцентная, без оглядок и извинений, воссозданная правда. Правда о том, что произошло с Россией, с народом. Это книга о Родине, о развале отчего дома и о себе.

Однако идеологические постулаты интерпретатора превыше фактов. Как же тут быть? Дело доходит до курьезов. С частными искривлениями вроде еще можно мириться ради таланта. Автор-атеист Твардовский готов еще, как популярно поясняет, не «вычеркивать, например, в “Воскресении” Л. Толстого цитаты из Евангелия (!?), приводимые в конце этой книги, хотя они там представляются достаточно фальшивыми. Однако всему есть предел (!?). Бунинские писания, подобные его дневникам 1917—1919 годов “Окаянные дни” <...> эти писания мы (!?) решительно отвергаем. Я, например, не вижу необходимости останавливаться на этих “Днях” <...> (даже и останавливаться не стоит?!). Здесь мы должны выбирать: либо, отвергая Бунина-реакционера, белоэмигранта, в политических воззрениях скатившегося до самого затхлого монархизма, отвергать и все прекрасное, что было создано его талантом, либо <...> Выбор этот давно сделан (!?)». Кем, спрашивается? Отделом пропаганды ЦК КПСС? Или еще кем?

Таковы пределы либерализма даже у такого безукоризненно честного гражданина и человека, как Твардовский. Выдающийся художник, и он в таких случаях заговаривал на жаргоне советских полубогов, к которым по своему общественному положению частично принадлежал. Ведь за писание творческой установочной статьи принимался кандидат в члены ЦК КПСС, бессменный депутат Верховного Совета СССР, трижды лауреат Сталинской премии, лауреат Ленинской премии и пр. пр. Удивительно еще, как высоко он взмывал и далеко уносился в поисках истины!

НОМЕНКЛАТУРНАЯ ХВОРЬ

Всякая болезнь духа имеет, конечно, свою предысторию. Когда же и где на общественной стезе произошел первый душевный слом у Федина? Или был не один, а много?

Виной фединских терзаний и нерешительности 1946 года — отвечать ли Бунину и, если да, то как, — помимо ходовых тогда мыслительных трафаретов, был почти физиологический страх. Ночные его наплывы и безысходные удушья, мешавшие жить и совершать простые естественные поступки, томили его несколько месяцев, начиная с лета 1944 года. Потом вроде бы всё понемногу отхлынуло, развеялось. Но черные напластования страха залегли где-то в глубинах души...

5 декабря 1956 года, который отмечался в стране как праздник Дня Конституции (сталинской, принятой ровно 20 лет назад по докладу И.В. Сталина, однако теперь уже без особых на то упоминаний), К.А. Федин оставил следующую запись в дневнике о герое своей трилогии — большевике Извекове: «5.XII — Смысл в том, что Извеков не сдается. И за это я его люблю. И за это будут его любить читатели.

Это моя праздничная мысль.

А сегодня праздник. Конституции. То есть *лучшего по идее*. Из всего, что у нас есть».

Смесь реального и идеального, действительных достижений и потоков лжи — вот что представляла собой эта Конституция. Если вспомнить одну только статью о руководящей роли партии, то документ этот не воплощал собой лучшего даже по отвлеченной идее. Но нехватка кислорода в окружающей атмосфере, видимо, подогревала жар самовнушений и толкала писателя к душевной экзальтации настолько, что он начертал и оставил эту запись для себя в дневнике.

Не в это ли десятилетие 30-х годов, когда создавалась сталинская Конституция и начали все чаще навещать Федина те самые навязчивые состояния, на которые позже, как на душевную хворь и жизненную западню, он жаловался в дневниках и письменных исповедях? Окончательно осозналось все это, а частично обратилось в кошмар наяву, может, и значительно позже. Но основы и трамплины для таких состояний закладывались уже тогда.

В дневниковых записях и письмах самым близким друзьям Федин признавался в неотвратимо совершавшихся с ним духовных утратах, жертвах «духа святого» ради самосохранения,

нения и расхожей репутации. Чувствовал, что иногда опускается, чуть ли не идет ко дну.

С горечью отмечал это, например, в письменной исповеди питерскому другу-этнографу М.А. Сергееву. «Беда, как ты знаешь моей жизни, — писал он там, — состоит именно в том, что я жертвую делами сердца ради всякого рода иных дел, не требующих ничего, кроме драгоценного и невозместимого времени. Одна из таких жертв тяготит меня больше всего: сердце (да и не одно оно, а все человеческое, что во мне еще живет, включая и брэнное тело) требует, чтобы я сделал то «лучшее», о котором не перестаешь мечтать, как о лучшем, — это, конечно, книга — какая-то полноценная и полнокровная, от всей душевной силы написанная книга, зовущая к себе денно и ночью. Чувство это было и прежде — вот напишу самое лучшее, на что способен, напишу так, что все ранее написанное отойдет в небытие рядом с этим новым и — может быть — “совершенным”, — вот-вот напишу!...»

А вместо этого зачастую — поток бесконечных повседневных дел, полезных, бесполезных и вынужденных: «...Я все реже выдаю людей, видеться с которыми хочу я, и почти постоянно обращаюсь среди тех, кому требуется видеть меня. Это значит, что я не езжу туда, где лично мне хочется быть, не встречаюсь с новыми и нечаянными характерами, а только варюсь и прею в окружении давно насквозь известных, до дна исчерпанных знакомцев и подвергаюсь привычному раздражению, не вызывающему во мне никакого “движения воды”, — дух мой чаще всего усыпляется и мертвоет в обыденном кругу “литературной” либо иной подобного рода среды. К этой же последней жертве “духа святого” относится и то усилие, какое требуется общественной моей репутацией для ее “поддержания”: я обязан выполнять некоторые поручения, считаться с потребностями представительства, вести угнетающую меня переписку».

«Ну, вот сколько я уже намахал, — продолжает Федин, — а ведь не сказал пока ничего нового, — все тебе давно и основательно известно. Я только хочу, чтобы ты не понял мое излияние как жалобу. Жаловаться надо бы на одного себя. В самом деле: поче-

му я, при максимально благоприятных условиях, построил свою жизнь так, как она описана выше — из сплошных и довольно нелепых жертвоприношений? Не знаю. Не могу уразуметь... Разве только потому, что эти благоприятные условия не были бы возможны... если бы я строил жизнь как-нибудь по-иному? Чем черт не шутит — это, скорее всего, пожалуй, так!..» (Письмо от 20 июля 1954 г.)

Итак, жертвоприношение «духа святого» в угоду службе, внутренней свободы ради затверженных порядков, собственного искусства во имя житейских расчетов и выгоды.

Диктаторские общественные системы всегда изобретали разные формы (да и до сих пор, перелицовываясь, не оставляют стараний!), если и не полного обращения, то использования людей, цвета культуры, в качестве «говорящих патефонов», как в сердцах однажды выразился он сам. И, надо сказать, преуспевают немало. Не очень скоро и не сразу, но и Федин временами поневоле обращался в один из таких патефонов.

В 1939 году опубликован рассказ «Рисунок с Ленина», вошедший во все тогдашние хрестоматии.

Рассказ написан с «натуры». Летом 1920 года Федин в качестве корреспондента «Петроградской правды» слушал доклад В. И. Ленина на Втором конгрессе Коминтерна и присутствовал еще на двух его выступлениях на Марсовом поле и на Дворцовой площади. Результат наблюдений вылился в газетный романтический очерк 28-летнего репортера под названием «Крупницы солнца». Молодой журналист очень старался, но патетика чувств, пафос сиюминутных переживаний да и духовная неопытность, по позднейшей собственной оценке, возобладали над пластикой изображения.

В сюжете рассказа «Рисунок с Ленина» на место былого репортера определен вымышленный персонаж — молодой живописец, пытающийся по ходу выступления Ильича в многочисленных эскизах запечатлеть на бумаге его портрет. А результат все тот же — не получается! Гений и пламень неуловимы! Якобы неисчерпаемое богатство «натуры» делает грубыми и неуклюжими все эскизы. На неудачу, сходную с некогда пережитой им самим,

автор обрекает героя. Однако... Автором рассказа упускается из виду кажущаяся малость — два десятилетия, прошедшие с той поры. Опыт исторического познания, жизненных испытаний, приобретенный за это время не только писателем, но и читателем. Сочинение, хотеть этого или нет, заведомо сориентировано на легенду — на бездумное, некритическое восприятие и мышление. На усредненного читателя, привыкшего с доверительной безразборчивостью глотать идеологические штампы.

Между тем взгляд думающего и хотя бы отчасти критически настроенного современника через два десятилетия никак уж не может сбрасывать со счетов, во что обошлось людям, народу России обожествление этого политика и его идей. Тем более если смотреть нынешним взглядом, без шор, перед нами не только намеренная фабульная неудача. При мастерстве литературного исполнения весь рассказ — идеализированная «натура», тонко изукрашенный шаблон, еще одна вариация насаждаемых в массы идеологических представлений о том, каким якобы «солнцем» без пятен и святым неуловимым духом был гений революции.

А несколько ранее — зимой 1936 года — Федин задумывает историко-революционную эпопею под названием «Шествие актеров». Сильной стороной романного цикла стали живые и противоречивые фигуры людей искусства — драматурга Пастухова, актера Цветухина и их многоликого окружения, сочное изображение жизни и быта волжской российской глубинки, мещанской и интеллигентной среды. Особенно свеж и красочен в этом отношении роман «Первые радости». Да и вообще, если говорить о развитии заявленной темы — судеб художников на переломах эпох, то после романов «Города и годы», «Братья», повести «Я был актером» и других Федин продолжает движение по собственной оригинальной стезе.

Однако же, что касается расстановки акцентов и фигур положительных, то творческие устремления писателя затейливыми путями стали отделяться от жизни. Парить и скользить, будто чайки над морем, иногда как-то поверх жизненных волн и реальности.

Те самые большевики, результаты хозяйничанья которых в стране, как организованной исторической силы, он видел и

понимал, являться стали в облике рыцарей истины и добра на страницах того же романного цикла. Правда, по сюжету, то была их романтическая юность, героическая и самоотверженная молодость лучших из лучших большевиков, что когда-то и как-то еще отвечало реальности. Отбирались при том наиболее искренние, честные и бескорыстные. Вроде Рагозина и Извекова в романах «Первые радости» (1943—1945), «Необыкновенное лето» (1945—1948)...

Понятное дело, что при создании задуманной историко-революционной эпопеи о людях искусства обойтись вообще без положительных образов большевиков в условиях советского режима было просто невозможно. Примерно так же, как без пропуска пройти через проходную на военный завод. Однако же, скажем, в трилогии «Хождение по мукам» Алексея Толстого (1920—1941), упредившей Федина и потому, что греха таить, отчасти в состязании, а порой и с подражательной оглядкой на которую писался его романтический цикл, вовсе не герои-большевики находятся в центре авторского внимания. Катя и Даша, Телегин и Рошин одержимы собственными и в основном личными исканиями. Тем более это относится к историко-революционной эпопее М. Шолохова «Тихий Дон» (1927—1940).

Партия тогда называлась ВКП(б) — Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков. Большевиками охотно именовали себя не только участники Октябрьского переворота и Гражданской войны, но и горластые функционеры молодого поколения, чиновные опричники сталинского режима.

Реальные жизненные прототипы большевиков — наиболее подходящие для фигур истинных борцов за народное счастье — к поре написания фединских романов то ли кривой политических репрессий, то ли административной метлой в подавляющем большинстве были выбиты и оттеснены с видных постов, если не вообще с исторической арены. Их место заняли люди — «рычаги» и «винтики», перерожденцы, возвращенные чередой десятилетий насильственного и бесконтрольного пребывания у власти. Выходило, что романист создавал нимб вокруг нынешних руководящих

голов. Приходилось восхвалять тех, кого он внутренне презирал или ненавидел.

Но и такая готовность к внешним уступкам и внутренним компромиссам, как обнаружилось вскоре, была недостаточной. Увы! Параллельно, как оказалось, он написал — вот ведь незадача! — слишком правдивую и яркую мемуарную эпопею о неприкасаемом Горьком. И за такой проступок подвергся беспощадному, сокрушительному разгрому.

Идеологическое побоище 1944 года вокруг книги «Горький среди нас» явилось последним жестоким предупреждением только недавно перешагнувшему пятидесятилетие Федину, в самых глубинах души остававшемуся радетеlem «чистого искусства». В мгновение ока знаменитый писатель был обращен в отщепенца, выставлен у позорного столба со связанными назад руками, перед толпой остальных, в него плевали и кидали камни ближайшие соратники и товарищи по перу. Так отучали вольнодумствовать.

Все это надо было пережить. Травма была внутренней и глубокой. От многих своих принципов Федин не отступил. Уже после постановления ЦК «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» продолжал дружить, например, с избитым, исключенным из Союза писателей, лишенным возможности печататься, психически искалеченным другом творческой молодости еще по кружку «Серрапионов» Михаилом Зошенко. Переписывался с ним. Помогал материально.

Слова духовной поддержки художника сопровождаются в письмах Федина короткими упоминаниями. *27 июня 1950 г.*: «Дорогой Миша, сегодня Дора Сергеевна поехала в город и делает то, о чем ты просишь...» (Жена Федина отправила денежный перевод М.М.Зошенко.)

8 февраля 1953 г.: «Дорогой Миша... Я решил послать тебе немного деньжонок, чтобы тебе легче работалось. Не посетуй на меня — делаю это от души».

Еще в 1943 году Федин написал блестящий очерк «Михаил Зошенко». Рассказы Зошенко по оригинальности и силе таланта сравниваются там с произведениями Лескова и Гоголя.

Напечатать очерк из-за начавшихся идеологических погромов Федин не успел. Но готовя в 1957 году упоминавшийся сборник «Писатель. Искусство. Время», в неизменном виде включил его туда.

Постановление ЦК к той поре никто и не думал отменять. Однако, возвеличивая одного из главных фигурантов, Федин молчаливо подсекал основу партийного документа. Статья практически содержала не просто духовную реабилитацию Зощенко, но и новое высшее утверждение его художественной значимости. Федин гордился, что успел публично высказать это при жизни друга.

Не отрекся он и от Ахматовой. В 1946 году, едва не оказавшись за тюремной решеткой, изруганный за книгу «Горький среди нас», Федин писал своему ленинградскому другу — писателю Н.Н. Никитину: «Ахматовой передай привет. Узнай, как живет Анна Андреевна, и напиши мне непременно».

«Это был знак моральной поддержки, — замечает публикатор архивных документов В. Перхин, — в тот год, когда А.А. Жданов объявит Ахматову и ее стихи ненужными в советской литературе».

На домашнем уровне Федин продолжает поддерживать дружеские отношения с Ахматовой (как и с Зощенко). Дневниковая запись Фебина (после 23 сентября 1949 года): «К обеду Анна Андреевна Ахматова. По-старому “царственное” величие... Классицизм суждений, бесстрастие взгляда как плод гордого самосознания. При полном понимании труднейшего своего положения “отвергнутой”, она как бы говорит, что покоряется необходимости быть именно отвергнутой, ибо “достойна” играть столь важную роль “избранницы”. Все это без навязчивости, с прирожденным тактом самоуважения».

И для Фебина это была линия давних и стойких отношений. Еще в 1929 году, возглавляя кооперативное Издательство писателей в Ленинграде, он добивался публикации двухтомника Ахматовой. Гонимой, к той поре официально почти забытой. В записке, направленной в центральное цензурное ведомство весной 1929 года, Федин, в частности, писал: «Анна Ахматова занимает в поэзии место бесспорное. Обойти ее в истории русского стиха так

же невозможно, как невозможно обойти Тютчева, Блока, Хлебникова». В марте следующего года он специально ездил в Москву и в течение полутора часов пытался убедить в этом начальника Главлита П.И. Лебедева-Полянского. Вбить истину в каменную голову или же, мягче сказать, — своротить главного цензора с постаментов ортодоксии не удалось. Вгорячах Федин оставил запись в дневнике: «Нельзя назначать на цензорское место людей, которым место в приюте для идиотов».

Показательный документ выкопан из архивов составителями уже упоминавшегося нами нового архивного сборника *«Между молотом и наковальней»* (2009 г.). Во второй половине 30-х годов, как уже сказано, Федин был председателем Литфонда СССР. 15 ноября 1939 г. он писал из Москвы в Ленинград Михаилу Зощенко:

«Дорогой Миша!

Президиум Союза вынес ряд решений для обеспечения жизни и быта А.А. Ахматовой. Ей будет выдано единовременное денежное пособие, и Литфонд будет выплачивать известную пенсионную сумму впредь до получения от правительства постоянной персональной пенсии.

Ты знаешь особенности характера Анны Андреевны и понимаешь, как трудно наши благие намерения осуществить, не обижая Анну Андреевну. Поэтому очень прошу тебя дело в части Ленинградского горсовета (мы просили предоставить Анне Андреевне самостоятельную площадь) взять на себя.

Сходи, пожалуйста, в Ленсовет к тов. Попкову, который предупрежден о твоём визите, и помоги в этом срочном и крайне важном деле. Выписку из нашего протокола, которую, на мой взгляд, не следует разглашать и, конечно, не нужно показывать Анне Андреевне, которая должна быть поставлена перед свершившимся фактом помощи ей, посылаю тебе с этим письмом.

Твой *К. Федин*».

Сколько тут такта, знания человеческой психологии, заботы о выдающемся поэте, учета тонкостей непростого характера и натуры.

Одновременно, читаем в комментариях, Федин направил руководителю Ленгорисполкома П.С. Попкову выписку из постановления президиума ССП от 11 ноября 1939 г. и сообщил, что все дела по этому вопросу поручено вести М.М. Зошенко. Несмотря на долгое противление местных чиновников, замысел в полной мере удалось осуществить.

Из дарственных автографов Ахматовой Федину петербургский публикатор В. Перхин, если вернуться к его статье в журнале «Нева», складывает смысловую колонку. В апреле 1937 года, когда истребительные репрессии косили все вокруг, Анна Андреевна написала на журнальной статье по творчеству Пушкина: «Константину Александровичу Федину — прекрасному писателю и доброму человеку. *Ахматова*». В августе 1940 года, после полутора десятков лет молчания, вышел наконец долгожданный сборник ее стихов «Из шести книг». Поэт в дарственной надписи обозначила уровень отношений: «Милому Константину Александровичу Федину от его старого друга. *А. Ахматова*».

«Старого друга» — такими словами она не бросалась.

«Да, позади были тридцать пять лет дружеского, сердечного внимания друг к другу, — заключает В. Перхин свою журнальную публикацию. — Гордое величие Ахматовой поддерживало силу духа и внутреннюю независимость у склонного к колебаниям и компромиссам Федина, а его душевное внимание помогало Ахматовой выдержать десятилетия морального террора со стороны государственной власти и стаи официозных литературных критиков».

Собственный характер Федина, однако, не выдерживал давления идеологической обстановки и окружающей среды. Он задыхался и часто не находил в себе опоры. Испуг перед однажды пережитым, как химеры, плодил новые страхи.

Но это и было тем самым страхом перед жизнью, вернее, перед реальностью жизни, который диагностировал Трифонов в фигуре сочиненного им портретного двойника — Киянова в романе «Время и место».

«Делай, что должно, и терпи, что неизбежно» — девиз не только романного героя, но и самого Федина. Художник в малых делах прятался порой от больших задач, которые на него возлагало время. Чем настойчивей требовались от него прямые и открытые действия, тем глубже зарывался он порой в разброс полезных, но мелких частностей.

Одновременно это была своего рода трудотерапия души. Культуртрегерство не только разрешало назревшие, неотложные дела, несло пользу людям. Оно служило вместе с тем внутренним оправданием, по-своему спасало и как будто бы выручало.

Факты, их много... Илья Самойлович Зильберштейн — ученый-архивист, литературовед и искусствовед, — вместе с другим подвижником, профессором Сергеем Александровичем Макашиным, основал знаменитую серию «Литературное наследство». Под таким титулом публиковались неизданные документальные материалы по истории литературы и общественной мысли. В те голодные на информацию и самостоятельную мысль сталинские времена толстые архивные тома читались литературной публикой почти как бестселлеры.

Отказывая себе во многом, Зильберштейн всю жизнь разыскивал и собирал редкую графику и живописные полотна из истории русской культуры. Хранившееся у него бесценное собрание, по завещанию, он передал государству, и оно легло в основу нынешнего Музея частных коллекций в Москве.

Однажды, в конце 50-х годов, Илья Самойлович явился к Федину, бледный, с трясущимися бескровными губами. Оказывается, над его детищем — «Литературным наследством» нависла угроза. Издание выходило с 1931 года. У него был сложившийся облик, свое лицо и крохотный штат энтузиастов. Но теперь из-за зуда чиновных реорганизаций и перетрясок хрущевских времен, в которые нередко рядится обыкновенная корысть конъюнктурщиков и хапуг, все это должно было пасть и измениться. Из Академии наук издание передали в низовое научное учреждение. А новые хозяева для «большей актуальности» и связи «с партийной линией» ломали сложившийся профиль и внедряли покорных исполнителей.

«Литературному наследству» грозило удручающее падение научного уровня, превращение в сборники агиток, цитат вождей, газетных статей и второстепенных партийных бумаг. Если срочно не вмешаться, издание погибнет.

И Федин вмешивался. Переломить ситуацию было не просто. На помощь пришли другие близкие обоим люди — К.И. Чуковский, академик-языковед В.В. Виноградов. Но «Литературное наследство» при некотором уроне сохранило свое лицо и ядро единомышленников.

Более сорока лет отдал Корней Иванович Чуковский изучению любимого поэта Некрасова. Он обнаружил «многие тысячи» неизвестных поэтических строк, прокомментировал «Полное собрание стихотворений», издал несколько книг, посвященных творческой лаборатории Некрасова, его биографии, связям с предшественниками. С присущей его перу увлекательностью обо всем этом Чуковский рассказал в итоговом труде «Мастерство Некрасова».

В 1962 году книга была выдвинута на Ленинскую премию. Лучшего кандидата по разделу литературоведения, казалось, трудно вообразить. Но что же обнаружилось вскоре? В ходе так называемого печатного обсуждения кандидатур все больший напор и оголтелость набирали голоса «автоматчиков партии», врагов Чуковского.

Некрасов и его поэзия их заботили мало, хотя внешним образом аргументация вроде бы выдергивалась оттуда. Не нравился автор и его общественное поведение. В последние годы Корней Иванович, что широкую огласку обрело позже, все больше сближался с оппозиционерами и критиками режима. В истории с присуждением Нобелевской премии Б. Пастернаку в 1958 году Чуковский ходил поздравлять поэта в момент оглашения вести, да и после не однажды поддерживал его. На даче Чуковского в Переделкине постоянно обретались и получали приют подозрительные и гонимые властями люди из художественной среды. Позже, как известно, там долго жил и работал бездомный А.И. Солженицын.

По житью и месту работы я находился тогда вдали от Москвы и много знать не мог. Но волновала почти открытая газетная травля любимого с детства писателя, автора замечательной книги. Это свое отношение я и выразил в письме Федину из Сибири, где говорил «о людях, которые плюют в бороду старцу». Наверное, были и другие протесты того же заряда. Однако не подобные письма или главным образом не они, думаю, побудили Федина к действиям.

Он активно вмешался. И книга Чуковского в 1962 году Ленинскую премию получила.

Близкие по возрасту, биографиям и настроениям люди принадлежали к тому кругу старой интеллигенции, где в первую очередь искал понимания и поддержки чувствовавший себя часто не очень уверенно на своем посту руководитель Союза писателей. А кроме того, он старался опираться на своих учеников, начиная с питомцев по Литинституту, и разнообразных литераторов новой волны, вроде К. Симонова.

В январе 1962 года Владимир Санги, впоследствии один из создателей нивхского алфавита, прислал из Южно-Сахалинска первую книгу записанных им «Нивхских легенд», которая вышла тогда еще на русском языке. Ответное письмо Федина содержало разбор произведений сборника. 15 января 1962 года он писал: «Итак, появился первый нивхский писатель — певец нивхов, которому предстоит открыть другим народам душу и сердце своего... Невольно думаешь об этом, вспоминая горькое предсказание Чехова об обреченности судьбы “гиляков”. Судьба переменилась — это с уверенностью можно сказать теперь...»

Между Санги и Фединым завязалась переписка, происходили встречи. Впоследствии Санги имел основания назвать Федина «патриархом многонациональной советской литературы».

Оргсекретарь, а заодно и партийный комиссар Союза писателей СССР при правлении Федина К. В. Воронков, по должности причастный к исполнению практических замыслов и предложений своего номинального шефа, подспудно им почти управлявший и публично перед ним пресмыкавшийся, позже выпустил даже целую книжку. Выше уже доводилось ее цитировать. Она

составлена из перечней подобных дел и начинаний, исходивших от Федина, и документирована его записками, проектами писем, решений в инстанции, отрывками бесед, даже протокольными записями некоторых телефонных разговоров. Там помещена, кстати, отважная внутренняя рецензия Федина на сборник статей Марка Щеглова...

Не берусь судить, насколько это канцелярское творение в глянцевом переплете интересно для широкого читателя. Но для биографа полезно и впечатление производит.

Федин был деловит и дотошен до мелочей. Но это вместе с тем означало и другое. Художник в малых делах прятался порой от больших задач, которые на него возлагало время. Чем настойчивей требовались от него прямые и открытые действия, тем глубже зарывался он порой в разброс полезных, но мелких частностей.

Одновременно это была своего рода трудотерапия души. Культуртрегерство не только разрешало назревшие, неотложные дела, несло пользу людям. Оно служило вместе с тем внутренним оправданием, по-своему спасало и вырывало его.

Мало кто из литераторов, живших в те страшные тоталитарные времена, мог бы похвастаться, что полностью одолел эту душевную коррозию, целиком избежал губельных внутренних процессов. Дело в степени, в осознании той грани, за которую дальше нельзя ступить, чтобы полностью не обратиться в казенный патефон.

Очистительный выход и спасение для себя лично Федин находил в увлечениях культуртрегерством. Он, несомненно, был одним из самых вьедливых, кропотливых и вездесущий культуртрегеров эпохи.

Однако же трудотерапия облегчает болезнь, но не может избавить от нее. Так, оглядываясь на пережитое и подытоживая происходившее, думаю я теперь. Даже наиболее смелые и яркие общественные поступки Федина, как мне кажется, не залечили внутреннего недуга, не исправили духовного слома. И тяготы этой болезни, вынужденное жертвоприношение своего искусства в угоду текучке культуртрегерства, а то и мелочной канцеляршине Федин неотступно ощущал. Как прокрустово ложе, как вечно

висящий над головой меч. Под этим гнетом и давлением заставлял себя жить.

Конечно, угрозой ареста и идеологическими избиениями середины 40-х годов Федин был испуган надолго. Может быть, навсегда. Однако одним только испугом едва ли можно все объяснить.

Искренность исповедей и глубина признаний в письмах близким друзьям и в дневниках — это не только душевный стон. Не только метания и борения духа, в которых часто пребывал этот человек. Была еще вера в социалистический идеал, воспринятая в далекой молодости, пример учителя — А.М. Горького. Душевный стоицизм, воспитанный с детских лет, склонность в напряге сил преодолевать трудности жизни, готовность к борьбе в самых неблагоприятных условиях. Невозможность перечеркнуть многое в прежней своей судьбе, сомнения, упования. Но именно на этом пути случались с ним также и внутренние победы.

Благодаря им он жил, писал, давал притягательные примеры другим, достигал и оставался самим собой. Да и вообще реальный человек, тем более крупный художник, всегда ярче, богаче и неожиданней трафаретных схем и ходячих банальностей.

Невыносимую духоту общественной атмосферы с окончательным утверждением сталинского режима, как видно из бумаг лубянских досье, Федин вполне ощущал. Сложившиеся в стране общественные порядки долгими временами внутренне ненавидел. Но как и в какой мере эти убеждения воплощались в практике дальнейшего творчества? Мы уже видели, чаще всего непоследовательно и половинчато.

Мало кто из литераторов, живших в те страшные тоталитарные времена, мог бы похвастаться, что полностью пересилил душевную коррозию, целиком избежал губельных внутренних процессов. Дело в степени, в осознании той грани, за которую дальше ступить нельзя, чтобы полностью не обратиться в казенный патефон. И то, что Федин честно признавал эти происходящие с ним внутренние процессы, означало, что он старался их одолеть, посылно с ними боролся.

Часть четвертая

ДАЧНЫЕ СОСЕДИ

«...Явился страх (так близок мне Ваш мир), — изъяснял свои чувства к автору романа “Братья” летом 1928 года Пастернак, — что Вы заподозрите меня в подражании Вам, когда прочтете автобиографические заметки <...> так поразительно временами однотипен этот материал: Германия, музыка, композиторская выучка, история поколения». Действительно, это было открытие не только духовной общности. Но также и биографической, причем при совпадении многих конкретных подробностей, если вспомнить близкую по времени молодость обоих, прошедшую в Германии в занятиях искусством и осмыслениях жизни. Отсюда и потекла эта взаимно оплодотворяющая дружба.

С середины 30-х годов Федин и Пастернак оказались к тому же соседями по дачам, через один дом, в подмосковном Переделкине. И тут, выпадало иногда, — встречи чуть ли не каждый день. Между ними, как соединительный мостик, располагалось лишь островерхое жильё — пристанище семьи Всеволода Иванова. Так что соседей по дачам в Переделкине было трое... Дружили опять-таки все трое. И все трое родились в феврале. (О, этот самый короткий в году снежный метельный месяц!) Федин и Всеволод Иванов в один день — 24 февраля. А Пастернак только двумя годами и двумя неделями раньше, тоже в феврале по новому стилю. «Сдвоенный» день рождения Федина-Иванова неизменно отмечали вместе, часто в присутствии Пастернака, у которого оба бывали за две недели до того. Вообще февраль, февраль! Общий срок появления на свет! Так что, помимо отдельных, в шутку справляли иногда еще и общий «*Февраль рождения*». Это была одна из милых бытовых мелочей, которая не менялась годами. Называли друг друга Боря, Костя, Всеволод. Вместе проводили досуги и семейные праздники.

Это был веселый и внешне во всяком случае естественный быт. Тон беспечности задавал Пастернак. «Поэт продолжал жить в Переделкине, — пишет знаток темы Лев Шилов, — его соседями были Константин Федин, Всеволод Иванов и Александр Фадеев.

Он не читал газет, не слушал радио. Сосны, ручей и ветер гораздо чаще были его собеседниками, чем знакомые литераторы. Из окон его кабинета открывается великолепный вид на поле, дальний ручей, бегущий сквозь заросли ольхи, и — справа — на взгорье, поросшее вековыми соснами <...> Пастернак увлеченно рубил сучья в лесной части своего участка, разбивал цветник перед домом; занимался огородом и обустройством колодца позади дома (водопровод в писательском поселке был сооружен много позже, уже после войны).

Отчасти вынужденная, отчасти намеренная изоляция от литературно-общественной жизни, безоглядное погружение в мир природы способствовали созданию в 1941 году переделкинских стихотворений, в котором обрели бессмертие здешние сосны, просеки, озеро, ручей, поле, запруда...

В траве, меж диких бальзаминов,
Ромашек и лесных купав,
Лежим мы, руки запрокинув
И к небу головы задрав.

Трава на просеке сосновой
Непроходима и густа.
Мы переглянемся — и снова
Меняем позы и места.

И вот бессмертные на время,
Мы к лику сосен причтены
И от болезней, эпидемий
И смерти освобождены...

Переделкинский “городок писателей”, может быть, и не такая уж существенная, но характерная примета истории страны, в которой после “успешно” проведенной коллективизации крестьян власти взялись за коллективизацию писателей. Все выстроить по ранжиру. На всем поставить номер и печать, унифицировать — характернейшая тенденция литературно-общественной жизни...» Особенно с начального рубежа 30-х годов.

Дружба Федина и Пастернака только окрепла в лихолетье Отечественной войны. Осенью 1941 года, после эвакуации своих

семейств, два переделкинских соседа (Пастернаку—51, Федину — 49) ночами отсиживались в выкопанной ими пахнувшей глиной и песком дачной садовой траншее с повисшими на стенках кусками дёрна во время налетов фашистской авиации. Следили за бомбардировщиками с крестами на крыльях, летевших на Москву, когда те попадали в перекрестье прожекторов. Слушали залиvistый перехлоп зениток. Один бомбардировщик сбили, и он взорвался где-то неподалеку. Переделкинские мальчишки бегали затем смотреть на груды искаженного металла. А через зиму остатки самолетного немецкого дюралюминия те же мальчишки переплавляли на самодельные кухонные ложки. На толкучке их продавали.

Эвакуацию они провели вместе в Чистополе. Зимой 24 февраля 1942 года в том же Чистополе, опять-таки ночью, при керосиновой лампе, за скудными бокалами вина вдвоем встречали 50-летие — полувековой юбилей Фебина. Перевод «Фауста» Гете, сделанный Пастернаком, Федин считал шедевром русского классического перевода. Он любил читать и сравнивать куски «Фауста» по-русски и по-немецки. Эти сравнения делал и в ту ночь над бокалом вина в глухом Чистополе. Ведь прежде всего оба они были художники.

Летом 1943 года Федин и Пастернак вместе выезжали на Брянский фронт... Там, кстати, их заприметил и с ними познакомился Симонов. Хронику можно длить и длить... Словом, отношения оставались заведенными, близкими и теплыми.

Конечно, не всё всегда текло безмятежно. Были шероховатости, случались даже и взрывы. Одно из таких скандальных происшествий со слов ближайшего окружения Пастернака передает Евгений Евтушенко в своей мемуарной биографической книге. Было это весной 1949 года, вскоре после присуждения Федину Сталинской премии за романы «Первые радости» и «Необыкновенное лето».

По этому случаю среди прочего на переделкинской даче Фебина было затеяно маленькое почти семейное торжество с приглашением узкого круга самых близких друзей. Оказались среди них и фигуры явно несочетаемые, противоположные по духу и даже резко антипатичные друг другу. Одним из них был пламен-

ный моряк, кавалер трех Георгиевских крестов за мировую войну, автор знаменитых пьес и фильмов «Первая конная», «Оптимистическая трагедия», «Мы из Кронштадта», драматург Всеволод Вишневский, другим — лирический поэт и певец красот земли и любви Борис Пастернак.

С Вишневским Федин сблизился во время двух автомобильных катастроф, которые постигли его осенью 1945-го и зимой 46-го года, когда он ездил по поверженной Германии и затем отправлял корреспондентские отчеты в газету «Известия» с Международного трибунала в Нюрнберге. Вишневский, с которым они были тогда даже малознакомы, проявил необычайную теплоту и заботу о пострадавшем товарище. Позже Федин писал о нем: «Вспомнил встречи с ним, особенно — Берлин 1945-го, Нюрнберг 1946-го — две катастрофы, и тогда изумившее меня его новое лицо, нежность этого неприспособленного (казалось бы) к нежности лица. И затем — эпопея его участия к моему роману — 1947—1948; настоящая по бескорыстию, бессребренности помощь. Браток этот был с безалаберным, неуклюжим, но большим сердцем...»

Роман, который снабжал документальными источниками Вишневский, был как раз один из двух нынешних героев дня — лауреатская книга «Необыкновенное лето». Не пригласить верно своего спасителя и ближайшего помощника Федин не мог. Но тот напрочь не терпел и не переваривал Пастернака. Все в этом изнеженном, замысловатом небожителе с выкрутасами было ему чуждо. И он сам, и его стихи.

В какой-то момент в застолье это и прорвалось. То ли уже изрядно подвыпив, то ли с заранее заготовленным намерением, Вишневский встал и предложил неожиданный тост: «За здоровье будущего поэта Бориса Пастернака!» «Все окаменели, — передает события рассказчик. — Это звучало откровенной ядовитой насмешкой, поскольку уже тридцать лет Пастернак считался не просто стихотворцем, но поэтическим гением». Обычно чуравшийся конфликтов Пастернак, отбиваясь, на сей раз употребил резкое выражение, которое совсем не подходило к его суперинтеллектуальному способу общения. Сбитый с панталыку таким

отпором Вишневский попытался скорректировать тост: «Я имел в виду — за будущего советского поэта!»

Но рассвирепевший Пастернак ответил на это лишь сочным уличным ругательством. Жена Федина, испугавшись, бросила Пастернаку упрек в антисоветской позиции. Федин, требуя, чтобы она замолкла, даже замахнулся на нее бутылкой... Такая безобразная сцена разыгралась в этом торжественном интеллигентском застолье.

Но все это было случаем чрезвычайным и исключительным, чуть ли не таким же, как активное участие Пастернака в тушении фединской дачи, когда там случился большой пожар. Поэт неожиданно показал себя тогда смелым мужчиной, ловким, сообразительным и отважным борцом с огнем, просто-таки пожарником-виртуозом.

В остальном же жизнь текла по установившейся колее. Привычно, налаженно и счастливо.

Если и были бытовые разноречия, то не всегда уловимые, скрытые. Например — внутренняя помеха в отношениях, зато как сучок в глазу. Это была та самая Лара из «Доктора Живаго», Ольга Ивинская.

Федин сам был женолюбом, умел наилучшим образом обходиться с прекрасным полом и пользовался успехом у женщин. Но не в его духе была открытая и, пожалуй, даже демонстративная жизнь «на два дома», которую, не слишком заботясь о впечатлении, производимом на окружающих, вел Борис.

У Федина уже почти три десятилетия длились дружеские накатанные отношения с Зинаидой Николаевной, супругой Пастернака, которую поэт некогда увел от прославленного пианиста и создателя пианистической школы Генриха Нейгауза. Он почитал ее и домашних, их нравы, быт и уклад, и с него было довольно. Не хотел знать никого больше. А Борис, в упоении чувств, превратил молодую любовницу Ольгу Ивинскую в прототип главной поэтической героини Лары из писавшегося романа. Пожалуйста, любуйтесь — не только на ваших глазах живу с ней, но и увековечиваю навсегда. Но если так уж сильна любовь, тогда надо делать выбор. В возрасте много за шестьдесят, в этом сложном мире, пора бы уже и себе и другим дать покой. Для внутренне дисциплинированно Федина это было азбучной истиной. Ведь вот он после смерти

жены в конце концов привел в дом Ольгу Викторовну Михайлову, всюду стал появляться с нею, не исключая во время командировок апартаментов в гостиницах и проживания на переделкинской даче, хотя и квартирка отдельная у нее оставалась. Но отношения не оформлял, раз того не хотела дочь, бывшая актриса, посвятившая отцу, как она молчаливо подчеркивала, всю свою жизнь.

А вот Пастернак годы и годы своего выбора не делал. Все это казалось Федину еще одним из проявлений неосновательности, порханий над жизнью и высокомерного комплекса гениальности Бориса, которые все более начинали раздражать, как и нередкая его манера выражаться — невнятные эмоциональные мычания при обсуждении сложных вопросов жизни.

Но в этом-то и проявлялось, может быть, одно из главных различий всего их внутреннего мира. Для Федина, как, может, и для большинства людей, любовь была одним из видов, возможно, главнейших, но все-таки видом жизнеустройства. Для Пастернака любовь была всем, то есть самой жизнью и наивысшей степенью человеческой свободы. Перенимать это чувство умела и его возлюбленная. «Они любили друг друга, — читаем в романе “Доктор Живаго”, — потому что так хотели все кругом: земля под ними, небо над головами, облака, деревья... Никогда, никогда, даже в минуты самого дарственного, беспамятного счастья не покидало их самое высокое и захватывающее наслаждение общей лепкою мира, чувство соотнесенности их самих ко всей картине, ощущение принадлежности к красоте всего зрелища, ко всей вселенной».

Такое почти религиозное единение, Адама и Евы, высшее проявление человеческой свободы, по несовершенству людской природы и земных обстоятельств, вполне могло сочетаться с обычным жизнеустройством. Так что в понимании главного генератора этого чувства никаких особых коллизий двоеженства здесь не было. Принять до конца такое не могла даже и сама Ева (она же Лара — Ольга), не говоря уж о законной жене Зинаиде Николаевне. Обе время от времени срывались, мучились, ревновали. Но носитель высшей религиозной свободы оставался спокоен и неколебим. Избранным образом жизни он изгнал из себя «ветхого человека», подневольного раба, и сохранял достоинство, личность и духовный полет свободного жителя Земли, одухотворенного христианина.

Были между Пастернаком и Фединым и глубокие творческие разногласия. Но они редко выливались в принципиальные разногласия, тем более в затяжные споры. До поры до времени были скрыты взаимным искренним и высоким признанием талантов и художественной значимости обоих. Деликатным уважением каждого к праву другого иметь собственную точку зрения. В дружбе они были то, что называют равноправными партнерами.

Пастернак высоко ценил искусство и мастерство Федина, даже учился у него. Но чему? Прежде всего, как говорят живописцы, умению класть мазок, технике письма в прозе, богатству жизненных красок, способам художественной изобразительности. Но гораздо меньше — постижению тайной ипостаси людей и событий, где взгляды обоих художников подчас существенно, а подчас и диаметрально расходились.

Сошлюсь на самые достоверные свидетельства двух ближайших очевидцев.

Один из них — поэт Лев Озеров, младший друг Пастернака. Л. Озерову принадлежат знаменитые стихотворные афоризмы: «Талантам надо помогать — бездарности пробьются сами» или «Великий город с областной судьбой» — о Ленинграде. Оставаясь верным дружбе и памяти поэта, он — составитель первого после «нобелевского избиения» посмертного сборника стихотворений и поэм Бориса Пастернака для Большой серии «Библиотеки поэта» (М. — Л., 1965), где им подготовлены текст и примечания. Все это потребовало, помимо прочего, углубления в семейные архивы Б. Пастернака, куда он имел доступ. Основательное предисловие (почти шестьдесят страниц убористого печатного текста) к уникальному изданию незадолго до своего ареста написал Андрей Синявский. Озерову принадлежит также и первая популярная брошюра о покойном Пастернаке, выпущенная после всех пертурбаций массовым тиражом просветительским издательством «Знание». Словом, на непредвзятость его суждений можно положиться.

Одна из главных смысловых линий, которую воссоздает мемуарист, — реальные отношения двух художников, Федина и Пастернака.

Среди прочего он рассказывает, как автор «Доктора Живаго», в пору его написания, занятый стилевыми поисками, в конце 40-х годов оценивал прозу Федина.

«Помню раннюю послевоенную весну, уже схлынувшую воду и еще не начавшееся цветение, — рассказывает Лев Озеров в своих мемуарах. — Я встретил Бориса Леонидовича Пастернака у Никитских ворот. Он был не то чтобы весел, во всяком случае, оживлен и очень расположен к разговору. Мы медленно ходили по переулкам, прилегающим к улице Герцена, и говорили о многом, многом. Отчетливо запомнилась часть разговора о Федине, о его рассказах и романах, которые Пастернак, как я убедился, хорошо знал. Он говорил о зрении романиста и способах воспроизведения общественных настроений, о характерах и стиле. Отрекаясь от своего, пастернаковского, стиля до 1940 года, так сказать, старого стиля, он утверждал новый.

— Надо писать так, как пишет Федин. Тонкой, точной, правдивой кистью...

Я потом долго вспоминал эту фразу и пытался уяснить себе: что заставило Пастернака сказать это?

В эту пору создавался новый поздний стиль Пастернака. <...> Нельзя не видеть желания учесть традиции большой современной прозы...»

Но чему учился Пастернак у Федина? Он сам указывает на *тонкую, точную, правдивую кисть Федина*. Точность описаний — это и есть в данном случае сила художественной изобразительности. Но куда и на что направлена изобразительная сила и во что вглядывается при этом прозаик? Дело другое. Тут, наряду с согласиями, могут заявлять о себе новые и совсем иные духовные устремления и цели творческих исканий.

Намечавшиеся в этом смысле принципиальные расхождения между двумя выдающимися дачными соседями примерно в то же самое время, когда Пастернак подробно говорил о мастерстве Федина Льву Озерову, не просто зафиксировала, а застенографировала даже из первых уст другой очевидец происходившего, Лидия Корнеевна Чуковская.

В начале апреля 1947 года Пастернак устроил домашнее дружеское чтение только что законченной очередной главы будущего романа «Доктор Живаго». Произнесение текста он предварил

кратким словесным предисловием. Его-то и застенографировала одна из приглашенных Л.К. Чуковская.

Художественную прозу Пастернак назвал «формой развернутого театра в прозе». Затем продолжал: «Я так же, как Маяковский и Есенин, начал свое поприще в период распада формы — распада, продолжавшегося с блоковских времен. Для нашего разговора достаточно будет сказать, что в моих глазах проза расслоилась на участки. <...> Сейчас самая лучшая проза, пожалуй, описательная. Очень высока описательная проза Федина, но какая-то творческая мета из прозы ушла. А мне хотелось давно — и только теперь это стало удаваться, — хотелось осуществить в моей жизни рывок, найти выход вперед из этого положения. <...> Это желание создать роман, который не был бы всего лишь описательным. <...> В замысле у меня было дать прозу, в моем понимании реалистическую, понять московскую жизнь, интеллигентскую, символистскую, но воплотить ее не как зарисовки, а как драму или трагедию».

Будущий роман «Доктор Живаго», как справедливо пишет академик Дмитрий Лихачев во Вступительной статье к первому его изданию в СССР 1989 года, не был антиреволюционным. Во всяком случае — в обычном, принятом смысле слова. Потому что революционный переворот 1917 года и все происходившее вслед за тем на протяжении более десятилетия (военврач и поэт Живаго умирает от сердечного приступа в 1929 году) рассматривались автором как некий неуправляемый человеческой волей катаклизм, стихийное бедствие, постигшее народонаселение России и высший ее мыслящий слой, — интеллигенцию. Тектонический слом, почти фатум. А против исторических данностей и свершившихся фактов не спорят. Речь шла о другом — о поведении людей в принужденных, бедственных обстоятельствах. Что выдерживает и чего не выдерживает в экстремальных ситуациях человеческая душа, в том числе душа самого утонченного мыслящего человека.

За несколько дней до внезапного губительного удушья в переполненном трамвайном вагоне доктор Живаго ставит диагноз причинам сердечного недуга. Автор послесловия к первому изданию романа в СССР В.М. Борисов, подкрепляя цитатами выводы героя, пишет: «Душу и нервы “нельзя без конца насило-

вать безнаказанно”, и объясняет причину болезни тем, что «от огромного большинства из нас требуют постоянного, в систему возведенного криводушия. Нельзя без последствий для здоровья изо дня в день проявлять себя противно тому, что чувствуешь: распинаться перед тем, чего не любишь, радоваться тому, что приносит тебе несчастье».

Убийственны и гибельны уже всякие лавирования на выживание в общественно-государственном лабиринте криводушия и лжи. Но не это ли и было, в частности, существом той самой номенклатурной хвори, от которой постоянно томился, страдал и изнывал сам Федин? Именно точность, яркость и сила изображения свободы, взлетов, утеснений и гибели творческого духа, возвышений и падений человеческой души при всех разногласиях с автором и вызывало у Федина порой восторги при восприятии текста, вырывавшие у него даже слова о гениальности романа...

Концом этой взаимной дружбы так или иначе стала неизбежная пора перехода к практическим действиям после окончания романа «Доктор Живаго». Попытки публикации рукописи сначала внутри страны, затем за рубежом и присуждение автору Нобелевской премии в октябре 1958 года.

События замелькали, заспешили. Самые неожиданные, крутые и неправдоподобные, каких еще вчера никто из них себе не мог и вообразить.

И что же он, Федин? Если брать внутреннее состояние, особого желания и охоты принимать участие в напиравшем развороте событий вокруг Бориса и его романа, изданного вопреки договоренностям за границей и выдвинутого на Нобелевскую премию, он вовсе не ощущал. Напротив, по возможности сторонился. Настойчивость Бориса с нарушением достигнутых договоренностей, в которых Федин шел ему навстречу, его раздражала. Но в конце концов пусть разбираются без него. Больше всего хотел бы на старости лет отстраниться. Сидеть на втором этаже своей дачи и заниматься делом жизни. Писать и дописывать то, чего не успел. Но обстоятельства словно взбесились. Жизнь не позволяла. Обстановка и события напирала, требовали выбора и решений. Да и

сам Борис, давний друг, после этого злосчастливого романа, будто он один на белом свете, перестал считаться с реальностью, кого-либо видеть вокруг и замечать. Сам виноват. Да, да, сам... Вел себя все более необузданно и дико. Как молодой скакун, вырвавшийся из загона, прыгал, лягался, ловил ветер ноздрями и мчался неведь куда. Тем более что рядом ему давно уже сопутствовала эта Лара из «Доктора Живаго», Ольга Ивинская...

ВАЛЬСЫ С ДОКТОРОМ

В свободном повествовательном полете, по необходимости переносясь то вперед, то назад, мы несколько оторвались от поступательной хронологии событий, от упрямой ее тропы... Между тем на повестке дня, может быть, один из самых скандальных зигзагов в биографии героя. Его участие в событиях вокруг присуждения Нобелевской премии многолетнему другу и дачному соседу Борису Пастернаку за роман «Доктор Живаго»...

Но именно здесь словесные завалы и нагромождения выдумок и небылиц особенно затейливы и обширны. Это и заставляет поначалу избрать несколько игривый тон в этой отнюдь не веселой теме.

Позиция № 3. В танцевальной терминологии это расположение, стойка партнеров перед тем, как прозвучат первые аккорды и затеется вихрь танца.

Одним взмахом пера эта позиция была нарушена кардинальным образом в статье «Федин» «Биографического словаря» русских писателей (М., 2008), принадлежащей В. Чалмаеву. По этой научной разработке получалось, что Федин выступал тогда в роли предводителя травящей стаи, будучи первым секретарем Союза писателей СССР.

Никто, разумеется, не собирается приукрашивать или обелять героя. Его вина и малодушие поведения в этой истории и без того несомненны и достаточны. Но следует держаться доказанной истины. Иначе все мы, поддавшись летучим поветриям, будем выглядеть лишь подхалимами эпохи.

Как тут не процитировать самого Пастернака — зачин его стихотворного цикла о Блоке, чью репутацию не однажды «лихорадило» в переходные советские времена:

Кому быть живым и хвалимым,
Кто должен быть мертв и хулим,
Известно у нас подхалимам
Влиятельным только одним.

Угодничество, в том числе и перед эпохой, — выгодное занятие. Но тут хорошо бы соблюдать меру.

В действительности, первым секретарем Союза писателей СССР был тогда Алексей Александрович Сурков... Вот кто являлся главным дирижером и истопником у литературной кочегарки тогдашних публичных проработок романа «Доктор Живаго» и его автора. Тем более что отталкивающая неприязнь к Б. Пастернаку у него зародилась давно и, можно сказать, сидела в крови. Еще на Первом съезде советских писателей в августе 1934 года один из вождей РАППа, Сурков, в числе зачинщиков обрушился на тогдашний доклад Н.И. Бухарина о поэзии, где лирика Пастернака, как более глубокая и перспективная, ставилась выше стихотворной агитационной публицистики Маяковского — Д. Бедного, близкой Суркову. Из мастеров «старой школы» Алексей Александрович Сурков еще признавал и ценил Ахматову и не переносил Пастернака. Сам талантливый поэт военной тематики (песня «Бьется в тесной печурке огонь...» и др.), он, по всей видимости, даже искренне считал, что идеологический переорожденец теперь наконец скинул маску и няньканья тут быть не может. В этом отношении его поддерживал тогдашний редактор журнала «Новый мир» и коллега в руководстве Союза писателей, спутник фронтовой поры Константин Симонов. (К Суркову обращено его известное стихотворение «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...») Тут они опять были попутчики, приятели и единомышленники.

Итак, энергию непримиримости излучал и дышал ею А.А. Сурков, участник Гражданской войны и еще трех войн, один из вождей РАППа, старый коммунист, кандидат в члены ЦК КПСС, блестящий оратор — златоуст, «гиена в сиропе», как его прозвали досужие литературные острословы. Про Суркова говорили также, что он вырос и поседел на трибуне. Сурков такие фронтальные атаки любил и умел организовывать. Пастернак был для него яв-

ный идеологический противник и несомненный враг. Погромную кампанию Сурков проводил почти искренне, не кривя душой. Тут он жил и плавал в своей стихии.

Для подцензурной советской печати роман «Доктор Живаго» был явлением новаторским и необычным. Он содержал новое понимание крутых общественных переломов, смут, войн и революций в истории России и их соотношения со свободой личности.

Первопроходцем в этом новаторстве в русской литературе можно считать, пожалуй, «Капитанскую дочку» Пушкина, с означенными там духовными приоритетами — личного счастья — во время разгула народных волнений и готовностью на смелый выбор, включая гибкие общественные компромиссы ради него. Со взглядом автора повести на личное счастье и любовь в реальных катаклизмах пугачевского бунта едва ли бы согласились многие его друзья-декабристы, романтически жертвовавшие собой ради истребления тиранов и тирании. Достаточно вспомнить только, как злодействует персонаж Пугачев и какой доброй безвестной бабушкой, одиноко сидящей на скамейке в парке и обласкавшей бесприютную иногороднюю сироту Машу Миронову, изображена в романе императрица Екатерина II.

Сам юный Пушкин смотрел на самодержавную власть по-другому: «Самовластительный злодей, // Тебя, твой трон я ненавижу. // Твою погибель, смерть детей // С жестокой радостью предвижу». И теми же нотами трагической непримиримости отвечали ему друзья-декабристы. «Известно мне, погибель ждет // Того, кто первый восстанет // За независимость народа // Судьба меня уж обрекла // Но где, скажи, когда была // Без жертв искуплена свобода?» — писал еще задолго до «Капитанской дочки» Кондратий Рылеев, имевший, кстати, в канун восхождения на помост виселицы любящую молодую жену и маленького ребенка.

Пастернак не одно десятилетие маялся и бился над этой как будто неразрешимой дилеммой — между «счастьем сотен тысяч» и «пустым счастьем ста». В стихотворении, посвященном их общему с Фединым другу Борису Пильняку, тогда еще жившему благополучным соседом в дачном Переделкине и даже в мрачных снах не помышлявшем о предстоящем ему расстрельном конце, он писал:

Иль я не знаю, что, в потемки тычась,
 Вовек не вышла б к свету темнота,
 Иль я — урод, и счастье сотен тысяч
 Не ближе мне пустого счастья ста?

И разве я не мерюсь пятилеткой,
 Не падаю, не поднимаюсь с ней?
 Но как мне быть с моей грудною клеткой
 И с тем, что всякой косности косней?

У Пастернака достало зоркости, чтобы разглядеть истину в путанице и туманах жизни.

«Познайте Истину, и Истина сделает вас свободными», —ставлял Христос. «Мое христианство», — так определял духовную устремленность романа сам автор. Действие книги разворачивается в эпоху революции и власти большевиков. А в конфликте между политической властью и человеком Пастернак принял сторону человека.

«Доктор Живаго», по главному замыслу, — это книга о бессмертии человеческого духа, о праве человека на свободу, независимость и любовь при любых режимах.

В тогдашней обстановке это был акт духовного мужества. В стихотворении «Гамлет», открывающем финальную часть романа, заявлена готовность к жертвенному подвигу, на который, предчувствуя трагический исход, решается лирический герой. И недаром здесь возникают Евангельские мотивы — «моления о чаше»:

...Если только можно, Аве Отче,
 Чашу эту мимо пронеси.
 Но известен распорядок действий
 И неотвратим конец пути.
 Я один — мир тонет в фарисействе.
 Жизнь прожить — не поле перейти.

Действия поэта-автора при этом не раз бывали настолько безрассудны и вызывающи, что не оставляли сомнений в их глубинной внутренней мотивации, которую верно оценивали близко знавшие его люди. За словесными декларациями стояла твердая

нравственная решимость — идти и сражаться за свои убеждения любыми способами, до конца, какие бы это последствия за собой ни повлекло и чем бы это ни кончилось. Борис Пастернак нарочито бросает вызов судьбе, напрашивается на кары властей, хочет пострадать за свои убеждения, за те несправедливые действия и поступки, которые когда-то совершал прежде.

В других случаях он действовал по-иному, обдуманно и расчетливо. У поэта многое зависело от состояний и настроений. Словом, методы борьбы избирались разные. Высокое и расхожее в реальной жизни порой переплетаются и соседствуют друг с другом.

Духовной устремленностью книги автор «Доктора Живаго», безусловно, опередил многих литературных современников, работавших с ним рядом. В том числе и давнего своего друга Федина с его романной трилогией и положительными фигурами большевиков, все более затвердевавших в панцире литературных шаблонов. Хотя саму по себе сходную жизненную проблему — преобразование общества и счастье отдельного человека, личность и революция — на фигуре главного героя, интеллигента Андрея Старцова, Федин во всей глубине и сложности ощутил и с яркой живописной силой и трагическим драматизмом изобразил в романе «Города и годы» (1924) несколькими десятилетиями раньше Пастернака. Но решение ей дал прямо противоположное, чем то, ради чего написан «Доктор Живаго».

История с заграничными публикациями этого романа, не изданного в СССР, и продвижением его автора к Нобелевской премии привела к фактическому разрыву между двумя мастерами литературы.

Сам К.А. этих нервных и болезненных для себя событий в наших общениях никогда не касался. Встречи, как это было свойственно по-немецки четкому Федину, чаще всего имели какой-то наперед назначенный и очерченный предмет. Для приезжего же молодого человека история эта была из прошлой «большой московской жизни» и далеко не первоочередным делом, которое в текущий момент занимало. Так что до болезненной темы в общении с Фединым так и не дошло.

Теперь остается довольствоваться фактическими раскопками. И начинать закономерно именно с действий и маневров главного литературного заводицы Суркова.

Едва от внешнеполитических и тайных служб поступили сигналы, что перевод не печатавшегося в СССР романа готовят в Италии, в издательстве некоего коммуниста Фельтринелли, руководитель Союза писателей развернул широкий фронт борьбы. Пущены в ход были сразу все подручные средства. От профилактических бесед с автором до жестких проработок в писательской среде. Пастернака, только недавно выписанного из больницы после инфаркта, на тяжких увещеваниях иногда вынужденно представляла его ближайшая подруга и любовь Ольга Всеволодовна Ивинская.

21 августа 1957 года в письме Нине Табидзе поэт так описывал события: «Здесь было несколько страшных дней. Что-то случилось касательно меня в сферах, мне не доступных...

Тольятти предложил Фельтринелли вернуть рукопись и отказаться от издания романа. Тот ответил, что скорее выйдет из партии, чем порвет со мной, и действительно так и поступил. Было еще несколько мне неизвестных осложнений, увеличивших шум.

Как всегда, первые удары приняла на себя О.В. (Ивинская. — Ю.О.). Ее вызвали в ЦК и потом к Суркову. Потом устроили секретное расширенное заседание секретариата президиума ССП по моему поводу, на котором я должен был присутствовать и не поехал, заседание характера 37 года, с разъяренными воплями о том, что это явление беспримерное, и требованиями расправы...»

Затем сам глава СП СССР А.А. Сурков откомандировался в Италию — уговаривать Фельтринелли отказаться от издания перевода. Визит неотразимого златоуста желаемых действий не возымел. В ноябре 1957 года итальянский перевод романа «Доктор Живаго» появился на книжных прилавках. За ним последовали версии романа на английском, шведском, норвежском, французском и немецком языках. Пучился и разбухал нарыв международного скандала.

16 декабря 1957 года Пастернак сообщал другой своей корреспондентке, писательнице Е.А. Благининой: «Я не знаю, известно

ли Вам, что около года тому назад Гослитиздат заключил договор со мной на издание книги, и если бы ее действительно выпустили в сокращённом и цензуrowанном виде, половины неудобств и неловкостей не существовало бы. Но даже и теперь, когда, преувеличивая значение создавшейся нескладицы, тем самым способствуют возникновению шума по поводу этого случая в разных концах света, даже сейчас выпуск романа в открыто цензуrowанной форме, внес бы во всю эту историю тишину и успокоение».

Отсюда ясно, что автор готов был к компромиссу — на цензуrowанное издание романа в СССР. На выброс при этом из текста политически или еще по каким-то преходящим мотивам, может быть, самого неприемлемого для властей в романе. Ибо считал, что вовсе не в этом его главный пафос, дух и значение. И произведение от этого бы не слишком пострадало, сохранив основу своего звучания. Потому что главный пафос книги — вечные проблемы бытия и проявлений человеческой природы на крутых изломах и поворотах истории.

А что же Федин? Какова была его роль?

Относительно издания романа изначально, судя по всему, в сходном русле внутренне размышлял и этот ближайший из друзей Пастернака. Роман, в общем, был не в его духе, атеист и социалист по убеждениям, связь между «вечностью» и сегодняшним днем он видел и воспринимал по-другому, духа авторских устремлений не разделял. А саму коллизию между «счастьем сотен тысяч» и «счастьем ста», когда и если она возникает в действительности, давным-давно, как уже сказано, еще в начале 20-х годов в романе «Города и годы» решил для себя однозначно. В пользу масс, то есть сотен тысяч. И отступать от этих прежних своих решений вовсе не собирался. Но какого творческого замаха и масштаба перед ним книга, во всех случаях ощущал и ясно себе представлял.

Федин состоял в членах редколлегии журнала «Новый мир», который редактировал К.М. Симонов. Будучи многолетним близким другом Пастернака, Федин лучше других знал историю произведения, работа над которым шла почти десять лет, с 1946 по 1955 год. Неоднократно присутствовал среди приглашенных на домашних читках отдельных готовых глав. Знал также и значи-

мость этого создания для автора, который считал, что для написания этого романа он родился на свет и прожил жизнь. И что Пастернак будет биться за эту книгу до конца. Умрет, но не отступит. Поэтому, скорее всего, именно Федину и принадлежала первоначальная компромиссная идея — не устраивать никаких внутренних и международных скандалов. Выпустить роман в цензурованном виде в главном издательстве страны — Гослитиздате. Небольшим по тогдашним меркам тиражом в 3000 экземпляров. Пусть читают, кто хочет и сможет. А там посмотрим.

Автор на первых порах в общем был с ним солидарен. Судя по всему, возможно, именно Федин и убедил в этом Пастернака.

Со вкусами Федина-прозаика, вопреки нынешнему скоропелому суждению, Пастернак особенно считался и мнением его дорожил. Тому есть множество разнообразных свидетельств. Высокие оценки его мастерству прозаика он неоднократно давал сам, начиная еще со сборника «Трансвааль» (1927 г.) и романа «Братья» (1928 г.), с чего и началась их дружба.

В пору написания «Доктора Живаго» Пастернак отработывал и искал стиль новой прозы, интеллектуальной и отчасти иносказательной. Он писал роман-притчу, «роман-стихотворение». О себе он в ту пору говорил, что целиком вышел из прозы Андрея Белого. В этом смысле Федина он считал прозаиком номер один в непосредственном своем окружении. Действовало сродство творческих исканий. Для Федина живы и вняты были традиции прозы Серебряного века. К тому же то был прирожденный прозаик.

Характер творческого взаимопонимания и личных отношений двух крупных художников сказывался на поворотах событий.

Во всяком случае, изначально Федин выступал в роли миротворца и улаживателя проблемы.

Еще 1 сентября 1956 года К.И. Чуковский, тоже переделкинский старожил, по свежему впечатлению записывал в дневнике:

«Был вчера у Федина. Он сообщил мне под большим секретом, что Пастернак вручил свой роман “Доктор Живаго” какому-то итальянцу, который намерен издать его за границей. Конечно, это будет скандал. <...>

С этим роман/ом/ большие пертурбации: П-к дал его в “Лит/ературную/ Москву”. Казакевич¹, прочтя, сказал: оказывается, судя по роману, Октябрьская революция — недоразумение, и лучше было ее не делать. Рукопись возвратили. Он дал ее в “Новый мир”, а заодно и написанное им предисловие к сборнику его стихов. Кривицкий (член редколлегии и ближайший помощник К. Симонова. — Ю. О.) склонялся к тому, что предисловие можно напечатать с небольшими купюрами. Но когда Симонов прочел роман, он отказался печатать и “Предисловие”. — Нельзя давать трибуну Пастернаку.

Возник такой план: чтобы прекратить все кривотолки (за границей и здесь) тиснуть роман в 3-х тысячах экземплярах, и сделать его таким образом недоступным для масс, заявив в то же время: у нас не делают П-ку препон.

А роман, как говорит Федин, “гениальный”. Чрезвычайно эгоцентрический, гордый, сатанински надменный, изысканно простой и в то же время насквозь книжный — автобиография великого Пастернака. (Федин говорил о романе вдохновенно, ходя по комнате, размахивая руками — очень тонко и пронизательно, — я залюбовался им, сколько в нем душевного жара.) Заодно Федин восхищался Пастернаковым переводом “Фауста”, просторечием этого перевода, его гибкой и богатой фразеологией, “словно он всего Даля наизусть выучил”. Мы пошли гулять — и у меня осталось такое светлое впечатление от Фебина, какого давно уже не было».

Федин был гибким, иногда вертким дипломатом, но не в ощущениях искусства. И вот тут наблюдаешь забавную метаморфозу. Автор справедливо выделяемой ныне биографии «Пастернак» Д. Быков в серии ЖЗЛ в трактовках одного из самых главных и узловых «сюжетов» своей книги, выдержавшей уже немало изданий, может, даже против собственной воли и желания, оказывается, быть разработчиком и продолжателем художественно-смысловых

¹ Эммануил Казакевич, автор лирической повести о войне «Звезда» и других значительных произведений прозы, главный редактор либерального «оттепельного» альманаха «Литературная Москва», созданного по писательской инициативе.

интерпретаций человека, которого в другом своем сочинении уничижительно обозвал «Федин беден».

Главу XLII биографии под названием «Доктор Живаго» Быков с пафосом начинает словами: «Попробуем же разобраться в этой книге <...> книге, ради которой Пастернак родился и которая стоила ему жизни». Весь роман, как трактует его автор, это художественное иносказание мессианской Автобиографии Поэта. Ибо вторым Христом Богом на Земле для Пастернака был Поэт, гений, то бишь вольно или невольно он сам.

Высшие цели культуры и искусства при этом сливаются для такого Избранника муз и устремлений человечества с истинами христианства.

«“Мое христианство” Пастернак попытался воплотить в образе Юрия Живаго, — рассуждает Быков. — Понятно, что краеугольным камнем такой веры является непомерная гордыня. И герой пастернаковского романа не что иное, как последовательное утверждение авторского эгоизма». Приведа затем запись слов Фебина из дневника Чуковского о гениальном эгоцентризме и даже сатанизме романа «Доктор Живаго» — «автобиографии великого Пастернака» — Д. Быков заключает: «Как ни относишься к Федину, а в прозе он понимал: характеристика верная». Что ж... И на том слава Богу!

К. Симонов и большинство членов редколлегии журнала «Новый мир» этот символистский по форме и частично даже сказочный роман не поняли. Они выхватывали из него и тенденциозно нанизывали места с политической окраской — о жестокостях революционного насилия, несправедливостях победившего режима и т.п. Через две или три недели после вдохновенной дачной беседы Фебина с Чуковским, в середине сентября 1956 года, «Новый мир» отверг роман. О мотивах отказа от публикации извещала внутренняя рецензия-письмо, скрепленное подписями пяти членов редколлегии — А. Агапова, А. Кривицкого, Б. Лавренева, К. Симонова и К. Фебина.

В своем педантичном труде «Борис Пастернак. Материалы для биографии» (М., 1989) сын поэта Евгений Пастернак, доскональный знаток архивов и деталей биографии отца, воспроизводит

такие подробности: «По воспоминаниям Симонова, основной текст рецензии писал он, соавторы потом вносили поправки и делали вставки от себя. Текст, написанный Фединым, содержал обвинения доктора Живаго в гипертрофии индивидуализма, “самовосхвалении своей психической сущности”».

Подобные упреки не были новостью для автора, добавляет комментатор. Федин открыто высказывал их Пастернаку «еще при первом чтении». *«Упреки в эгоизме и отсутствии заботы о человечестве были высказаны им <...> весной 1955 года в Переделкине на празднике Пасхи»* (курсив мой. — Ю.О). Весной 1955 года... То есть почти за полтора года до того, как было опрошено его мнение в качестве члена редколлегии журнала «Новый мир»!

Открыто высказываться так в дачной обстановке, да еще на празднике Пасхи, — это, согласитесь, требовало полной внутренней убежденности, да и немалой нравственной стойкости. Притом происходило это, повторюсь, задолго до того, как расчухалась и вспылала бдительностью так называемая официальная общественность. Федин так действительно думал — иначе бы и не говорил. Ведь никто его на такие признания не вынуждал.

ВИХРИ ВМЕСТО ВАЛЬСА. Другое дело — затеявшаяся через год с лишним акция литературных ортодоксов, переросшая затем в публичную общественную казнь.

Журнальная рецензия, словесная болванка которой с тренированной скоростью появилась из-под пера К. Симонова, в целом была составлена и прописана в грубом вульгарно-социологическом духе. Натасканные из разных мест куски о неприятии революции, о гибели лучшей части интеллигенции в пожаре народного возмущения и т.д. слагались в картину намеренной антисоветчины, хотя книга по духу, разумеется, была совершенно о другом. Да и как бы иначе мог автор отдавать столь явно враждебный опус в официальный легальный советский орган?

Тем не менее редакция декларировала полное расхождение в принципах. «Как люди, стоящие на позиции, прямо противоположной Вашей, — говорилось там, — мы, естественно, считаем,

что о публикации Вашего романа на страницах “Нового мира” не может быть и речи».

Два года спустя, когда вспыхнул нобелевский скандал, эти «впечатления глухарей», рабочий документ, составленный из натасканных цитат и примитивных толкований, — внутренний журнальный отзыв, вытащили из архивов и распустили в газетах. Вот, дескать, об «антисоветчине романа» еще когда говорилось!

Остается главный нравственный вопрос: как столь разгромное и вульгарное коллективное послание, даже в виде рабочего документа, мог подписать Федин, только за три недели до этого называвший роман «гениальным»?

Мне кажется, такое поведение в данном случае было проявлением обычной двойственной, уклончивой и дипломатичной тактики, которой не только в литературных делах, но и в своем жизненном поведении нередко он придерживался. С некоторых пор Федин взял для себя правилом не лезть на рожон, а играть в две руки и добиваться успеха той из них, которой ловчее и где больше повезет. Собственный горький жизненный опыт и шаткая явь окружающей советской реальности убедили его в этом. Конечный успех дела, которое виделось ему правым и справедливым, с некоторых пор он считал важнее извилистых троп и дорожек, к нему ведущих.

«Новый мир» имел массовый тираж во много десятков тысяч экземпляров. Рассчитывать на публикацию столь элитарного, символистского, пусть даже и гениального, романа в таких количествах с самого начала в тогдашних условиях было утопией. Судя по раскладу событий, Федин сумел убедить в этом и Б. Пастернака. Тот ведь соглашался на советское цензурованное издание. Сам же одновременно принялся действовать двумя различными способами.

О том, что роман едва ли может быть понят массовым читателем, спорить с журнальными коллегами не стал. Что тут говорить, если его не поняла и сама высокая редколлегия?! Даже она усмотрела только красные флажки на снегу, не различая ни эпох, ни охотников, ни волков. Слышала выстрелы. А кого бьют и что убивают — не

поняла. А убивали, например, любовь, свободу личности, чувство человеческого достоинства, против чего формально никогда не была и советская власть... В оценках слышался и правил лишь голос раздражения: «Нельзя давать трибуну Пастернаку!» За это дружно держались все члены редколлегии во главе с изготавившим оценочную «болванку» молодым, бравым главредом К. Симоновым. Что оставалось делать ему, Федину, не греша против истины, но не задираясь и не подставляя себя? Отказаться от подписи? Но не порывать же из-за этого с журналом и не выходить из редколлегии? В той ситуации, которая даже и отдаленно не напоминала еще, что произойдет два года спустя, по тогдашним фединским понятиям, это означало бы — раздуть из мухи слона.

Обстоятельство второе. Внутренняя рецензия, как это исконно повелось, была делом сугубо редакционным, внутренним, фиксирующим лишь, пусть и не в подобающей форме, что по таким-то и таким причинам вещь публиковать в журнале не будут. Иначе говоря, всего лишь письмо автору, огласке не подлежащее, и, кроме отказа в напечатании, никаких дальнейших последствий за собой не влекущее. То бишь в конечном счете простая бумажка, над которой когда-нибудь потом можно будет только ухмыльнуться. А в нынешние раздерганные времена меньше всего стоило быть фетишистом. Федин вписал в рецензию то, что его лично не устраивало в романе, о чем он даже имел случай говорить автору, и подмахнул бумагу.

ЛЕГЕНДЫ И ПЕРЕСУДЫ

Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,
А нас на свете нет?

*Борис Пастернак.
Доктор Живаго*

Легенды и ущербные фантазии растут, как чертополох в расклинах, но корни их глубоко под землей.

Так обстоит дело с умозаключением № 1 вокруг истории с выходом в свет романа «Доктор Живаго» (оно же — указание на мотивы якобы изначального участия Фебина в травле своего друга

и дачного соседа). Будто Федина на его критические пассажи во внутренней рецензии «Нового мира» подвинуло не стремление к истине, как он ее понимал, а глубокая личная обида, задетая честь, раненое и болезненно растравленное самолюбие, творческая зависть. Пастернаку Федин якобы завидовал не меньше, чем пушкинский персонаж Сальери Моцарту. А этот завистник, как известно по версии пушкинской драмы, Моцарта отравил. Нечто подобное, разве что без яда в вине, разыгралось и тут. Якобы Федин был жесточайшим образом уязвлен и оскорблен, узнав себя в объекте критических бичеваний со стороны главного героя романа. Об этом прямо заявляет в своей биографической книге Д. Быков.

Вот как это делается. Сначала, даже отдельным расположением на странице, автор приводит цитату из высказываний героя повествования Живаго. Она такая:

«Дорогие друзья, о, как безнадежно ординарны вы и круг, который вы представляете, и блеск, и искусство ваших любимых имен и авторитетов! Единственно живое и яркое в вас это то, что вы жили в одно время со мной и меня знали».

Затем следуют выводы: «В печально знаменитом письме Пастернаку от редакции “Нового мира” о причинах отказа в публикации романа эта фраза отмечена особо — она вызвала негодование Константина Федина <...> *Федин понял, что при всей их с Пастернаком дружбе и взаимных комплиментах фраза о безнадежной ординарности метит прямоком в него...*»¹ (курсив мой. — Ю. О.).

Итак, якобы со стороны Пастернака прозвучал неожиданный вероломный выстрел, результатом которого стала рана чуть ли не в самое сердце, глубоко оскорбленное и потрясенное самолюбие... Тут же, правда, возникают вопросы. Почему Федин, прозу которого Пастернак, начиная с произведений конца 20-х годов — повести «Трансвааль» и романа «Братья», — высоко читил и в тексты последующих романов которого, если верить свидетельствам объективных и осведомленных современников, уже вырабатывая «свой новый поздний стиль» при создании «Доктора Живаго», внимательно и почтительно вглядывался, вдруг обратился в его глазах в «*безнадежную ординарность*»? Даже уж

¹ Дмитрий Быков. Борис Пастернак. М.: Молодая гвардия, 2007. С. 489.

и безнадежную, с ухмылкой отметим... Статьи Д. Быкова «Федин беден» Пастернаку вроде бы читать не привелось. Что же его вдруг так просветило и окрылило, перевернув весь круг прежних представлений? И откуда, наконец, сам Быков извлек свой вывод, что «безнадежная ординарность» — это именно Федин?

Что ни говори, а хочется подыскать хоть какой-то рациональный исток подобных утверждений. Может, помимо почти сплошного (за исключением первого романа) неприятия творчества Фебина на биографа в данном случае воздействовали и какие-то дополнительные внешние обстоятельства и полученные им сведения? Скажем, он чересчур доверился и поддался скрытым обидам и пересудам, бытовавшим среди иных домочадцев автора «Доктора Живаго»? Тем более что сходные намеки на растравленное самолюбие дачного соседа делает в своей книге «Материалы для биографии» также и сын поэта Евгений Пастернак...

Попробуем посылно разобраться.

К. Симонов в большом очерке «Уроки Фебина» приводит полностью вставку, сделанную рукой Фебина в 1956 году в редакционное заключение журнала «Новый мир». Фраза *«Единственно живое и яркое в вас это то, что вы жили в одно время со мной и меня знали»* — там, действительно, присутствует. Но лишь как одна из иллюстраций самообожествления героя романа, часто не отделимого от автора. Ведь и Христос говорил апостолам, указывая на значимость свершающихся событий: «Вас Господь сподобил жить в дни мои...»

Вышеприведенная фраза рядом с изречением Христа цитируется во вставке. Право поэтического гения в своем творчестве уподобляться религиозному пророку никогда не отрицали даже учителя литературы средней школы. Фебина в этом тем более не заподозришь. Было это вполне в духе русской классики, пестревшей стихотворными вариациями на тему «Пророк». Федин, если что и отвергал, то безудержное своеволие личности персонажа в ее житейском поведении и общественном выборе, когда божественное легко обращается и переходит в сатанинское. Ведь именно так он еще и раньше, на переделкинской даче, говорил о «Докторе

Живаго» Чуковскому, сопровождавшему его речь обожающим взглядом: «А роман... “гениальный”. Чрезвычайно эгоцентрический, гордый, сатанински надменный...»

Общее свое представление и сопутствующие сомнения и опасения Федин, как уже сказано, излагал автору за год с лишним до этого в пасхальном разговоре 1955 года. В главной своей сути иногда почти то же самое, как мы видели, в главе XLII и на других страницах книги «Пастернак» о мессианской и пророческой роли доктора Живаго повторяет нынешний биограф. Только Д. Быков при заостренно выраженных характеристиках крайнего эгоцентризма и склонностей к пророческому самолюбованию персонажа, при всех подобных претензиях к герою и иногда неотличимо сливающимся с ним автору, относится к этим качествам как к должным и необходимым, а Федин — настороженно и часто отрицательно.

Бессмысленно было бы, конечно, разбирать расхождения взглядов и чувствований атеиста и глубоко верующего человека насчет просветляющего значения веры в Бога и ощущений собственной мистической роли и предопределенности при выборе конкретных шагов жизненной судьбы и отношений к другим людям среди петляющих троп и на крутых перевалах огненной эпохи.

Если же, слегка упрощая, сказать главное, то оно состоит в том, что к моменту публикации романа «Доктор Живаго» дороги многолетних друзей сильно разошлись. Федин и Пастернак теперь уже по-разному смотрели на революцию, произошедшую в России, по-разному воспринимали утвердившийся в стране диктаторский чиновно-казарменный социализм, по-разному относились к общественным порядкам, давившим и обезличивавшим личность, обращавшим живое божественное создание (человека) в манекен для политических игр и капризов диктаторов. Так что личные оскорбления и обиды, сколь они ни важны сами по себе, во всех случаях дело производное. Во взглядах расходились идейные оппоненты.

На свой лад, не без тяготений к самооправданию с привлечением также в виде заслона спины Федина это, собственно, и сформулировал бывший редактор «Нового мира», включая в

собственный мемуарный очерк его отзыв, как члена редколлегии. «...Вставку, которую сделал в наше письмо Федин, — писал К. Симонов, — я считаю важным привести здесь, потому что в ней выражено то самое главное, чего он не принял в “Докторе Живаго”, а шире говоря, вообще не принимал ни в литературе, ни в жизни...»

Заявление, конечно, слишком громогласное и безапелляционное, чтобы покрывать все случаи бытия. Но так или иначе расхождения во взглядах на поведенческую роль личности на крутых изломах истории у авторов романов «Города и годы» и «Доктор Живаго» были не тактические, а принципиальные. Именно потому, что Пастернак духовно развивался и, опрокидывая прежние каноны и догмы, смело и безоглядно шел вперед. А Федин во многом закоснел в своих некогда с кровью добытых и выстраданных представлениях революционных лет. Этим духовно и поведением в жизни отличается Андрей Старцов от доктора Живаго, а концепция «Городов и годов» от одноименного романа Пастернака. Так что дело здесь не в отдельных словесных выражениях и якобы порожденных ими обидах, а в вещах куда более серьезных. Никаких же личных обид и растравленного самолюбия в те времена и в тот момент, когда Федин, в угоду служебной рутине, делал свою вставку в редакционное заключение, попросту не существовало.

Однако же Д. Быков, тем не менее, не единственный, кто держится версии о простреленном и болезненно раненном самолюбии, якобы излившемся в отрицательной вставке. Причем даже пальма первенства тут принадлежит не ему. Биограф лишь всё заострил и местами довел до абсурда. На самом же деле он лишь развивает версию, которая до поры до времени подспудно ходила среди некоторых домочадцев поэта. Ее начатки впервые представил на суд публики, хотя вскользь и нечетко, причем в виде явно позднейшей вставки, сын поэта от первого брака, Евгений Борисович Пастернак, в той же своей не раз упоминавшейся книге «Материалы для биографии».

В качестве самого весомого из подтверждающих доказательств там приводится одно из стихотворений Пастернака. Своим содержанием оно перекликается с уже цитированной декларацией героя романа, где выражено его отношение к своим друзьям ин-

теллигентам («*Единственно живое и яркое в вас это то, что вы жили в одно время со мной и меня знали*»). Переключка довольно явная, а строки звучат так:

Друзья, родные, милый хлам,
Вы времени пришли по вкусу!
О как я вас еще предам,
Глупцы, ничтожества и трусы.

Быть может, в этом божий перст,
Что в жизни нет для вас дороги,
Как у преддверья министерств
Покорно обивать пороги.

«Времени пришли по вкусу» и «у преддверья министерств покорно обивать пороги» — о ком же это еще и может идти речь, как не о Федине?! Намек звучит неоспоримым утверждением, оно же — доказательство.

Конечно, сильно любить Федина у Евгения Борисовича не было особых причин. Но знаток деталей биографии отца в данном случае поддается внелитературным искусствам и явно кривит душой. Ведь о самовозвеличивании героя, эгоцентризме и даже сатанизме романа Федин открыто говорил в доме Пастернака еще весной 1955 года. То есть за полтора года до злополучной вставки, «на празднике Пасхи», как сообщается четырьмя страницами ранее в тех же «Материалах для биографии». И это ничуть не мешало ему считать роман гениальным.

Если же выискивать «прототипы» приводимого лирического стихотворения, то в первой строке стихотворения они названы: «Друзья, родные, милый хлам...» Федина к родным поэта никак не причислишь, а друзья, обратившиеся для его души в «милый хлам», составляли к той поре некое множество... Так оно и было на самом деле.

Другого участника и свидетеля событий, Ирину Емельянову, дочь Ольги Ивинской, тоже в особом доброжелательстве к Федину не обвинишь. Но анализ этого стихотворения в ее книге «Пастернак и Ивинская» куда более объективен и точен.

Она начинается с цитаты из романа «Доктор Живаго», где передаются чувствования главного героя после пережитых потрясений эпохи: «Странно потускнели и обесцветились друзья. Ни у кого не осталось своего мира, своего мнения, они были гораздо ярче в его воспоминаниях. По-видимому, он раньше их переоценивал».

Стихотворение как бы формулирует новое состояние души. «Это стихотворение, — датирует события И. Емельянова, — скорее всего, написано осенью 1959 года, после неприятных для Б.Л. излиятий его приятеля, прославленного актера Бориса Ливанова, друга дома, завсегдатая воскресных обедов. *Во всяком случае, на автографе есть посвящение — Б. Ливанову* (выделено мной. — Ю.О.)». Наутро после одного такого обеда-ужина написано и известное письмо Ливанову. Письмо дышит не свойственной Пастернаку резкостью: «...Я знаю, я играю многим, но мне слаще умереть, чем разделить ложь и обман, которым дышишь ты. <...> Я говорил и говорил бы впредь нежности тебе, Нейгаузу, Асмусу. А, конечно, охотнее всего я всех бы вас перевешал. Твой *Борис*».

Это была ярость от растерянности и собственной беспомощности перед человеческой пошлостью. На следующий день он ездил к этому знаменитому артисту МХАТа, просил прощения за резкость выходки. Но, как пишет И. Емельянова, «отчуждение от прежнего круга давно уже вызревало в нем»¹.

Так что если перед взором писавшего стихотворение летучим призраком на какой-то миг и скользнула тень Федина, то только в сонме, вихре и хороводе многих других ликов и теней. А уж к истории написания внутренней рецензии в журнале «Новый мир» осенью 1956-го, чуть ли не три года назад, смешно даже сказать, это не имело и не могло иметь прямого отношения.

Но так, по болотным кочкам, на длинных ножках скачут фантазии, роятся легенды.

Вернемся к реальному развороту событий.

Д. Быков любит повторять в своей книге, что Пастернака убила не эпоха сталинизма, а оттепель. Получается, что оттепель чуть

¹ *Ирина Емельянова*. Пастернак и Ивинская. М.: Вагриус, 2006. С. 134—135.

ли не хуже сталинизма. На самом деле в эпоху сталинизма, может быть, наиболее активно в 30-е годы, но также и позже, Пастернак воспевал «вождя народов» — человека «размером с шар земной» — не раз. И на особицу, и во внушительного формата персональном издании переводов стихов грузинских поэтов о Сталине, вышедшем под его именем. А в романе «Доктор Живаго» он же, хотя как будто бы только в сфере личных чувств и свобод человека, перевертывал вверх дном и начисто изничтожал то, что составляло незыблемое устройство воздвигнутой на этой идейной основе людской казармы. Так что подтачивали и истребляли автора и его творение не новые веяния оттепели, а именно благополучно уцелевшая при этом ленинско-сталинская дубина.

Появление рукописи «Доктора Живаго» на общественной арене и бурлящий круговорот журнально-заграничных событий вокруг романа затеялись ранней осенью 1956 года. То была пора сумятицы и ломки. В последних числах февраля Хрущев на XX съезде КПСС если и не до конца опрокинул, то расшатал и надломил храмовое божество Сталина. А 13 мая застрелился Фадеев...

Бесчеловечность сложившейся системы на примере жизни и гибели Фадеева вновь себя показала. Саша, Александр Александрович, любил стихи Пастернака, многие и многие из них знал наизусть. С тем большим пылом взялся Федин за исполнение плана по выпуску романа «Доктор Живаго» отдельной книгой в главном издательстве страны. Намерение, о котором упоминал Чуковскому и которое, надо думать, не менее красочно расписывал Пастернаку. Вот отчего, по всему судя, автограф Фебина под сентябрьской уничтожающей внутренней рецензией журнала «Новый мир» не слишком отразился на отношениях друзей.

В том же документальном труде сына поэта об этих днях осени 1956 года читаем: «Как ни в чем не бывало к воскресному обеду 23 сентября был приглашен Федин, но записка Пастернака содержала просьбу не говорить дома о редакционном послании». Происходило это спустя какую-нибудь неделю после получения из «Нового мира» разгромной рецензии.

Прежние отношения продолжались и в следующие месяцы, еще долго. «27 февраля 1957 года, — читаем там же, — справлялся

традиционный сдвоенный день рождения Вс. Иванова и Конст. Федина». В мемуарной книге «Мои современники, какими я их знала» Тамара Иванова, жена Вс. Иванова, воспроизводит подробности. «В честь сидящих за столом Пастернак, разогревшись в принятой роли, произносил стихотворные тосты, экспромтом обращаясь к каждому по очереди».

Поэт умел это делать, шутивно и с театральными поклонами. И если не начиналось с них, то к ним возвращалось и особым камертоном, надо полагать, звучали песнопения обоим героям дня, в том числе Федину. Стихи, разумеется, заздравные, воспевающие. Все это было не только данью многолетней традиции. Но отражало и уровень сохранявшихся отношений.

Карьерное продвижение Федина между тем продолжалось. С мая 1955 года он состоял уже в председателях правления Московской писательской организации. Пост, конечно, не столь влиятельный и приближенный к партийным верхам, как первого секретаря Союза писателей СССР. Однако же достаточно авторитетный, чтобы подтолкнуть многолетнего директора Гослитиздата и литературоведа А.К. Котова на необходимость издания романа «Доктор Живаго» по задуманному «компромиссному плану».

Федин действовал активно. Хроника дальнейших событий выражена летописцем строго документально: «7 августа 1957 года был подписан договор с Гослитиздатом на публикацию “Доктора Живаго”. Редактором был назначен А.В. Старостин, вместе с главным редактором издательства А.И. Пузиковым они приезжали в Переделкино уточнять сроки, договариваться о тексте. Пастернак соглашался на некоторые сокращения. В феврале 1957 года издательство обратилось к Фельтринелли с просьбой подождать с публикацией романа до сентября, когда книга выйдет в Москве».

Однако жизнь совершила два резких курбета, от Федина никак не зависящих.

В самом конце 1956 года, во время командировки в Ленинград, неожиданно умер Анатолий Константинович Котов, подвижнически исполнявший должность директора Гослитиздата почти двадцать лет. Новое руководство издательства не было столь самостоятельным и решительным, как покойный директор. Тот

понимал масштабы таланта Пастернака и соизмерял свои поступки с этими представлениями. Новое руководство больше ориентировалось на веяния и дуновения из начальственных кабинетов. В Гослитиздате с котовских времен готовился к выпуску сборник Пастернака «Стихотворения и поэмы». Но уже в июне 1957 года Пастернак получил письменное извещение, что печатать сборник не будут.

В сложившейся ситуации стал проявлять строптивость и нарушать внутренние договоренности также и сам автор романа, начинавший терять терпение. С одной стороны, по требованию А.А. Суркова и партийных верхов, он открытой почтой демонстративно посылал письма и телеграммы итальянскому издателю с просьбой подождать с выпуском «Доктора Живаго» до тех пор, пока книга не выйдет в СССР на русском языке. С другой стороны, по системе скрытых договоренностей многократно давал понять тому же Фельтринелли, что на эти его предупреждения и сигналы можно полным счетом наплевать, что они вынужденны и книгу следует выпускать в свет как можно скорее. Для поэта это была не литературная игра, а дело жизни. Весь главный ее итог, к которому он пришел. Но внешне, для тех, кто не хотел понять и принять эту борьбу поэта с бесчеловечным бюрократическим Левиафаном, все выглядело системой хитростей.

Эту тактику поведения автора романа «Доктор Живаго» одинаково подтверждают и самые близкие ему люди из тогдашнего самого узкого доверенного круга, вроде Ирины Емельяновой в книге «Пастернак и Ивинская», и нынешние первочитатели секретных архивов, открытых по истечении 50-летнего срока давности, вроде Ивана Толстого в книге «Отмытый роман Пастернака: “Доктор Живаго” между КГБ и ЦРУ» (М.: Время. 2009). Например, с заграницей действовала договоренность, что меняющие судьбу книги просьбы телеграфные и письменные на русском языке во внимание не принимать и т.п.

Подобная авторская дипломатия так или иначе не могла укрыться и от глаз противоположной стороны — тогдашнего руководства Союза писателей. Ведь А.А. Сурков недаром выезжал в Италию, и не только для одних уговоров. Многое там популярно

выведал и разузнал. Да и было от кого — через дружественную просоветскую среду итальянских коммунистов, осведомленных во внутрииздательских делах Фельтринелли, по другим каналам — через здешние дипломатические службы и т.д.

О результатах своей поездки Сурков рассказал Федину. Тот все это выслушал нервно и настороженно. Он не любил, чтобы его дурачили. Кривая трещин в отношениях давних друзей стала наползать с другой стороны. Отчуждение нарастало.

Но до поворотов на разрыв дошло лишь в осенние месяцы и дни 1958 года, когда кандидатура автора романа проходила спирали к Нобелевской премии и была наконец ею увенчана. Для Федина это было время, когда он поведением, а в его глазах манией величия Пастернака, как он полагал и, может быть даже искренне думал, был загнан в тяжелое и унижительное положение.

Заслуженный художник и старый в конце концов человек, он, Федин, по вине Пастернака, будто посыльный, вынужден был делать круги между двумя дачами, чтобы передавать незадачливому нобелевскому лауреату просьбы партийного начальства. Бегать туда и сюда, как мальчик, потому что время истекало, беда приближалась, тяжкая и неминуемая беда, и для самого Бориса прежде всего, и для всех остальных, любящих литературу, а поступать иначе он, Федин, не мог..

В другой день на той же самой даче, в своем кабинете он вынужден был выслушивать рыдания молодой любовницы Бориса, этой самой Ольги Ивинской. Не спросясь, она явилась, в самом убитом и жалком виде, советоваться с ним, надо ли им с Пастернаком кончать жизнь самоубийством... Самоубийством, подумайте?! Публичная устная и печатная брань и истерия преследований дошли тогда до последней крайности. Борис предложил ей уйти из жизни с ним вместе, как это недавно совершила супружеская чета московских переводчиков Ланнов, считавших, что они больны неизлечимой болезнью. И она согласилась. А ведь это была не поза, не истерики просто. Очень даже оба могли в ту же ночь проглотить смертельную дозу нембутала. Как потом выяснилось, «химия» была уже заготовлена. Он, Федин, можно сказать, вернул обезумевшую пару к реальности, указал, в какие кабинеты

ЦК идти, в какие двери стучаться, трезво растолковал ситуацию, утихомирил, отговорил... А между всеми этими метаниями и невротрепками приходилось звонить в ЦК, писать записки, докладывать, излагать собственное мнение, опять-таки напрягаться, ломать голову, придумывать рекомендации и советы... И все это вместо того, чтобы спокойно сидеть за письменным столом и давать форму и жизнь собственным созданиям, которые оставлены, прерваны, брошены и давно ждут завершения... Вот что натворил этот Пастернак со своей манией величия!

К поворотам и живописным подробностям этих событий мы еще вернемся. Пока же зададимся вопросом. Можно ли такое поведение назвать участием в травле? Если и можно, то лишь в том смысле, что давний друг и дачный сосед был нестойким союзником и пристрастным посредником. К тому же чем дальше, тем меньше его действия служили свободе духа и истине.

Федин старался удержаться в стороне. Идти по берегу быстрой реки своей дорожкой. Это больше всего отвечало его натуре и жизненной позиции. Но пришлось лезть в воду, а события, будто течение в узком месте стремительного потока, вытолкнуло его на стремнину. Тут уж надо было барахтаться и плыть. Он это и делал, стараясь не слишком изменять своей натуре. Надо сказать, что руководящие верхи это поняли и большего от него не требовали

В архивах хранятся документы, которые показывают, какая именно роль отводилась властями К.А. Федину в истории с Б.Л. Пастернаком. Это вовсе не была роль карателя и публичного проработчика, хулителя, секущего палача на базарной площади, какую во главе отборной писательской команды был призван исполнить А.А. Сурков вместе с ближайшим своим окружением. Для всего этого Федин не подходил и к этому был непричастен. Нет, даже напротив. Это была невидная, тихая и вроде бы спокойная роль — доверенного эксперта, посредника, увещателя, советчика на обе стороны... На обе стороны, однако... Одной из сторон в которой был гениальный поэт, защищавший свое кровное детище, итог собственной жизни, постигнутые им принципы свободы духа, а второй — его гонители и преследователи, хищная стая и казенная свора, пытавшаяся, если и не сожрать, то уничтожить

и отобразить то, что он создал, добыл и дал человечеству своим гением, итогом и опытом прожитых лет... Федин же пытался встать между этими двумя разнонаправленными силами и потоками, совместить и примирить тех и других. Оттого очередная такая попытка или проделка кабинетного человека с неизбежностью должна была обернуться серией сомнительных авантур...

ПОВОРОТЫ ЭПОХ И МАСТЕР ПОВОРОТОВ

Глагол времен! металла звон!
Твой страшный глас меня смущает
.....
Где стол был явств, там гроб стоит.

*Г.Р. Державин.
На смерть князя Мещерского*

Странны бывают эти созвучия и перезвоны эпох! То, что ты не узнал, не договорил или не услышал в свое время, вдруг неожиданно всплывает, казалось бы, в большом удалении лет и в совсем ином по тональности событии. Иная эпоха досказывает то, чего не успел, не смог или не захотел сказать сам человек, активный участник былого. А уж она-то найдет и способы, и возможности, и собственные «языки». Только бы не заглохло желание видеть и слушать.

Подобный гулкий «резонанс столкновения эпох» однажды довелось испытать и мне. Притом вкупе с перелицовкой сюжета — «где стол был явств, там гроб стоит». Однако же по порядку.

Как уже упоминалось, драматическая история разрыва с Пастернаком завершилась чуть не за пять лет до того, как я попал в круг литературных учеников Фебина.

Сам К.А. разговоров на эту тему никогда не заводил. Я же не только плохо был посвящен в московские дела, но и жил далеко от Москвы. Словом, от происходившего на столичном Олимпе провинциальный журналист был огражден и расстоянием, и уровнем собственного кругозора.

Между тем одним из гулких литературных событий сравнительно недавнего прошлого даже еще и годы после этого, безусловно, оставались отношения двух бывших друзей и соседей по дачам в писательском Переделкине — К.А. Федина и Б.Л. Пастернака. А с началом работы в «Литгазете» до моих ушей на этот счет стали долетать из писательской среды самые невероятные и морозящие кровь подробности.

Рассказывали, что, когда «член Литературного фонда» Б.Л. Пастернак, как он именовался после исключения из СП, умер, к его даче стекались люди со всех концов Москвы. Вблизи покойного непрестанно лились траурные мелодии — за фортепьяно, сменяя друг друга, непрерывно играли М.В. Юдина, Святослав Рихтер, Андрей Волконский... Отдать последний долг гениальному поэту стремились все, кто только мог. Единственный, кто не пришел проститься с бывшим многолетним другом, был сосед по даче Константин Федин.

Более того. Когда гроб с телом покойного, в толпах прощавшихся, несомый на руках, проплывал по их общей улице, Федин, как передавали, даже и тогда не спустился с верхотуры своего кабинета на втором этаже. Он не встал хотя бы у калитки, не посмотрел на удаляющийся в гробу лик поникшим горестным взглядом. Вообще не возник... Но и этого еще мало. Все выходящие в эту сторону окна были плотно задраены и забраны тяжелой коричневой материей. Дача не подавала признаков жизни. Она взирала на происходящее, как мертвый дредноут. Сосед словно бы подчеркивал, что эта смерть и эти похороны никакого касательства к нему не имеют.

Так ли оно было в действительности? Много лет спустя, уже после смерти Константина Александровича, сделав над собой усилие, я задал этот вопрос его близким. Мне объяснили, что, конечно, было не так. Вся эта история с Пастернаком стоила К.А. огромного перенапряжения духовных и нравственных сил. Тогдашний перенапряг в сочетании, может, еще и с возрастными изменениями и нервными срывами по работе привел даже к повторявшимся мозговым спазмам.

Позже, когда Борис Леонидович умер, К.А. настолько разволновался, что у него случился очередной мозговой спазм, он долго занедужил и слег в постель. Не смог даже пойти проститься с покойным. Много дней вообще никуда не выходил и ни с кем не общался. А дачные окна зашторили, чтобы избежать лишнего шума и волнений, запрещенных больному.

Так ли было оно? Или, может, когда гроб проносили на руках мимо зашторенных окон, а звуки траурного хода все-таки пробивались сквозь задрайки штор, К.А. лежал, закрывши голову одеялом, зарывшись в подушку, чтобы ничего не видеть и не слышать...

Но великая сила раскаяния существует.

24 февраля 2012 года исполнилось 120 лет со дня рождения К.А. Федина. Российские средства массовой информации на сей раз уделили немало внимания этой дате. И даже те из них, которые указывали на былые грехи юбиляра на общественном поприще, не забывали прибавить при этом, что главное для писателя — это все-таки его творчество. Его книги.

В родном Саратове дата отмечалась особо. Семейство Фединых на литературном событии представлял, как уже упоминалось, внук писателя (сын его дочери Нины Константиновны) Константин Александрович Роговин, ныне видный ученый, доктор биологических наук. Есть старая фотография, где Федин запечатлен с этим своим вихрастым потомком, тогда лет пяти, с упрямым лицом, и полным тезкой. На одном снимке, в писательском кабинете, обставленном полками с рядами книг, этот маленький тезка сидит у него на коленях, в детском комбинезончике в горошек, а дед, указывая чем-то вроде мундштука зажатой в руке трубки на невидимый для нас объект в окне, что-то ему втолковывает. Малыш, не по летам сосредоточенный, внимает. Заняты и серьезны оба...

О событии, которое случилось при участии теперешнего Константина Александровича, мы также знаем из документального отчета в газете «Репортер» за сентябрь 2012 года. Доктор биологических наук привез с собой в Саратов скромную слегка потрепанную папку, которой, однако, не было цены. Там были все письма Пастернака Федину и многие другие документы, дополнительно

проясняющие среди прочего поведение обоих писателей в годы создания романа «Доктор Живаго» и событий, последовавших за присуждением автору Нобелевской премии. Со стороны семьи Федина это был акт открытого сердца навстречу правде.

К сожалению, такой мужественный выбор и прямодушный эпилог избирают не все.

...Тут не избежать личных ощущений заявленной темы.

К той поре после смерти Б.Л. Пастернака минуло 30 лет. Давно уже не было на свете обоих участников трагической драмы. И вот зимой 1990 года, у крыльца переделкинской дачи Пастернака, мне заново довелось пережить громкое эхо прежних событий. Мысленно как бы увидеть скорбные тени литературных классиков — давних переделкинских друзей в роковой день похоронного прощания с Борисом Пастернаком.

Причем один из эпизодов реальной картинки, представшей перед глазами в тот день, три десятилетия спустя, выглядел для меня, по крайней мере, чуть ли не уродливым шаржем на ритуальные чествования памяти поэта.

Словом, была солнечная зимняя суббота, 10 февраля 1990 года, день 100-летия со дня рождения Б.Л. Пастернака. К этой дате приурочили открытие Дома-музея в Переделкине. Свершилась справедливость. Распахивались двери той самой обители, в которой поэт пережил многие радости и бури века, в том числе и обрушившийся на него ураган после присуждения Нобелевской премии за роман «Доктор Живаго».

На обширной заснеженной поляне перед крыльцом дачи плотно толпилась публика. С виду это напоминало многолюдную сходку. Трибуной импровизированного митинга служило просторное дачное крыльцо с частью веранды. Там находились не только самые видные отечественные почитатели таланта Пастернака. Прибыли издатели, писатели, ученые из Италии, Швеции, Польши. Выдающийся американский драматург Артур Миллер с женой для этого перелетел океан.

Митинг уверенно вел Андрей Вознесенский...

Но теперь перескок эпох на три с лишним десятилетия назад. К тем самым осенним дням 1958 года, когда печатные издания

страны распирала черная пена так называемого народного гнева, вызванного присуждением Нобелевской премии автору антисоветского романа. В мемуарах Ольги Ивинской «В плену времени: Годы с Борисом Пастернаком» есть специальная глава, воспроизводящая клокотания и краски тех дней. В тоталитарных режимах это почти всегда хор голосов.

Кто и как тогда только не изошрялся в кличках и прозвищах автору «Доктора Живаго». Колхозники, шахтеры, музыканты, милиционеры, водопроводчики, зубные врачи, продавцы книжных магазинов, ну, и, конечно, собратья по перу — писатели. Любящая женщина тщательно зафиксировала события. Она создала маленький именной каталог изобретателей кличек, прозвищ и проклятий.

Пастернака, «рenegата и отщепенца», именовали то «лягушкой в болоте» с утверждением, что «в литературе без лягушек лучше», то клеймили «озлобленной шавкой», то глубокомысленно именовали — «духовным сыном Клима Самгина» и уж во всех случаях трубили, что «его имя будет забыто, к его книгам не прикоснется рука честного человека».

Но вот прошло время... И те же самые люди вместе с близкими их последователями, которые вчера еще отнимали дачу у родственников Пастернака, потому что те превратили ее в негласный музей памяти поэта... А кому это нужно помнить об этом антисоветчике, заслуженно вычищенном из Союза писателей, накропавшем гнусный пасквиль о каком-то Живаго и нарочито строчившем сложные, маловразумительные вирши?! Воздух будет чище, если дача перейдет к какому-нибудь руководящему партийному писателю, Герою и Лауреату, работающему на благо страны и народа. Огромного труда и усилий потребовалось наследникам поэта и его поклонникам-энтузиастам, чтобы несколько лет подряд держать круговую оборону. Отстоять дачу и в неприкосновенности сохранить будущий музей. И вот теперь эти же самые вчерашние гонители вкупе с новой порослью премников и приспешников исходили в хлопотах и заботах, чтобы к 100-летию юбилею поэта названная дача выглядела как можно солиднее, а в ближайшее время превратилась в официальный Государственный музей Б.Л. Пастернака.

Но это еще не все. Вернее, отнюдь не главное. Теперь представьте себе почти невероятное. В праздничный день 100-летнего юбилея Б.Л. Пастернака на крыльце его дачи возникает один из бывших его громогласных бичевателей, лишь по случайности не занесенный в каталог Ольги Ивинской. Былой публичный хулигатель восходит на трибуну и без всяких предисловий и оговорок на поднебесных тонах затягивает хвалебную песнь, что называется, прямо в противоположную сторону. Что бы вы сказали на это? Но именно подобная сцена неожиданно и разыгралась.

Итак, митинг уверенно вел Андрей Вознесенский. Все двигалось своим чередом и вроде как бы даже почти отстраненно от уже вроде бы поглощенного временем печального прошлого. Как вдруг председательствующий назвал фамилию следующего оратора, в моих глазах, для данного случая совершенно невероятную. Этим выступающим должен был стать недавний коренной сибиряк, житель Алтая, Омска, Новосибирска, а теперь главный редактор журнала «Новый мир» Сергей Залыгин.

Наверное, все присутствующие отнеслись к этому объявлению как к чему-то рутинному. Да и как могло быть иначе? Я же весь сжался, чувствуя, что сейчас должен произойти какой-то окончательный расчет или поворот в моих о нем представлениях и даже в наших с ним отношениях.

Андрей Вознесенский объявил, что слово предоставляется человеку, который впервые напечатал на русском языке роман «Доктор Живаго». В столпившейся публике послышались жидкие хлопки и одновременно шорох недоумения. Ведь с конца 50-х годов «Доктор Живаго» неоднократно издавался за границей, в том числе на языке оригинала. И публикация его спустя тридцать лет в журнале на волне разгульной горбачевской перестройки при полном благоприствании сверху, если говорить о функции редактора, не была литературным поступком, требующим открытия или риска. Ведущий Андрей Вознесенский чутко уловил шорох. И тут же поправился — не без остроумия: «Впервые напечатал на советском языке», — сказал он.

Как бы я описал тогдашнего Залыгина? Невысокого роста крепыш, с безбородым, внешне дружелюбным лицом и быстрым взглядом светлокарих глаз, манер вроде бы покладистых и мягких, в светло-коричневой импортной дубленке, вообще

одевавшийся интеллигентно, но неброско. Чаще всего Сергей Павлович держался обыденно и исключительно скромно. Это была его заданная себе манера поведения. Всем видом своим он любил подчеркнуть, что он такой же, как все, а, может быть, и меньше. Теперь же объявленный оратор, по-боксерски слегка расставив ноги, стоял величественно на крыльце пастернаковской дачи, между Вознесенским и Артуром Миллером. И в этой величественности, в моих глазах, тоже была какая-то неестественная натянутость.

В пору заведования Сибирским отделением «Литературной газеты», в Новосибирске, куда меня перебросили с Волги, мы тесно сотрудничали, были в добрых отношениях. Сообща пробивали на страницы «ЛГ» острую статью С. Залыгина в защиту Нижнеобской низменности от поворота сибирских рек. Сибирские реки, которые якобы бесполезно текли и впадали в Ледовитый океан, готовились повернуть для орошения пустынь и степей Средней Азии, мало заботясь о том, что при этом будут затоплены огромные пространства собственных полезных земель. Тогда против этого задуманного и готовившегося массового изуродования родной страны восстали многие патриотически мыслящие люди, в том числе писатели В. Белов и В. Распутин. Но С. Залыгин — гидролог по профессии — был одним из инициаторов и заводил этой борьбы. Это был смелый поступок со стороны Сергея Павловича, «м а с т е р а п о в о р о т о в», как позже в связи с поступками совсем иного рода и на сей раз уже с язвительной иронией печатано выразился о нем один из коллег-гидрологов.

Знал я и о том, как вел себя Залыгин во время бури, разразившейся вокруг присуждения Пастернаку Нобелевской премии. *«Мы, новосибирские писатели, — громогласно оповещалось тогда в коллективном письме, помещенном в журнале “Сибирские огни” (1958, № 11), — с глубоким возмущением узнали о гнусном предательском выпаде Б. Пастернака... Если предателя сравнить с тифозной вошью, то даже она обидится... Пастернак в своей звериной злобе против советской действительности пытался доказать, что в Советском Союзе якобы погибла интеллигенция»...*

Было в этом пространном письме и сравнение Пастернака с Климом Самгиным, и знаменитая цитата: «Уйди с дороги,

таракан!...», и концовка, требовавшая удаления Пастернака из страны: «Он не достоин дышать одним воздухом с советским народом».

Даже тифозная вошь бы обиделась! Это было почище болотной лягушки, озлобленной шавки и уж тем более расхожего очкастого Клима Самгина, хотя бы даже уравненного с тараканом. Нельзя исключить, конечно, коллективного творчества. Но кто-то там особенно старался и махал кистью мастера. Кто же?

Во всяком случае, второй после подписи старого большевика, третьестепенного литератора, исполнявшего административную должность, под письмом стояла подпись С. Залыгина.

Словом, комплекс личных ощущений и впечатлений о Залыгине к той поре у меня был сложным и противоречивым. Если так можно выразиться, в представлениях о нем накопилось разное — и хорошее, и плохое. Причем в последние годы все больше являлось и публично выплескивалось как раз худое и скверное. Не по отношению ко мне, а в его делах и поведении на общественно-литературной арене. Некоторые из этих поступков придется упомянуть позже. Живой, и в чем-то даже еще достаточно симпатичный мне, образ этого человека находился во взвешенном состоянии. И вот теперь нежданно-негаданно настал поворотный момент. Его выступления я ждал даже с замиранием сердца.

Чуда не случилось. О своих былых изничтожающих оценках покойного юбиляра (назовем их вежливо так) Залыгин даже не упомянул. Раньше тот был хуже тифозной вши, а теперь? Вековечный гений! Причем то и другое — с одинаковой убежденностью.

Святотатство, а к случившемуся подходило именно это слово, сильно обожгло меня в тот день. Оратор как бы вновь подтвердил, что слова нынче ничего не значат, а оглядка на истину никого не занимает. Но это и была банальная эпидемия горбачевской перестройки, вскоре стубившая страну. Тут уж трудно было промолчать. Чувство поругания не оставляло меня, пришлось взяться за перо. Через какое-то время на освещение проблемы потребовалась и еще статья. Первая из них, где суммировались подобные факты, была построена в форме

«Открытого письма писателю С.П. Залыгину»¹. Воспроизводился там и момент его выступления с капитанского мостика дачного крыльца.

«Говорить Вам было непросто, — всплывала картинка. — Держались Вы, как я заметил, не в пример обычному, напряженно, скованно. Говорили о том, что «в этом корабле» (дача Б.Л. Пастернака действительно внешне чем-то напоминает корабль с носовой застекленной кают-компанией) находится «храм искусства», который будет стоять века. Говорили об отваге капитана и бессмертных творениях гения. А вот простых, человеческих слов, которые, казалось бы, просились сами собой, раз уж Вы решились повторно обратиться к этой теме, так и не произнесли.

Между тем в те самые дни глухой осени 1958 года, когда на здешнее углое суденышко обрушился небывалой силы штормовой шквал, какой только способны изрыгнуть Нептуны тоталитарного государства, совсем иные заветы были на Ваших устах (далее следовали цитаты из погромного письма в журнале «Сибирские огни» насчет «тифозной вши, которая бы обиделась»).

Так зачем же Вы в святой день рождения поэта взошли на крыльцо его дома, красовались там, произносили речь? Ведь для Вас же самого было бы спокойней на сей раз отстраниться, промолчать, коли уж не созрели слова покаяния. Одинаково хотели быть впереди и в хуле, и в хвале?»

Так сама жизнь плодит двуликих Янусов. В одном человеке перед нами сразу — хулитель и хвалитель, изничтожитель и песнопевец труда жизни Пастернака — романа «Доктор Живаго». Тем он и интересен.

¹ Эта статья была напечатана в популярной тогда газете «Демократическая Россия» (1991, 24 мая) с предисловием главного редактора Юрия Буртина, в которой он солидаризировался с автором. Напомню, что Ю. Буртин вел отдел публицистики в журнале «Новый мир» при Твардовском и сам был одним из ведущих публицистов тогдашних десятилетий. Так что за метаморфозами С.П. Залыгина на общественно-литературной арене он пристально следил с момента его отказа в решающий момент подписать письмо в защиту гибнущего журнала. История появления «Открытого письма писателю С.П. Залыгину» и последовавший вслед за ней общественный резонанс отразились два года спустя в итоговой моей статье по этому поводу — «Тихие заправилы. Послесловие к одной публикации» («Независимая газета», 1993, 29 июня).

Уникальность фигуры оправдывает некоторые дополнительные углубления.

В новосибирскую пору Залыгин в целом переживал духовный подъем, не избегая, впрочем, поступков, за которые позже за ним закрепилось липучее ходовое прозвище — «*мастер поворотов*».

Он громко дебютировал в журнале Твардовского «Новый мир». Хорошо был встречен читателем первый роман Залыгина «Тропы Алтая» (1962). Уже готовилась лучшая его вещь — повесть «На Иртыше» (1964). Ее главный герой крестьянин-середняк Степан Чаузов. По замыслу автора, это носитель «крестьянской цивилизации». Повесть заканчивается «раскулачиванием» и выселением из села Крутые Луки семейства Чаузовых. Но устранение таких, как Степан Чаузов, означает отсроченную гибель деревни, одной из национальных основ жизни России. Несмотря на умеренные, обыденные тона, неторопливость и даже некоторую камерность повествования, с редкой остротой для подцензурной литературы коллективизация представлена здесь как насилие над народом, уничтожение лучшей части крестьянства. Эту вещь, лучшее из всего им написанного, автор долго вынашивал и, помню, еще до публикации говорил о своем замысле как об «анти-“Поднятой целине”» Шолохова... Несмотря на несколько стилизованный «*мужиковский*» язык повествования, по направленности и силе публицистического звучания действительно так оно и было.

Затем последовало присуждение Государственной премии за следующий роман, «Соленая падь» (1967), также печатавшийся в «Новом мире» и особенно нравившийся Твардовскому, — о борьбе с Колчаком в Сибири.

Вскоре Сергей Павлович переехал в Москву. Выжидая квартиру, может, года два вынужденно жил с женой в Доме творчества в Перedelкине. Здесь мы общались тоже. Залыгин был почитателем прозы Федина. И не только его деревенских повестей и рассказов. Но и романов трилогии. Высоко ставил и ценил «городские повести» Ю. Трифонова. Одно время был в близких отношениях с ведущим «деревенщиком» Федором Абрамовым, который состоял членом редколлегии редактируемого мной очерково-публици-

стического альманаха «Шаги». Но затем они разошлись, и вот по какому поводу.

— Абрамов сам себе вредит! — как-то с явным порицанием сообщил мне Залыгин.

Привел один из случаев. После успеха резко критического романа «Две зимы и три лета» (1968) о северной деревне начальство вновь воспыало к Абрамову лаской и расположением, изъявив готовность не только забыть прежние «прегрешения», но и отметить его труд Государственной премией СССР. Уже оформлялись документы, и все об этом знали. А он как раз в этот момент возьми да напечатай в «Новом мире» у Твардовского, находившемся под новыми залпами «за очернительство», одну из самых острых своих повестей — «Пелагея» (1969), которая для них (сами понимаете!) «черным-черна». Лауреатство тут же отпало. «А что бы ему подождать полгода. Получил бы премию — и тогда печатай что хочешь», — наставительно произнес Залыгин и слегка скривился в улыбку: «Нетерпелив!.. Но это случай личный. А мало ли за ним еще такого!»

Но все это были только первые цветочки. Что же затем началось, как покатилося в Москве? Сибирский вроде бы вольнодумец все чаще и круче менял симпатии и ориентиры.

Сначала оттолкнул бывших друзей. В 1970 году, когда добивали «Новый мир», он, выпестовник этого журнала и лично А. Твардовского, один из немногих отказался подписать письмо в защиту журнала, с которым, пытаясь спасти положение, обходили влиятельный актив Ю. Трифонов и Б. Можаяев.

Такой отказ со стороны питомца журнала, который открыл ему путь в большую литературу, был настолько неожиданным, что глубоко задел главного редактора. 25 февраля 1970 года А. Твардовский занес в записную книжку свой разговор с С. Залыгиным. Тот как будто ни в чем не бывало, в своей обычной манере воплощенной кротости, накануне к нему подкатился с расспросами о самочувствии. Подход был насквозь фальшивый и неуместный. И Твардовский, сдерживаясь, с гневом это письменно отметил: «Залыгину вчера сказал на вопрос о “настроении”, что не трудно о нем догадаться и что многие, в т/ом/ч/исле/ некоторые дебю-

танты “Н.М.”, достигшие в нем высоких степеней признания, еще не отдают себе отчета в масштабах потери. Он “блудливо улыбнулся”, и я, имея в виду его отказ подписать бумагу насчет “Н.М.”, спросил, как дела с квартирой?»

То есть Твардовский намеренно изменил тему разговора, прощупывая одновременно не без намека мотивы, которыми руководствовался в своем отказе подписать коллективное письмо в поддержку журнала С.П. Залыгин. Тот, как было известно, в то время терпеливо выбивал себе большую и самую престижную квартиру на берегу Москвы-реки, в районе Нескучного Сада. Решающую роль в ее получении играл давний сибирский знакомец и руководитель Союза писателей Г.М. Марков. Все зависело от него, все решалось им. Квартиру эту вскоре Сергей Павлович получил. Однако что же за этим последовало?

Отказавшись от одной подписи, Залыгин затем вынужден был поставить много других под бумагами прямо противоположной направленности.

Через некоторое время — подпись под групповым верноподданническим обличительством в «Правде». Там в компании с другими он клеймил позором А. Сахарова и А. Солженицына, *«клевеющих на наш государственный и общественный строй»*. Точно так же, как он клеймил до этого Бориса Пастернака.

Затем уже пошли печатные выступления индивидуального изготовления. Газетная статья против организаторов и авторов бесцензурного альманаха «Метрополь» во главе с Виктором Ерофеевым и Евгением Поповым в момент развернувшейся против них кампании травли. Другая статья — с заверениями в особой не только преданности, но и духовной близости новому кратковременному партийному генсеку бывшему сибиряку К.У. Черненко. Тут уже потеряно было всякое чувство меры. «Именно в том историческом плане и толковании, которое содержалось в речи К.У. Черненко, закончил роман “После бури” ...» — даже с таким подхалимским придыханием рапортовал о себе именитый прозаик («Известия», 1984, 24 сентября).

Не стану перечислять всего... Подспудные мотивы поступков для широкой публики тогда были скрыты и неизвестны. Для меня,

как, думаю, и для многих других, полнота перерождения стала неожиданностью. Помню, по старой еще логике отношений, в конце эпохи застоя, как-то на пляже Рижского взморья, в писательском Дома творчества в Дубултах, где мы одновременно отдыхали, улучив подходящую минуту, я осторожно попытался «прозондировать» Сергея Павловича. Цель была ясна: для чего и с какой целью все это ему нужно? Хотелось найти внутренние ответы.

Но вопрос был задан издалека и примерно в такой форме: правда ли он считает, что Георгий Мокеевич Марков, реальный хозяин Союза писателей СССР, много писавший о революции в Сибири, — первоклассный прозаик?

— Нет, конечно... — чуть запанибратски, как он это умел, улыбнулся Залыгин. — Но у него есть сибирский колорит... Этого не отнимешь.

— Егор Кузьмич Лигачев был первым секретарем Томского обкома партии, — несколько погодя, продолжал я, — и вы его в этой роли много раз наблюдали, как, конечно, и Черненко на сходном посту в Красноярске. Много с ними обоими общались... Но такой ли Лигачев крупный государственный деятель, как сейчас изображают?

— Он непьющий. Рюмки в рот не берет, — засмеялся Залыгин. — А для России это, может, и есть главное. Что вас учить? Сталин создал эту систему. В королях важен колорит, а политику делает свита...

О части «художеств» Залыгина после разгрома журнала «Новый мир» уже говорилось. Но вот эпоха снова переломилась круто. Началась горбачевская перестройка. И что же «мастер поворотов»?

Приняв (с 1986 года) из рук того же Г.М. Маркова бразды правления в журнале «Новый мир» и громко продекларировав себя продолжателем традиций А. Твардовского, Залыгин, однако же, тем не менее почти никого из прежней команды ведущих сотрудников, определявших лицо журнала, в редакцию не пригласил и не взял. А И. Виноградов (отдел прозы) и А. Стреляный (публицистика), попавшие туда на первых порах, через несколько месяцев вынуждены были подать заявления об уходе из-за несогласия

с линией главного редактора. Почему же он не воспользовался вроде бы очевидными кадровыми ресурсами? Ведь в окружении Твардовского были прекрасные перья, яркие таланты, иные из которых, безусловно, с удовольствием бы вернулись. Зато, наряду с некоторыми новыми талантливыми профессионалами, набрал немало так называемых «услужливых людей» и подхалимов. Все это было несправедливо и обидно.

Криводушие стало все чаще искажать и калечить собственные сочинения писателя. Вместо вызванных жизнью произведений из-под его пера все чаще стали выходить поделки на маргарине отхожей беллетристики вроде сентиментально-любовного романа «Южно-Американский вариант», или книги пространных доморощенных банальностей о Чехове с фальшивым названием «Мой поэт»...

Духовные спекуляции при смене эпох и общественно-политического репертуара иногда подобны эпидемиям. Перед губительной их силой часто не выстаивал Федин. Залыгин, конечно, фигура более мелкая. Но опасности нравственного растрепания во всех случаях усиливаются, когда бездарям подают образцы люди незаурядные.

В. Кардин, один из ведущих публицистов «Нового мира» эпохи Твардовского (напомню хотя бы статью «Легенды и факты»), по-своему продолжил тему, начатую газетой «Демократическая Россия». К 70-летию создания журнала, которое отмечалось в 1995 году, он подготовил своеобразное исследование по новейшей истории литературной журналистики под названием «*Новый мир*” и новые времена». Как фигуры и личности главных редакторов в ряду десятилетий отражаются на линии журнала? Эта тема особенно занимает автора. Что касается Залыгина, то охвачен большой период, почти в десять лет, поскольку Сергей Павлович занял этот пост, как уже сказано, чуть ли не с началом перестройки, с 1986 года.

«Возглавив ежемесячник, — пишет В. Кардин, — С. Залыгин попал в более сложное положение, чем другие редакторы, тоже вынужденные самоопределяться... Вопреки всему тень Твардовского продолжала витать над “Новым миром”, общественно-ли-

тературный капитал, накопленный при нем, все же не был окончательно растрачен. Извечный вопрос о соотношении “Сеньки” и “шапки” приобрел повышенную шекотливость. Новый редактор поучаствовал в затеях, инспирированных властью, скрепил подписью письмо — донос о Пастернаке, о Сахарове и Солженицыне, грошил “Метрополь” и успел пропеть осанну самому убогому из советских вождей — Черненко. Зато в отличие от других авторов “Нового мира” не пожелал подписать письмо в защиту А. Твардовского.

Однако <...> не уличения или суда ради упоминаю я об этих прискорбно-постыдных фактах, известных и за пределами литературных кругов¹. Но в попытках приблизиться, что произошло, происходит с “Новым миром”. Да и не только с ним — со всеми нами. Человек, прежде подписывавший т а к и е письма, теперь подписывает журнал, слывающий едва ли не совестью общества, и это представляется вполне нормальным. Такие представления, по-моему, куда более существенны, чем темные пятна в чьей-то биографии».

В. Кардин пишет о подспудных и явных спекуляциях главного редактора на страницах собственного журнала. В качестве свежих примеров приводятся крупные статьи С. Залыгина. «Вымогать покаяния нелепо, — замечает автор. — Но надо придерживаться странного мнения о читателях, публикуя свои статьи о Солженицыне и Твардовском, лишенные намека на былые провинности перед героями этих статей»².

В мою задачу, конечно, не входит, да я и не взялся бы, подводить баланс многосложной деятельности менявшегося коллектива журнала «Новый мир» за те двенадцать лет, когда на его обложке в качестве главного редактора значилась фамилия С.П. Залыгина. Времена были неповторимые — разом открылись духовные и творческие закрома и поры огромной страны, до того искусственно спертые и замкнутые тоталитарными запретами и

¹ Здесь следовали ссылки на статьи «Выживать» или жить?» в газете «Демократическая Россия» и «Тихие заправилы» — в «Независимой газете». Автор высказывал близкие мне чувства и мысли. Вместе с тем, как видим, В. Кардин расширял площадку времени и моральных оценок.

² www.library.cjes.org/files/pdf/кардин_нм.pdf

затворами. Россия превратилась в огромную избу-читальню. До начала 90-х годов разовые тиражи «толстых» журналов иногда переваливали за 200 и более тысяч экземпляров. Как теперь это вообразить? «Новый мир» в эти годы при С.П. Залыгине напечатал все, что только можно, из сочинений А. Солженицына. Публиковал яркие произведения других авторов, открывал новые имена...

Конечно, во все это было вложено немало личного труда и усилий главного редактора, умевшего быть, когда надо, терпеливым и дружелюбным. И об этих его чертах тоже сохранили благодарную память тогдашние сотрудники журнала. Назову, например, мемуарные очерки Сергея Костырко «...Не надо бояться себя». О Сергее Залыгине» («Новый мир», 2003, № 12) или главку из мемуарной книги Руслана Киреева «Пятьдесят лет в раю», где несколько страниц уделено последним двум «закатным» годам (1996—1998) работы Залыгина в журнале («Знамя» 2007, № 6)...

Любопытно, однако, что и в этих положительных по устремленности очерках, нет-нет да и глянут иногда во всей красе сквозь благодарную память черты бюрократического бонзы, предпочитающего всяким отвлеченным интересам искусства собственные амбиции и выгоды. Сергей Костырко рассказывает, как от избыточного властолюбия не смогли сработаться с ним в тогдашних условиях давние «новомировцы» Виноградов и Стреляный. А Киреев передает эпизод, который в добавочных комментариях, пожалуй, даже и не нуждается. Достаточно цитат и констатаций.

Как вы думаете, чем «занимался Горбачев *в тот самый день и даже час*, когда в Беловежской Пуще Ельцин, Кравчук и Шушкевич договорились тайком о демонтаже Советского Союза»? И тем самым выбивали президентское кресло из-под самого Горбачева? Гадать долго не нужно. Он в этот момент принимал С.П. Залыгина. И с какой целью? — спросим. Оказывается, наивный и глупый, как дитя, «*президент Горбачев уговаривал в это время писателя Залыгина срочно лететь в Вермонт к Солженицыну, дабы вручить тому ко дню рождения обнаруженный в недрах КГБ солженицынский, еще военных времен, дневник*». Значит, разведка КГБ, хотя бы в каких-то пределах и лицах, да и любые другие виды разведки, в распоряжении президента СССР еще

находились, а вот сведений о том, зачем собрались его главные противники в Беловежской Пуще, не было ни ползвучка. Хотя об этом хорошо знал даже Назарбаев в Алма-Ате. Но если и вовсе никаких сведений у Горбачева не было, то он и не старался их добыть и до них добратся. Потому что превыше всего на свете в тот момент для него было принять Залыгина. Чтобы он летел в Вермонт с какими-то древними дневниками военных времен, к тому самому Солженицыну, которого этот писатель некогда клеймил отборными словами на страницах центрального партийного органа... Правда, сам Солженицын к той поре успел уже простить услужливого редактора журнала «Новый мир»... А теперь президент СССР уговаривал и уговаривал...

«Залыгин отказывался, потом разговор перешел на другое, затянулся на полтора часа <...>, а когда беседа закончилась — закончилось довольно скоро и само президентство».

Киреев лишь добросовестно передает одну из возвышающих биографических баек тогдашнего журнального шефа.

По своей расцветке, сути и образцу эта байка, как видим, в чем-то весьма сходна с пылким юбилейным маскарадом февраля 1990 года того же действующего лица с крыльца дачи Б. Пастернака. Только эпизод с Горбачевым, если и не целиком, то по многим деталям развертывался в фантазиях и самовозвышающих импровизациях хозяина литературного журнала, а тут все свершалось публично и на людях. Но во всех случаях, добавим, — ловко приспособливался человек к менявшимся обстоятельствам!

... История движется. Меняются оркестровки и гулы эпох. Однако же, вслушиваясь в хоры времени, полезно воспринимать не только массовку, но и осмысливать отдельные его голоса. Иначе перемены оценок и мнений способны превратить былую трагедию в перелицованную банальность. Так что в жизненной хронике, повествующей о Федине в связи с нобелевским скандалом вокруг романа «Доктор Живаго», я завел речь об одной из таких красноречивых хоровах перелицовок неслучайно и неспроста.

Повороты эпох всегда сопровождают мастера поворотов. И, право же, при всей греховности поступков и совершенном духовном предательстве Федин был не худшим из них. Кроме

того, отгалкиваясь от метаморфоз новейшей эпохи, легче постичь, представить и понять, что на самом деле происходило, кажется, так давно, более полувека назад.

ТРАГЕДИЯ ЖИЗНИ ИЗ ОКНА ДАЧИ

Да, многое тогда, как считал Федин, делалось к тому же для Лары, то есть для Ольги, заодно с ней и для нее. А события между тем давно уже вырвались за государственную межу, переросли в предмет идеологической схватки. Для него, Фебина, для привычного хода событий дачный сосед становился не просто безрассуден, но и опасен. Ради отношений с ним и вокруг него приходилось теперь ломать самого себя. Не раз переступать через обычные свои принципы, зароки и заповеди. Сама жизнь заставляла это делать. Ради этих его писаний, которые по многим идеям далеко не во всем нравились и не могли нравиться ему, Федину, изламываться, притворяться, надевать официальные маски, превращаться в морального компрачикоса по отношению к самому себе. Да, да... Вредителя самому себе. И ничуть не меньше. Духовно и нравственно измываться над собой. Он противился, не хотел, не желал этого. Но это было уже выше человеческих сил и происходило вопреки натуре и всяческим желаниям...

И вот теперь вдруг, спустя более чем полстолетия, посмертное клеймо на Фебине — «*участие в травле*». Что имеется в виду в данном случае?

Сгущая краски, путают даты, занимаемые посты... Впрочем, Бог с ними, с датами и постами. Отречение от близкого друга даже и не в высшей титулованной роли хозяина СП СССР — вещь тяжкая и некрасивая.

Были ли у Фебина какие-то основания для того, чтобы не поддерживать друга? Теперь приходится признать: увы! По-своему в какой-то степени все-таки были...

Прежде всего — порядка принципиального, насколько вообще был склонен к принципиальности этот вечно колеблющийся и влекомый к внешним и внутренним компромиссам человек. Фе-

дина многое не устраивало в идейной устремленности романа. Однако же в том, что касается его достоинств, Федин оказался одним из наиболее чутких и объективных ценителей, готовым ощутить себя в коже романиста. Это признает даже суровый в своих неприязнях к Федину биограф Д. Быков. При явной чуждости для себя целого ряда сквозных мотивов книги Федин именовал роман гениальным. Двойным эгоцентризмом и даже сатанизмом он считал лишь избранные автором способы самоутверждения и выхода к читателю.

К тому же надо отдать должное эстетической увлеченности и художественной расположенности Фебина. Куда безоглядней и категоричней отвергали роман «Доктор Живаго» и некоторые другие тогдашние крупные современники.

Анна Ахматова дружила с Пастернаком многие десятилетия. Была ему лично обязана. В середине 30-х годов бесстрашным обращением к всемогущему кремлевскому вождю Пастернак одновременно вызволил из тюрьмы ее сына — Льва Гумилева и мужа искусствоведа Н. Пунина. Анна Андреевна никогда этого не забывала.

Но вот ее оценка «Доктора Живаго» в записи Л.К. Чуковской (декабрь 1957 года): «Прочитала до конца роман Бориса Леонидовича. Встречаются страницы, совершенно непрофессиональные. Полагаю, их писала Ольга (О.В. Ивинская. — Ю.О.). Не смейтесь. Я говорю серьезно. <...> У меня, как Вы знаете, Лидия Корнеевна, никогда не было никаких редакторских поползновений, но тут мне хотелось схватить карандаш и перечеркивать страницу за страницей крест-накрест. И в этом же романе есть пейзажи... я ответственно утверждаю, равных им в русской литературе нет. Ни у Тургенева, ни у Толстого, ни у кого. Они гениальны, как «рос орешник»».

В романе множество «*маленьких пастернаков — и ничего более*» — она же в другой раз.

В начале марта 1958 года у подруг затеялся второй тур разбора. На сей раз после тщательного прочтения романа «Доктора Живаго» в порядке очередности впечатления излагала Л.К. Чуковская, которой случалось присутствовать, как помним, еще за десяти-

летия перед тем на домашних читках создававшейся рукописи. На встречный жесткий запрос Ахматовой: «Ваш диагноз?» — та перечисляла многие удачные сцены, подробно говорила о гениальности пейзажных картин. Затем сказала: «Но вы правы: главные действующие лица неживые, они из картона, особенно картонен сам Живаго. И язык автора иногда скороговорочностью доведен до безобразия. Не до своеобразия, а до безобразия. Трудно бывает поверить, что это написано рукой Пастернака». Ахматова резюмировала, как она умела, отстраненно и с дальним отсылком, остановившимся взглядом в угол комнаты как бы вылавливая за-таенный смысл из неведомых нетей: «В одной итальянской газете напечатана статья под заглавием: “Неудавшийся шедевр”»... Неудавшийся шедевр — вот так!..

Своего мнения Ахматова не таила. Во всяком случае, Д. Быков в главе «Доктор Живаго» пишет: «С несколькими друзьями, не принявшими романа, он прервал отношения. В числе тех, с кем отношения испортились, оказалась и Анна Ахматова — между нею и Пастернаком возникло напряжение».

В прислужничестве советскому режиму не заподозришь А.И. Солженицына. Но и он в те же самые годы отрицательно относился к роману, к тому же во многом религиозного по своей сути. В биографии «Солженицын» (М., 2009) Людмила Сараскина приводит его высказывания:

«“Доктора Живаго” я действительно получил <...> в виде еще самиздата, в конце 1956 или в начале 1957. Я начал читать и начало мне показало, что автор просто не умеет прозу писать. Какие-то реплики, ремарки в диалогах несусветные. Какая-то неумелость. И вообще я не почувствовал в этой книге ни большой мысли, ни движения, ни реальных картин. Я действительно был разочарован, и надо сказать, что и с годами я не сильно изменил свое мнение об этой книге». А произносился приговор уже в 2006 году, то есть без малого полвека спустя!

Если продолжить список этого самостийного жюри из художественных величин мирового класса, в целом отрицательно оценивших роман, то в его составе окажется еще и Владимир Набоков...

А различные публицистические вариации как бы в развитие кратко обозначенного Ахматовой диагноза — «неудавшийся шедевр» — продолжают появляться и по сей день. Назову статьи Б. Парамонова «“Доктор Живаго” — провал как триумф» («Русская жизнь», 2007, 23 ноября), Д. Урнова «“Доктор Живаго”. Год 1988-й» («Наш современник», 2008, апрель) и др.

Весь этот разброс мнений о главном романе Пастернака я привожу вовсе не для того, чтобы оправдать непоследовательное, а в чем-то даже предательское поведение Федина по отношению к «книге жизни» своего близкого друга. Друг потому и друг, что многое должен чувствовать и понимать лучше других. Однако может существовать и действовать логика обстоятельств, не всегда от него зависящих. Хочется показать, во-первых, что объективная истина в ту пору, да и много позже, вплоть до наших дней, не лежала на блюдечке с голубой каемочкой. К решающему приговору и нравственным суждениям приходилось продираться сквозь запутанную чащу личных и общественных обстоятельств, включая туман неведения. Во-вторых, и в самой книге, в идейно-художественной ее основе, и в способах, какими свершалось ее утверждение на отечественной и мировой арене, далеко не все было так очевидно, безукоризненно и бесспорно, как это кажется иным безоглядным энтузиастам Пастернака позднейших лет, когда поиск истины вытесняется музейными этикетками признаний.

Начнем с объективных истин. Федин был убежденным материалистом и атеистом. В качестве такового ему искренне не могло нравиться религиозное наполнение романа, тот самый глобальный «эгоцентризм», когда в книге «много пастернаков» и ничего более, явное воспевание приоритетного счастья отдельной личности, ценностей любви и индивидуальной свободы над поисками смысла существования миллионных народных масс, общей их борьбы за свое благополучие и освобождение. Такое разрешение проблемы он лично на примере судьбы главного героя — интеллигента Андрея Старцова отверг и осудил еще в романе «Города и годы» в начале 20-х годов. (Крен в сторону идеализации индивидуальной свободы, очевидно, мог прийти не по вкусу и «государственнику» А. Солже-

нищину, автору романного цикла «Красное колесо», устремленного на воссоздание истории революций и государства в России.)

Но, допустим, сейчас иные времена и иные решения... Пусть так. Федин был приверженцем, если не инициатором, идеи — напечатать роман внутри страны и дать событиям созреть и отстояться. Но автор был нетерпелив и повел отдельную собственную линию самоутверждения и борьбы. Ситуация запутывалась и накалялась.

Искренне верующий христианин, Борис Пастернак умел быть расчетливым игроком на политической арене, когда доходило до крайности и дело касалось престижа и места в обществе. Это отмечали самые преданные друзья.

«Б.Л. <Пастернак> далеко не вне политики. Он — в центре ее. Он постоянно определяет “пеленги” и свое положение в пространстве и времени», — выразился о нем Варлам Шаламов.

На конкретных примерах ему вторит Ахматова: «Кто первый из нас написал революционную поэму? — Борис. Кто первый выступал на съезде с преданнейшей речью? — Борис. <...> Кто первый из нас был послан <...> представлять советскую поэзию за границу? — Борис!»

Федина настораживал момент политической игры, которой сопровождалась публикация романа на Западе, и множество сомнительных и темных личностей, с каких-то пор облепивших создателя «Доктора Живаго». Зная действующих лиц и через забор дачи, это хорошо было видно.

Не могли нравиться Федину ни иностранные корреспонденты, зачавшие на блестящих лимузинах на соседнюю дачу, ни хор литературных подпевал, обсевших автора романа и восторгавшихся каждой прочитанной им страницей.

Не успокаивали сведения, привезенные А.А. Сурковым из поездки в Италию. Догадываясь о подоплеке и возможных последствиях иных заграничных событий, Федин начал сдержанней относиться к Пастернаку. Но тогда и он знал лишь внешние приметы и немногие детали происходившего. На самом деле, как выясняется теперь, роман «Доктор Живаго» и его автор помимо прочего стали объектом подспудной схватки и временами

ожесточенной игры в «мяч» сразу двух разведок — КГБ и ЦРУ. В обстановке холодной войны и нацеленных друг на друга ракет остаться в стороне от столь находившихся на виду событий две этих вездесущих и полных энергии «команды», понятное дело, не могли.

Лубяньские служаки действовали в духе деспотической системы, как одесские налетчики, костоломы. Но и американское ЦРУ тоже не дремало.

Иван Толстой, обозреватель американской радиостанции «Свобода», провел разносторонние документальные раскопки этой подспудной и долгое время как бы несуществовавшей темы, продолжавшиеся, по его словам, два десятилетия. Использовал он и разнообразные секретные материалы, открытые ныне по истечении срока давности, и, конечно, многие литературные источники. Результатом стало монографическое исследование, почти в пятьсот страниц текста¹, явившееся одной из книжных сенсаций последних лет.

На обозримой поверхности события развертывались так. Нобелевский комитет решением от 23 октября 1958 года присудил премию Б.Л. Пастернаку, как там было сказано: «За выдающиеся достижения в современной лирической поэзии и на традиционном поприще великой русской прозы». Формулировку насчет стихотворной лирики советские идеологи, может быть, еще с грехом пополам и стерпели бы. Тем более что и в прежние годы в качестве поэта Пастернак за рубежом неоднократно выдвигался на Нобелевскую премию.

«Однако, — читаем в “Материалах для биографии” его сына, — в ближайшем выступлении государственного секретаря США Дж.Ф. Даллеса было сказано, что Нобелевская премия присуждена советскому гражданину Борису Пастернаку за роман “Доктор Живаго”, осужденный и не напечатанный в Советском Союзе. Н.С. Хрущеву доложили об этом в той же форме».

Реакция последовала мгновенная. В тот же день 23 октября 1958 года по записке М.А. Сулова было принято постановление Президиума ЦК КПСС «О клеветническом романе Б. Пастернака».

¹ См.: Толстой И.Н. Отмытый роман Пастернака: «Доктор Живаго» между КГБ и ЦРУ. М.: Время, 2009. По ходу изложения в этой главе цитируются. С. 107, 8, 149, 13.

На поверхность выплыло то, что давно уже действовало скрытно. Роман «Доктор Живаго» превратился в яблоко раздора и новейший факт идеологической войны двух систем... Однако вернемся к житейским будням и частному быту наших героев.

«Рукой партии», назначенной на устранение последствий «идеологической диверсии» Нобелевского комитета и стоящих за ним сил, был определен заведующий отделом культуры ЦК КПСС Дмитрий Алексеевич Поликарпов. Это был невысокого роста пухлый человек, немногословно говоривший высоким голосом, с чуть замедленными движениями, выдававшими в нем застарелого сердечника. Он держался скромно, носил темные костюмы, внимательно слушал и почти никогда не перебивал собеседника.

По своим внутренним качествам Поликарпов был, может, даже одним из наиболее гибких аппаратчиков, которые, как считалось, умели находить общий язык с вечно не знающей, чего она хочет, интеллигенцией. Именно по указаниям Поликарпова, как вспоминает в своих мемуарах Евг. Евтушенко, он дописывал иногда по сто и более стихотворных строк, чтобы обеспечить первую публикацию поэмы «Братская ГЭС» в журнале «Юность».

Поликарпов прошел большую аппаратную школу. Вначале, внешне скромный и сам для себя ничего не желавший, он не удерживался от излишней рьяности и партийной оголтелости. Так что даже Сталин, выслушав однажды его доклад с разнородными идеологическими характеристиками многих писателей, не удержался и произнес: «Идите! Других писателей у меня для вас нэт!» И снял его с должности. Позже с партийных высот в случае необходимости Поликарпова неоднократно спускали, казалось бы, на скромные, но необходимые идеологические участки, чтобы затем по исполнению должного снова вознести. Например, в 1944—1946 годах, а затем в 1955 году Д.А. Поликарпов, подобно А.С. Щербакову при Горьком, исполнял многосложную и хлопотную роль оргсекретаря Союза писателей СССР.

Известный критик и литературовед Л.И. Лазарев, впоследствии многолетний главный редактор журнала «Вопросы литературы», в конце 50-х годов лично перестрадавший от Поликарпова и на

дух его не переносивший, с присущей ему четкой объективностью в своих мемуарах отмечает: «Как ни странно, Поликарпов у части писателей пользовался репутацией человека, быть может, резкого, слишком прямолинейного, грубоватого, но честного, не интригана, не карьериста, заботящегося, как понимал и как мог, о писателях — отсюда и добродушное прозвище: “Дядя Митяй”. К нему очень благоволил Шолохов, я слышал, как он превозносил Поликарпова на Втором съезде писателей, рекомендуя его как образцового политического руководителя для Союза писателей. Впрочем, это не удивительно, что он был мил сердцу Шолохова, удивительно, что у Твардовского, судя по его дневникам, были с Поликарповым если не приятельские, то вроде бы человеческие отношения».

На тех же страницах мемуаров говорится и о необычной власти на духовную политику в стране, которую имел этот как будто всего лишь заведующий отделом ЦК. Тут он был настоящий серый кардинал. Ему удавалось все держать в своих руках. «Он был человек, обладавший очень большой властью<...> — подчеркивает Л. Лазарев. — Поликарпов в соответствии с собственными примитивными представлениями и убогим вкусом информировал высшее руководство страны, находившееся на таком же уровне культуры, — и Хрущева, и Суслова, — о положении дел в литературе и искусстве, намечал “линию”, проворачивал “мероприятия”, определял, кого казнить, кого миловать, кому быть лауреатом, а кого вон из Союза писателей, на его совести травля Пастернака, Гроссмана, разгром “Литературной Москвы”...»

Словом, в тандеме «сусловско-поликарповского ведомства» по управлению художественной культурой серому кардиналу принадлежала почти неоспоримая и главенствующая роль. Последний красноречивый пример. Однажды на редколлегии «Литературной газеты», где он работал, Л. Лазареву довелось быть свидетелем спора, возникшего между тогдашним первым секретарем Союза писателей СССР А.А. Сурковым и Д.А. Поликарповым. Обычно дисциплинированный Сурков на сей раз не сдержался и начал обоснованно и миролюбиво возражать Поликарпову. Тот в своей манере, последовательно и как будто бы вяловато, отметил воз-

ражения. Но Сурков, все более разгораясь, продолжал стоять на своем. «Перепалка — да еще на публике, в присутствии “нижних чинов”» — приобрела такой накаленный характер, что я подумал: плохи дела Суркова, не быть ему после Третьего съезда главой Союза писателей, Поликарпов этого не допустит. Так оно потом и случилось».

Вернемся, однако, к нашим событиям.

С Дядей Митяем отношения у Федина были вполне хорошие, не хуже, чем у Твардовского. По-простецки привык обходиться с ним и Пастернак.

Представление о тоне отношений автора «Доктора Живаго» с Поликарповым дает беседа, которая состоялась у них после письма Пастернака Хрущеву. Поэт извещал там о своем добровольном отказе от Нобелевской премии, заявлял, что «связан с Россией рождением, жизнью, работой» и что «не мыслит своей судьбы отдельно и вне ее». На следующий день Б. Пастернак был срочно вызван в ЦК. Его сопровождала О.В. Ивинская. Оба не сомневались, что едут на прием к Хрущеву. Внутренне готовились к разговору с первым лицом государства. Но очутились в кабинете все того же Поликарпова. Тот передал мнение высшего руководства и торжественно известил, что «в ответ на письмо к Хрущеву Пастернаку позволяется остаться на родине». В дальнейшей беседе хозяин кабинета в победоносном раже дважды неосмотрительно позволил себе выплески запанибратства: «Эх, старик, старик, заварил ты кашу...» Или: «Эх, вонзил нож в спину России, теперь улаживай...» Однако, по воспоминаниям Ивинской, это чуть не привело к срыву акции. Серому кардиналу пришлось просить извинений у разгорячившегося, стоявшего уже в дверях и готового покинуть кабинет поэта. Только долгими уговорами при вмешательстве Ивинской удалось вернуть ситуацию в прежнее состояние.

Но до этих событий 31 октября оставалось тогда еще восемь дней...

А, как известно теперь по документальным источникам, к вечеру того дня, когда только поступило известие о присуждении Нобелевской премии, Поликарпов позвонил Федину, оповестив,

что с утра на следующий день посетит его на даче для неотложного разговора. Нет, нет... Можете не беспокоиться. Я приеду сам...

Наутро черный цэковский ЗИМ причалил к крыльцу во дворе дачи.

Поликарпов сообщил Федину примерно следующее: на самом верху принято решение, что присуждение Нобелевской премии за идейно порочный и отвергнутый на Родине роман является идеологической провокацией натовского блока. Они ведут войну на подрыв нашей страны. Борис Леонидович должен это понять и отказаться от этого дара данайцев. Не будем же мы им помогать и бросать себе гранату под ноги! Отказ, только отказ! Это будет патриотично и достойно его как выдающегося художника. Я сам готов поговорить с ним на эту тему. Поговорить по душам, убедить. Если он, конечно, пожелает. Буду ждать его здесь, в вашем кабинете, среди вот этих полок с книгами, которые всякое на своем веку повидали. Всякое ведь, а? А нет — убедите его Вы. Вы же с ним — давние друзья... Убедите! Не согласится — завтра будет уже поздно. Худо будет ему, скажу Вам прямо, Константин Александрович... Очень худо!

В прихожей Федин медленно натянул пальто и нехотя побрел туда, куда теперь не мог не пойти. Это и была та самая унижительная и даже оскорбительная для него роль не то посланца, не то курьера между двумя дачами, о которой он позже не мог вспоминать без невольной внутренней конвульсии.

24 октября на даче Бориса отмечался день рождения жены. «Зинаида Николаевна, — узнаем из “Материалов для биографии”, — занималась готовкой в ожидании гостей, когда пришел Федин и прошел в кабинет к Пастернаку. После его ухода она кинулась вверх и нашла мужа в обмороке на диване. Федин приходил уговаривать его отказаться от премии, не то завтра против него начнется общественная кампания».

В архиве ЦК КПСС (ныне РГАНИ) имеются несколько докладных записок Д.А. Поликарпова наверх, строка за строкой отбивающих фактуру происходившего, — о разных стадиях экстренного исполнения порученного ему задания.

Первая из них озаглавлена «Записка заведующего отделом культуры ЦК КПСС Д.А. Поликарпова секретарю ЦК КПСС М.А. Суслову о попытках писателя К.А. Федина убедить Б.Л. Пастернака отказаться от Нобелевской премии 25.10.1958». Обилие письменных документов за какую-нибудь неделю, а затем и нескольких постановлений ЦК показывает, насколько проблема Нобелевской премии находилась в фокусе интересов высшего руководства. В первой записке особенно замечателен косноязычный партийный жаргон — «осуществил разговор» и т.п. Текст таков:

«Михаил Андреевич!

К.А. Федин осуществил разговор с Пастернаком. Между ними состоялась часовая беседа.

Поначалу Пастернак держался воинственно, категорически сказал, что не будет делать заявления об отказе от премии и могут делать с ним все, что хотят.

Затем он попросил дать ему несколько часов времени для обдумывания позиции. После встречи с К.А. Фединым пошел советоваться с Всеволодом Ивановым. Сам К.А. Федин понимает необходимость в сложившейся обстановке строгих акций по отношению к Пастернаку, если последний не изменит своего поведения. *Д. Поликарпов».*

Приписка:

«Михаил Андреевич! К.А. Федин сообщил сейчас по телефону, что в условленное с ним время Пастернак не пришел для продолжения разговора. Это следует понимать так, что Пастернак не будет делать заявления об отказе от премии. *Д. Поликарпов».*

Между тем затянутый тучами небосклон стали прочерчивать сверкающие молнии. В тот же день, 25 октября, «Литературная газета» перепечатала внутреннюю рецензию журнала «Новый мир», некогда написанную К. Симоновым, с последующими вставками четырех членов редколлегии. Теперь эта поспешная вульгарно-социологическая поделка стала канонической основой начавшегося идеологического погрома.

«Дух Вашего романа, — говорилось там, — дух неприятия социалистической революции. Пафос Вашего романа — пафос

утверждения, что Октябрьская революция, гражданская война и связанные с ними последующие социальные перемены не принесли народу ничего, кроме страданий, а русскую интеллигенцию уничтожили или физически, или морально».

26 октября по той же цели дулетом выстрелил Центральный партийный орган «Правда» — редакционная статья «Провокационная вылазка международной реакции» и фельетон «золотого пера» газеты, если так можно выразиться об этом пасквилянте с дореволюционным стажем, Давида Заславского «Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка». Великий поэт превращался в «сорняка»!

27 октября в расширенном во много крат составе заседал секретариат ССП под председательством Н. Тихонова, который исключил Пастернака из членов Союза писателей. Почти одновременно волной прокатилась серия писательских собраний разных составов и уровней, самое массовое из которых состоялось в Доме кино. О том, что происходило в совокупности, дает представление пространный документ из архива ЦК, который иногда даже именуют докладом Д.А. Поликарпова. В реальности канцелярское донесение носит куда более скромное название — «Записка отдела культуры ЦК КПСС об итогах обсуждения на собраниях писателей вопроса о действиях члена Союза писателей Б.Л. Пастернака, несовместимых со званием советского писателя».

За автора «Доктора Живаго» публично тогда не вступился никто. Высшей формой несогласия было «умывание рук» — не присутствие на заседаниях и неучастие в голосованиях, как это позволили себе И.Г. Эренбург, А.Т. Твардовский, Л.М. Леонов и некоторые другие писатели. В общественной атмосфере, только начавшей освобождаться от шор и кошмаров сталинизма, слепой догматизм и робость души проявили, напротив, даже некоторые лучшие мастера пера. С осуждением Б. Пастернака выступили И. Сельвинский, В. Шкловский, В. Панова, Б. Слуцкий, Николай Чуковский, который, в отличие от отца Корнея Ивановича, ходившего поздравлять автора, оголтело

ругал роман, С.С. Смирнов, Л. Мартынов... список будет долгим...

Поначалу Пастернак держался. Но все нараставший уже не хор, а гул голосов выкатился за пределы литературной среды. Бессчетные митинги и собрания, на заводах, фабриках и в колхозах (по принципу «мы роман не читали, но мы считаем»), требовали высылки «предателя» из страны. Вот только некоторые из «откликов трудящихся Москвы», представленные в архивной цэковской папке. По-своему они дополняют выдержки из упоминавшегося «каталога» О. Ивинской.

«Голос пролетариата» в данном случае прилежно зафиксировала в своей книге ее дочь И. Емельянова: «Аппаратчик Дорхим-завода тов. Молокова: “Это гнойник, а гнойники рвут с корнем”. Рабочий завода шлифовальных станков тов. Руденко: “Его следует судить как врага”. Слесарь-механик второго часового завода тов. Сучатов: “Мы не читали романа, но Пастернаку нет места в нашей среде”. Работник ВДНХ тов. Илюхин: “Его следует судить как изменника”» и т.д. (С. 178—179).

Жившая с Б.Л. Пастернаком семья — жена Зинаида Николаевна и младший сын Леонид — покидать страну вместе с отцом отказывались. «Лара» — Ольга Ивинская была подружкой незаконной, и никто бы ее вместе с изгнанником из страны не выпустил. Пастернак оставался один, как перст, наедине с собственной судьбой. Отчаяние становилось безнадежным. К этому бедственному моменту и относится внезапное появление Ольги Ивинской на даче Фебина. В конце октября темнеет рано, в четыре часа дня воздух уже синее, предвещающая наступающие сумерки. В этот час без предупреждения стукнула деревянная калитка, проскрипело крыльцо, и перед Фебиным предстала хорошо известная ему красивая молодая женщина, близкого знакомства с которой он намеренно избегал.

В архивах ЦК КПСС хранится срочное письмо К.А. Фебина от 28 октября 1958 года Д.А. Поликарпову. Там сообщается ни много ни мало о возможности самоубийства Б.Л. Пастернака. Текст такой:

«Д.А. Поликарпову.

28.X. Дача

Дорогой Дмитрий Алексеевич, сегодня ко мне в 4 часа пришла Ольга Всеволодовна (не помню ее фамилию — друг Пастернака)¹ и — в слезах — передала мне, что сегодня утром Пастернак ей заявил, что у него с ней “остается только выход Ланна”².

По словам ее, П[астернак] будто бы спросил ее, согласна ли она “уйти вместе”, и она будто бы согласилась.

Цель ее прихода ко мне — узнать, “можно ли еще (по моему мнению) спасти П[астернака] или уже поздно, а если не поздно, то просить меня о совете — что (по-моему) надо сделать, чтобы его спасти”.

Я ответил, что такое заявление есть угроза, в данном случае мне, а во всех иных случаях — тому, кому оно сделано, и что под такой угрозой ни о каких советах просить нельзя. Вместе с тем я сказал, что единственно, что я считаю безусловно нужным посоветовать ей, это то, что она обязана отговорить П[астернака] от его безумного намерения.

Я сказал также, что не знаю, мыслимо ли теперь, после всего происшедшего, “спасти” П[астернака], наотрез отказавшегося от “спасения”, когда оно было достижимым.

О[льга] В[сволодовна] заявила, что готова составить “любое” письмо, кому только можно, и “уговорить” П[астернака] подписать его.

Я ответил, что не представляю себе, какого содержания могло бы теперь быть письмо и кому его можно было бы направить.

Не в состоянии с уверенностью сказать, должен ли я рассматривать приход О[льги] В[сволодовны] как обращение ко мне самого Пастернака (она клялась, будто ничего об этом не сказала

¹ Дипломатичный К.А. Федин, подчеркивая свою непричастность и полную удаленность от происходящего, намеренно делает вид, что не помнит фамилию многолетней подруги Пастернака. Почти все эти годы, как уже сказано, он ее не любил. А нелюбовь, как известно, тоже обостряет память. К тому же фамилия этой яркой дамы и талантливой поэтессы в те бурные недели произносилась вокруг него по пять раз на дню.

² Е.Л. Ланн (1896—1958) — член Союза писателей. Он и его жена, что стало недавней сенсацией в литературной среде, считая себя неизлечимо больными, покончили жизнь самоубийством.

ему, хотя немного позже говорила мне — он не хотел, чтобы она пошла ко мне).

Но я считаю, Вы должны знать о действительном или мнимом, серьезном или театральном умысле П[астернака], о существовании угрозы или же о попытке сманеврировать ею.

В долгом разговоре с О[льгой] В[севолодовной] она не раз спросила меня, к кому “лучше” адресовать письмо П[астернака] или к кому “пойти”. Я не мог ей ничего на это ответить и только обещал, что напишу Вам о том, что она ко мне приходила, а Вы, конечно, поступите так, как найдете нужным, и, может быть, захотите вызвать ее либо Пастернака. На этот случай я взял ее телефон, чтобы передать его Вам (Б-7—33—70).

Уважающий Вас *Конст. Федин*.

Документ красноречив по психологическому рисунку и внутренней жестикуляции.

Федин, разумеется, взволнован «безумным намерением» своего многолетнего друга. Однако же само появление под крышей его дома Ольги Ивинской с просьбами о решающем совете в накалившейся до предела обстановке ставит его в тупик. Он тут, и в самом деле, не знает, что теперь нужно и можно сделать. Когда Пастернак продвигался к Нобелевской премии и действовал, нарушая дружеские договоренности, никто с ним не советовался. И Лара в вечерних сумерках на дачу не прибегала. Теперь его действий и участия требуют под ультимативным давлением, ставя его в безвыходное положение, когда от его ответа могут погибнуть люди, что он и считает «угрозой для себя». Как тут поступить? События приняли уже такой оборот, что исход судьбы бывшего друга, дошедшего до грани самоубийства, на втором месте. Лично у него нет возможности и сил разобраться «в действительном или мнимом, серьезном или театральном умысле П[астернака]», в «существовании угрозы или же попытке сманеврировать ею». События зашли слишком далеко и недостижимы для собственного его вмешательства и контроля.

Федин предлагает посетительнице половинчатый выход — он проинформирует Поликарпова, а с ним и руководство страны об этом визите Ивинской и обо всем, что она сообщила. Траги-

ческого исхода, понятно, он не хочет. Но пусть о дальнейшем позаботятся те, с кем Пастернак начал и ведет борьбу.

Последней цели К.А. Федин вполне достиг. Это показывают архивные материалы. Из служебной записки, приложенной к письму, видно, что с документом ознакомились пять членов тогдашнего высшего руководства партии, включая М.А. Суслова, Л.И. Брежнева, А.И. Кириченко и других. После опубликованного вскоре покаянного письма Б.Л. Пастернака в газете «Правда» с отказом от Нобелевской премии кампания травли пошла на убыль и скоро заглохла.

Так что верноподданническая информация объективно сыграла даже и некоторую позитивную посредническую роль. Конечно, у Фебина были свои резоны настороженно отнестись к визиту Ольги Всеволодовны. Однако же это ничуть не оправдывает чиновного холода, овевшего весь домашний прием. А лишь дополнительно объясняет ситуацию и характер героя.

Если подвести итог, поведение Фебина в истории с романом «Доктор Живаго» не отличалось ни нравственной стойкостью, ни мужеством. Однако же и не сводилось к примитивному служению властям.

К тому же в раскруте общественной истерии на отношении Фебина к происходящему влияли дополнительные обстоятельства. Он многое видел и знал изнутри из того, о чем мы узнаём только теперь, десятилетия спустя. История эта была трагической. Один из жестоких извивов и переплетов холодной войны, стремлений ко всеобщему превращению искусства в игрушку политики, а художников в фишки большой игры. История поздних прозрений поэта, страстного желания *«быть живым, живым и только — живым и только до конца»* (говоря его стихами), одиночества среди людей, взрывов честолюбия, семейных неурядиц и т.д. Нервный напряг той поры, со всеми его крутыми и противоестественными сплетениями, через два года свел Пастернака в могилу.

Трагизм и долгая неясность многих обстоятельств и событий породили так называемый «пастернаковский миф». Тот самый, который стремится развенчать в своей книге «Отмытый роман» Иван Толстой.

Сам Нобелевский комитет в данном случае пребывал далеко не на нейтральных вершинах Парнаса. Скажем, в самый чувствительный момент движения творения к высокой цели выяснилось вдруг, что роман представлен уже на множестве языков мира. Отсутствует лишь публикация на родном русском. Такая «техническая малость» ломала основы, подрывала все правила. Становилась непреодолимым препятствием для Нобелевского комитета. В самом деле, можно ли возвеличивать и ставить в пример векам и народам художественное создание, которое не опробовано читателем на языке оригинала? Альбер Камю, выдвинувший автора на Нобелевскую премию, русского языка не знал. Текста в оригинале читать не мог. На веру бралось утверждение, что роман замечателен, потому что незамечательным быть не может.

Что же в таком случае делать? Как быть? Немного отложить и подождать? Не-е-т! Тут через свою прямую и косвенную агентуру, имевшую, кстати, доступ, как это показывает автор-документалист, и в сам Нобелевский комитет (в книге названы конкретные фамилии, чины и должности), в дело вмешалось вездесущее ЦРУ. И роман ударным порядком появился на русском языке в крохотных, если не фиктивных, издательствах Италии и Голландии, где русских читателей было не больше, чем пальцев на руке.

«“Доктора Живаго” по-русски выпустило ЦРУ — американская разведка», — свидетельствует И. Толстой. Повторим — обозреватель американской радиостанции «Свобода». Уж ему-то нет никаких резонов подобным образом исказить былую картину. Ожесточение схватки двух систем не оставляло места нейтралам. Даже Нобелевский комитет, как видим, обращался иногда в волонтера холодной войны.

В то же время идеологическая зловередность автора и его сочинения в СССР, если даже взять только официальные мерки и позиции, явно преувеличивались. Еще в 40-е годы Б. Пастернак разделял многие революционные большевистские иллюзии и слагал поэтические гимны «вождю народов» Сталину. Ничуть не преуменьшая значения высших художественных достижений и созданий Пастернака, Иван Толстой имеет основания утверждать: «Он принял большевизм настолько, что, к своему запоздалому ужасу, стал со-

ветским поэтом, членом правления Союза писателей, обладателем специальных талонов на “место у колонн” и на такси. Можно ли представить в этой роли Ахматову, вообразить литфондовскую дачу Мандельштама, личного шофера Цветаевой?»

Но, пробивая дорогу многострадальному детищу — роману «Доктор Живаго» — порой сомнительными путями и средствами, Б. Пастернак, как уже сказано, боролся не только за свое место на литературном Олимпе и связанные с этим выгоды. А так это нередко вольно или невольно выходит у автора книги. Его творение было выстрадано опытом жизни, имело непреходящую духовную ценность. Это и составляло живую сложность происходившего.

Освободительной устремленностью своего труда автор «Доктора Живаго», безусловно, опередил многих литературных современников, работавших с ним рядом. Исполнил свой высший долг художника и человека.

Между тем в политическом смысле, как уже сказано, «Доктор Живаго» достаточно нейтрален. Роман о любви, праве на счастье и свободе человеческого выбора в любых обстоятельствах эпохи, при любых режимах. А не только при советском строе. Иначе, конечно, повторюсь, автор и не рискнул бы предложить его в подцензурный журнал.

Шабаш тогдашних злоречий возбуждала пресловутая большевистская нетерпимость: «Кто не с нами, тот против нас». Плюс оскорбленное, почти крепостническое чувство — какое право имел автор книги, отвергнутой внутри страны, печатать ее за рубежом?! То, что сейчас кажется азбукой литературной жизни, выглядело тогда как государственная измена.

Б. Пастернак умер 30 мая 1960 года. А уже через считанные дни прошли обыски на квартире О.В. Ивинской и ее дочери И.И. Емельяновой. Мать и дочь обвиняли в незаконных валютных операциях — через них поступали обильные гонорары за роман «Доктор Живаго» из-за рубежа. Обе они в обход существовавших тогда валютных установлений через приезжих иностранцев разными путями получали для автора денежные суммы за якобы незаконно издаваемый во многих странах Запада роман. Деньги и финансовую переписку они передавали поэту. Носили ему, как имено-

валось в обвинительной стряпне, пресловутые «чемоданчики». Впоследствии Ивинская и Емельянова были реабилитированы. Поскольку получать деньги за свой труд, как заново определили органы юстиции, не является преступлением. Но до такой эпохи новых понятий еще требовалось дотянуть и перестрадать.

Тогда же были изъяты хранимые во второй семье Пастернака рукописи поэта и остаток заграничных гонораров. «Это были ужасные дни, — вспоминает в своей книге И. Емельянова. — По пятам за нами ходили агенты КГБ, отключали телефон, всюду стояли магнитофоны, было ясно, что, не решившись расправиться с ним самим, месть готовили его близким. К тому же “не охраняемым законом”, то есть нам». А уже в ноябре закрытый суд объявил приговор — О. Ивинской 8 лет тюремного заключения, И. Емельяновой — 3 года. И обеих вскоре в арестантских вагонах отправили в места заключения.

В одном из своих стихотворений Ольга Ивинская писала:

Как ловко задумано было,
Под стать сатане самому:
Его — как удобно — в могилу.
Ее — по закону — в тюрьму.

Разумеется, поведение Федина в истории с романом «Доктор Живаго» было соглашательским, двойственным, далеким от мужественности... Федин не вступился за своего близкого друга. Не разъяснил значение его искусства, не призвал к терпимости. И это было не только проявлениями малодушия. Многого он, видимо, уже и сам внутренне не понимал, замороженный идеологическими шаблонами соцреализма и марксистскими догмами, в утверждении которых принимал участие. В этом смысле с Фединым повторился приступ духовной слепоты, который испытывал после возвращения в СССР в последние годы жизни его учитель Горький.

Федин был к Пастернаку ближе многих. И в какой мере тут к убеждениям и предрассудкам примешивались знания частной жизни и гражданского поведения Бориса Леонидовича? Какую долю, с другой стороны, составляла опаска или оглядка на без-

упречность собственной официальной репутации? Желание не запятнать себя, остаться в стороне?

Вероятно, здесь было все сразу. И то, и другое, и третье. Но, прежде всего, существовала реальная сложность жизненных обстоятельств.

Вот отчего, отдавая должное Пастернаку, не следует изничтожать Федина. Создатель «Доктора Живаго», как мы знаем, даже учился у него искусству изобразительности в прозе. Гоген, скажем, если брать художественные примеры, сыграл не лучшую роль в биографии Ван Гога, но никто из почитателей Ван Гога не истребляет за это Гогена. К тому же — и во всех случаях — тогдашняя позиция Федина сколько-нибудь решающего значения не имела.

Тут еще раз хочется вспомнить Анну Ахматову. Строгий блюститель литературной чести, любившая Пастернака, она не в пример иным нынешним запоздалым сверхморалистам не сделала сколько-нибудь далеко идущих выводов из истории с Нобелевской премией Б. Пастернаку. Напротив, ее отношения к Федину оставались теплыми.

На одном из позднейших съездов Союза писателей РСФСР в начале 60-х годов мне самому однажды довелось наблюдать трогательную картинку. Руководитель Союза писателей СССР, седой, слегка сгорбленный Федин, с изяществом старорежимного кавалера вел под руку по мраморной балustrаде Кремлевского дворца царственно выступавшую грузную Ахматову. Они о чем-то оживленно по-приятельски беседовали... Жаль, что со мной не было фотоаппарата.

Выше приводилась хроника документов об отношениях Ахматовой и Федина на протяжении трех с лишним десятилетий (с 1922 года). Для меня лично эта документальная подборка, когда я ее теперь читал и в чем-то добавлял, подтвердила давний «кадр памяти».

Часть пятая

ДУЭЛЬ ЗА СПИНОЙ ПАМЯТНИКА

... Для цельности рассказа — перечислим несколько биографических вех и событий, произошедших за это время с К.А. В апреле 1949 года за романы «Первые радости» и «Необыкновенное лето»,

как уже говорилось, Федина наградили Сталинской премией первой степени.

А в мае 1959 года, на шестом году «оттепели» и правления Хрущева, его поставили (то есть, конечно, «избрали»!) вместо А.А. Суркова на пост первого секретаря Союза писателей СССР.

По советским ранжирам это была министерская должность. Федину предстояло пройти через все спирали и «волчьи ямы» высшего «придворного» сановника. Даже для крупных писателей участь, конечно, не новая. В классических фигурах в России она ведет исчисление, может быть, с Державина, ставшего долголетним высоким сановником при Екатерине II. Несмотря на бессчетные свои оды Фелице, ее фаворитам и придворным, а также самодержцам и двору двух последующих императоров, выдающийся поэт в общем все-таки выдержал эту роль без большого ущерба для своего дара... Но то были, конечно, другие времена.

Ближайшие друзья и знакомые приглядывались, как Федин берет психологические барьеры. Одна из наиболее пронизательных наблюдательниц, Анна Алексеевна Капица, жена выдающегося физика, 13 июля 1959 года сообщала художнице Валентине Ходасевич письмом со своей дачи на Николиной Горе, расположенной неподалеку от Барвихи: «Да, когда мы были у Ек. П. <Пешковой>, то туда пришли каторжане — в пижамах из Барвихи — Маршак и Чуковский. Ивановы привезли Ираклия <Андроникова>. Все были “добры” с Федем. Приехал очень почтительный министр с министершей (в роли “министерши” Федин привез так до конца и незаконную свою любовь Ольгу Викторовну Михайлову. — Ю. О.). Ираклий гениально приветствовал Федина от имени Суркова — просто феерически. Было очень жаль, что не было Вас».

От момента, когда К.А. за шуточной андрониковской маской писательского министра все чаще обращался в реального министра, а затем или вместе с тем и в «министра собственной безопасности», утекло немало воды.

Когда в мае 1959 года Федин согласился принять высший пост в Союзе писателей СССР, то при знании им собственных возможностей и строя внутренних понятий, то был рискованный компромисс. В том же романном персонаже — писателе Кия-

нове — Ю. Трифонов косвенно обозначил и то, чего не хватило на новом посту исходному прототипу. К.А. был слишком кабинетный человек. Не хватило масштабов личности, решимости, мужества, силы воли, гражданского темперамента.

На посту руководителя Союза писателей СССР в ту сложную эпоху, бросив вожжи и согласившись играть роль зиц-председателя, во всяком случае часто, Федин, как мне кажется, занимался не своим делом. А эпоха выпала действительно крутая и взбалмошная. Общественных переломов, зигзагов и перемен. Переход от сталинизма к «оттепели» и от нее обратно к неосталинистским заморозкам. Федин был книжник, а не политик. И обращаться из художника в политикана, *«торговца писчебумажными товарами»*, если вспомнить когда-то засевшие в натуре «отцовские начала», — это требовало все-таки противостественного напряжения, «надрыва над собой». Он не годился быть руководителем государственного масштаба, какими, скажем, по свойствам природы до него были прежние писательские руководители «сталинского разлива» — пламенный «комиссар» и генсек А.А. Фадеев или даже убежденный коммунист А.А. Сурков.

Но именно в подобном стоворчивом «рыхлом» зиц-председателе, с незапятнанной литературной репутацией, власти тогда и нуждались. И Федин с годами настропался, изловчался исполнять взятую роль. Мелкими делами, культуртрегерством, совершая множество благородных и полезных дел, он как будто сводил баланс, отвлекал в сторону, задабривал собственную совесть, стараясь возместить то, от чего уклонялся и чего не исполнял по главному счету. И это поначалу как будто всех устраивало.

Старую площадь, где размещался ЦК, интересовало прежде всего использование репутации и имени советского классика. А его власть в СП СССР — и с годами чем дальше, тем очевидней! — была скорее номинальной и представительской, чем реальной. Главное делалось за его спиной. Третью срока своего пребывания у руководства он даже и формально числился уже не первым секретарем, а — пышно и пусто — председателем Союза писателей.

Когда на дачу к Федину с кипой бумаг в кожаных папках на подпись приезжали реальные чиновные правители Союза писателей СССР — Г.М. Марков и К.В. Воронков, «отъевшаяся лиса» и «челюсть», по выражению Солженицына, а позже Ю.Н. Верченко, внешне благодушный толстяк, с зорким прищуром светлых глаз, то почти все уже было согласовано, прокручено, затверждено в кабинетах ЦК и на этажах соответствующих ведомств.

Вникать, возражать и спорить чаще всего не имело смысла. Оставалось хлопнуть кулаком по столу и заявить о своем уходе. Но на это не доставало ни внутренней решимости, ни сил. К тому же он и сам, как и некогда вернувшийся из эмиграции в сталинские объятия его учитель А.М. Горький, был плотно опутан и часто увязал в хитросплетениях официальной советской идеологии. И Федин редко спорил, а чаще выводил свою размашистую и красивую подпись. То есть исполнял ту самую функцию Чучела Орла, которую закрепила за ним либеральная фольклористика. Несогласия, возражения и сетования нередко доставались лишь страницам дневников да иногда частным разговорам.

Однако время от времени раздавался беззвучный удар гонга. Призыв сесть в председательское кресло и отрабатывать должность. Следует отдать справедливость, случалось это не так уж часто. Его щадили, а может, лишь берегли для самых крайних случаев, опасаясь инфляции имени, и призывали на помост, когда требовался какой-то сокрушающий удар. В руках чиновной братии Г. Маркова и его когорты Федин был козырной туз, который пускали в игру, когда без этого уж никак обойтись было нельзя. Впрочем, вполне допускаю, что примешивались сюда еще и элементарный расчет, и чувство осторожности. Федин был все-таки человек другой выучки и формации, и если за конечный результат можно было не беспокоиться, то в тактике проведения замысла он мог наломать дров, наговорить несуразиц, надавать ненужных обещаний и т.д. У плиты бюрократической кухни этот литературный классик был неловок, косноязычен и даже бездарен, как безнадежная стряпуха.

Именно так все это и происходило в сентябре 1967 года на судьбоносном расширенном заседании секретариата правления

СП СССР, центральным событием которого было резкое столкновение Федина и Солженицына.

Самое удивительное, что еще одним учеником Федина, как это ни покажется странным, был именно он, Александр Солженицын. Об этом рассказывает Л. Сараскина в той же насыщенной фактами книге «Солженицын» (М., 2009, серия ЖЗЛ). Примечательно, что биография эта, первоначально готовившаяся к 90-летию Александра Исаевича, выростала не только на базе обширного личного архива. Но вдобавок в значительной мере была авторизована, то есть прочитана и местами даже снабжена подстрочными комментариями героя повествования.

Завязка отношений с Фединым случилась в 1944 году. Командир разведывательной звукобатареи, 25-летний фронтовой капитан Солженицын, в недавнем прошлом студент литературного факультета МИФЛИ, к той поре успел уже перепробовать себя во многих жанрах — от стихов и прозы до драматургии. И перед ним, как это водится, во весь рост встал роковой вопрос: кто он? Стоит ли продолжать свои усилия дальше? Тем более что автора звала и манила грандиозная творческая цель. Его воображению уже рисовались контуры будущего «Красного колеса» — история революции в России, которую он хотел осмыслить и воссоздать во всей живой полноте и красочности. По истолкованию тогда еще вполне ортодоксально, с ленинских позиций.

Требовался безукоризненный арбитр авторских возможностей. Есть ли у него художественные данные, достанет ли литературного таланта и сил? И кто же это должен был определить? На роль высшего судьи был избран Константин Федин. А на подмогу и возможную замену ему еще Борис Лавренев. Им Солженицын переправил на суд отобранные им сочинения.

«Если Федин, — передает события Сараскина, — прочтет военные рассказы и поставит на них крест, если автор сам поймет, что не способен создать нечто великое, — с мечтой, которой отдана вся юность, будет покончено. Он бросит писать, но не оставит свою цель, перейдет на истфак и уже как историк положит жизнь на алтарь ленинизма. Если же литературный талант будет у него обнаружен (Фединым, Лавренёвым или кем-либо другим), то

он, писатель Солженицын, будет создавать романы по истории революции...» (С. 245). Федин избирался Солженицыным в глашатаи судьбы!

(Замечу в скобках. Как одинаковы тут начинающие литераторы при всяческих и огромных различиях в остальном. Без судьбоносного первого слова репетитора они никак обойтись не могут!)

Но почему именно Федин? Что конкретно покорило фронтового капитана из его романов о коллизиях человеческой природы и судьбах людей и искусства в революции? «Города и годы»? «Братья» (о композиторе, а Солженицын был очень музыкален) или что другое? Биограф не сообщает. Но объемистые сочинения прозаика требовали основательной проработки. И тем не менее или именно из-за широты охвата социальных проблем на первое место встал Федин, в то время никаких высоких постов в писательской иерархии не занимавший, а даже, напротив того, публично изруганный и гонимый. Можно сказать лишь, что у такого могучего и расчетливого человека, как Солженицын, выбор главного арбитра для решения собственной судьбы едва ли был случайным.

Вторым среди избранных судей значился Борис Лавренев. В нем молодого Солженицына привлекла не раз инсценированная и экранизированная повесть «Сорок первый» — о противоречиях любовной страсти и революционного долга.

Пересыльная фронтовая оказия Фебина тогда не достигла. Адресат куда-то переезжал, и пакет с рукописями передать ему не удалось. Рассказы Солженицына с запросом о его будущем к Федину не попали. Знакомство не состоялось.

Но жизнь двигалась дальше. Во второй раз судьба свела их в 1962 году в стенах журнала «Новый мир». Там объявилась переданная бывшим тюремным напарником Солженицына по «тюремной шарашке» Львом Копелевым рукопись, слепо напечатанная на машинке через один интервал на обеих сторонах листа. Сочинение бывшего эка, а ныне школьного учителя математики из Рязани — рассказ «Щ-854». Этот будущий дебют Солженицына затем обрел всемирную известность как повесть «Один день Ивана Денисовича».

Федин в качестве члена редколлегии «Нового мира» не просто вместе с главным редактором и его командой стоял за публикацию. Но и сыграл в раскладе борющихся сил существенную роль в том, что первое художественное изображение будней ГУЛАГа пробилось на страницы печати. Однако же на людях действовал уже с обретенной к той поре после публичных побоев и официальных возвышений пугливой осмотрительностью. Так, во всяком случае, могло представляться со стороны.

Случались ли при этом личные пересечения Солженицына и Федина во время борьбы за публикацию «Одного дня» и ее последующего триумфа вплоть до выдвижения повести на Ленинскую премию, сведений нет.

Третий по счету литературный контакт заочного питомца и потенциального учителя происходил осенью 1967 года. На сей раз это была встреча лицом к лицу и совершенно обратная по расцветке и тону. Она-то и обрела форму публичной литературной дуэли, на которую младший дерзко и принародно вызвал старшего. Происходило это 22 сентября 1967 года, почти сразу после Четвертого съезда Союза писателей, на вошедшем в историю знаменитом расширенном заседании Секретариата правления СП СССР, посвященном публичным акциям и литературной судьбе А.И. Солженицына. Председательствовал на нем К.А. Федин...

Однако прежде немного о нашем разговоре с Фединым о Солженицыне и сопутствовавших этому событиях.

За пять лет, истекших с триумфа «Одного дня» Ивана Денисовича», произошло много перемен. В октябре 1964 года в результате тихого государственного переворота был свергнут Н.С. Хрущев. Эпоха оттепели, «малярийной оттепели», по выражению Солженицына, закончилась. Шли заморозки, накатывался вал неосталинизма. Хотя взявшая бразды правления когорта чиновных партократов во главе с Брежневым делала вид и уверяла, что порядка и свобод лишь прибавилось.

Одним из таких заигрываний с творческой интеллигенцией явилось в ноябре 1966 года обсуждение на расширенном заседании секции прозы Московской писательской орга-

низации под председательством пожилого дисциплинированного военного писателя Георгия Березко первой части повести Солженицына «Раковый корпус». Хотя прошло оно почти триумфально, самой публикации повести это никак не продвинуло.

Далеко не все тогда было известно. Но параллельно с тем, что иногда радужно пузырилось на поверхности, другие события происходили в темных общественных глубинах. Еще в 1965 году на квартире Теуша, одного из друзей и доверенных лиц Солженицына, органами госбезопасности после слежек и обыска был изъят хранившийся там архив писателя... Увиденное и пережитое в сталинских лагерях и открывшиеся ему будни ГУЛАГа, понятно, не давали автору оставаться приверженцем режима. За это и ухватилось КГБ. По итогам операции были изданы ограниченным тиражом и закрытым способом для партийной номенклатуры его ранняя антисоветская пьеса «Пир победителей», сочинявшаяся еще в лагерные времена, и роман «В круге первом». В этой редакции произведения, изображающего жизнь и работу заключенных в научно-исследовательской «шарашке», была сцена о телефонном звонке дипломата Володина, героя положительного, в американское посольство с уведомлением об очередном акте советского воровства атомных секретов на Западе.

На содержание личного архива КГБ ответило массированными публичными ударами. Со стороны Главлита был наложен запрет на издание произведений Солженицына и даже на упоминание его имени в печати. В лекциях и докладах многих популярных лекторов умышленно распространялась «деза» — то там, то сям пускались клеветнические сведения о биографии Солженицына, выдумки об изменническом поведении в период войны командира фронтовой звукобатарей, то ли дезертирстве из армии, то ли даже службе на немцев. Немногие его книги, в том числе недавняя без пяти минут лауреатская повесть «Один день Ивана Денисовича», изымались из библиотек.

Я, вчерашний провинциал, в это время учился в аспирантуре, в членах Союза писателей не состоял, занят был подготовкой

к защите диссертации по психологии творчества. И, в общем, о происходившем в московской литературной среде имел довольно смутное и отдаленное представление. Но в отголосках событий улавливал одну из волн мрачной реставрации сталинизма.

«Раковый корпус», ходивший в списках по Москве, я читал. Эта большая повесть, которую из-за размеров (700 страниц печатного текста) часто называют романом, как просачивались слухи, с триумфом обсуждалась на секции прозы в Союзе писателей Москвы. Но тем не менее печатать ее не печатали. А журнальный набор первой части рассыпали. Происходила какая-то пробуксовка колес на болотистой или песчаной почве. Редакция и Твардовский лично, как мне рассказывали приятели-«новомировцы», М. Хитров и А. Ермаков, всеми силами пытаются пробить «Раковый корпус», но это никак не удается.

К тому же еще году в 1965-м (в аспирантскую бытность) на собрании в Академии общественных наук при ЦК КПСС при большом стечении народа мне довелось слышать доклад председателя КГБ, недавнего комсомольского вождя, Владимира Семичастного, значительная часть которого была уделена козням «перерожденца» А. Солженицына. Там я вообще наслушался какой-то фантастики. Из доклада выходило даже, что Солженицын вовсе и не Солженицын, а подлинная его фамилия Солженицер и отчество Исаевич у него вовсе неспроста тоже. Еврей, одним словом. С другой стороны, получалось, что его предки были крупными землевладельцами, чуть ли не помещиками на Кубани. Помещик — еврей?! Что-то новенькое! Да и с реабилитацией Солженицына, дескать, поспешили. Потому что Родина и во фронтовом его прошлом достаточно не разобралась. Тут тоже есть много сомнительного и подозрительного. Словом выходило, что Солженицын — личность мутная и явно находящаяся на службе у американских империалистов.

Все это казалось мне идеологическим перегибом, дурацким вывертом. Я считал, что уж Союз писателей должен заступиться за одного из своих членов и как-то оберечь его от заведомой травли. Это будет на пользу всем — и духовной атмосфере в обществе, и литературе.

Вот отчего о происходившем с повестью «Раковый корпус» я и решил при случае поговорить с Фединым.

Мне пришлось долго ждать встречи с К.А., но когда наконец случай представился, я ему ясно и откровенно об этом сказал. Разговор происходил на даче Федина. Я передал свое впечатление от чтения и с некоторым пафосом произнес фразы в защиту писателя, которого после общего успеха «Одного дня Ивана Денисовича» теперь начали подвергать травле.

Федин, выслушав меня, откинулся на спинку высокого кожаного кресла. Некоторое время испытующе на меня смотрел, потом произнес неожиданно резко и сухо:

— Вы знаете, вот мы будем отмечать пятидесятилетие Октябрьской революции. В девятнадцатом году я был в осажденном Юденичем Петрограде, можно сказать, в пекле Гражданской войны... А он против Советской власти. Как же я могу его поддерживать?

Для меня очевидностью оставалось, что «Раковый корпус» имел общечеловеческое содержание, а по политическому заряду был куда безобидней, чем «лагерная» повесть «Один день Ивана Денисовича». Зачем же в таком случае к искусству привязывать политику? Это одно, а то другое. Ведь и при любых политических расхождениях с властями советских лет В.Г. Короленко или И.А. Бунин оставались классиками русской литературы.

Некоторое время я нескладно бормотал что-то в этом духе. Еще и о нравственном социализме, которым, согласно мнению в либеральной среде, разделяемому и мной, напитана повесть, и тому подобное. Но... «против советской власти»?! Продолжать дальше разговор на такой срывающейся ноте просто не имело смысла. Отпор последовал взвешенный и резкий. С нынешних позиций глядя, это была, конечно, совсем иная пластинка, чем у Владимира Семичастного. Но как будто с общего граммафона.

Однако же обратимся к решающей встрече наших героев — к событиям 22 сентября 1967 года на расширенном заседании Секретариата СП СССР. Заседание было специально посвящено А.И. Солженицыну, его обращению к IV съезду писателей об отмене цензуры в стране и письму о публикации повести «Раковый

корпус». Действо происходило в старинном особняке на Поварской (тогда улица Воровского), в так называемом Доме Ростовых.

Во дворе усадьбы против высоких стрельчатых окон на большой приподнятой, как пригорок, цветочной клумбе, установлен памятник Льву Толстому. В своем кресле Лев Толстой сидит, повернувшись спиной к Союзу писателей. Этот отворот спиной от Союза писателей не раз вызывал насмешливые шутки местных зубоскалов. За спиной памятника и развернулась дискуссия.

По тогдашнему каламбуру Твардовского в духе поэмы «Руслан и Людмила» собрались «тридцать три богатыря — сорок два секретаря». Именно столько выборных начальников после IV съезда было в Союзе писателей. И управлять этим разноликим кагалом предстояло Федину.

Собственно, все секретари, за исключением А. Т. Твардовского, демонстративно явившегося на заседание в паре с А. И. Солженицыным, могли считаться «секундантами» председателя. Пять с лишним часов, пока оно длилось, большинство из них в своих выступлениях дружно и неколебимо, будто утки в рассказах Мюнхгаузена, проглотившие одну насаленную веревку, летели в одном направлении, придерживались общей установки. Особо усердствовали А. Корнейчук, В. Кожевников, В. Озеров, К. Яшен, П. Бровка и многие другие. У Солженицына была только одна опора — пришедший с ним Твардовский...

Еще в апреле 1967 года «Письмо IV съезду Союза писателей» А. Солженицына в сотнях машинописных копий ходило по рукам в Москве, задолго до открытия съезда. Официально автор адресовал его высшему писательскому органу — Президиуму предстоящего съезда. Однако же, не дожидаясь ответа и даже самого открытия съезда, разослал письмо в сотнях копий множеству наиболее видных литераторов. А от них оно начало свое хождение по всей Москве, а там уже по всей стране и далеко за ее пределами.

Предварительная рассылка копий официального «Письма» в сотни индивидуальных адресов, конечно, в действительности означала недоверие к руководству Союза писателей и стоящим за ним властям, способом давления на них. Результат не замедлил сказаться.

Последовало коллективное письменное обращение к IV съезду «поддерживающей группы» — 80 известных писателей страны, вступивших между собою в очный и заочный контакт. В свою очередь они заявляли, что «письмо А.И. Солженицына ставит перед съездом писателей и перед каждым из нас вопросы чрезвычайной важности. <...> Невозможно делать вид, что этого письма нет и просто отмолчаться».

Свои фамилии под обращением с требованием обсуждения письма на съезде поставили писатели самых разных поколений, направлений и идейных окрасок — К. Паустовский, В. Максимов, В. Солоухин, Ю. Трифонов, А. Тарковский, Б. Слуцкий, Ф. Искандер, В. Бушин, Ю. Мориц, К. Богатырев, Н. Коржавин, В. Войнович, Б. Можаяев, К. Ваншенкин... В отдельных письмах и телеграммах к ним присоединились В. Катаев, П. Антокольский, С. Антонов, В. Конецкий, Г. Владимов и другие.

Текст письма Солженицына своим чередом попал в западную печать. Его неустанно оглашали зарубежные «радиоголоса».

Имея за плечами нынешний исторический опыт, надо признать, что тогдашние действия Александра Исаевича были трезвым поступком реального политика и верным расчетом опытного бойца... Случай до сих пор небывалый. Но отмена цензуры в стране? Факт накаленный, беспрецедентный, подрывающий одну из основ духовной монополии партократии и советского режима.

Не считая нескольких не слишком внятных выступлений одинок на съезде (О. Гончара, В. Кетлинской, К. Симонова), содержащих лишь намеки на проблему или касавшихся гуманитарной защиты прав А. Солженицына на творчество, IV съезд СП СССР острейшие названные проблемы обошел стороной и никаких решений по ним не принял. Теперь требовалось и дальше, как взрывчатую вагонетку с горы, спустить опасный груз на тормозах. Как это лучше исполнить?

На эту роль и было уготовано расширенное заседание секретариата СП СССР под председательством самого К.А. Федина. Сбор высших литературных авторитетов страны во главе с советским классиком за спиной памятника Льву Толстому должен

был разрешить всё в лучшем виде и расставить по своим местам. Так оно, во всяком случае, было задумано сверху.

Подробности этого исторического заседания, начиная с каламбуров А. Твардовского, обрели известность много позже. А тогда всё происходило при закрытых дверях. Сведения оттуда просачивались отрывочные, через третьих лиц и густо настоянные на слухах. Теперь почти все известно до мелочей.

Итак, дуэль развернулась вокруг двух совершенно разных по значению и характеру письменных документов Солженицына.

«Открытое письмо IV съезду», образец огненной публицистики автора, обосновывало предложение об отмене цензуры в стране и включение в Устав перечня обязанностей Союза писателей по отношению к своим членам. Автор указывал на горький опыт вчерашнего прошлого: «более шестисот — ни в чем не виновных писателей. <...> Союз писателей отдал их тюремно-лагерной судьбе». В Уставе должны быть обозначены гарантии защиты, с тем чтобы «невозможно стало повторение беззаконий». В качестве живого примера Солженицын предлагал обсудить гонения, клеветы и преследования, которым последние годы подвергается он сам.

Во втором письме к Секретариату от 12 сентября 1967 года ставился более узкий и конкретный вопрос — о судьбе повести «Раковый корпус» и долгих искусственных препонах к ее публикации.

Хотя Солженицын предстал перед многолюдным ареопагом лишь вдвоем с Твардовским, причем в роли отчасти обвиняемого за пособничество западной пропаганде, частью просителя за собственную рукопись, дуэль шла явно не на равных.

Федину было в то время 75 лет. Солженицыну — 48. В ответ на четкие, ясные, неотразимые, как бритва, доводы слышались неуверенные старческие бормотания. Не Солженицын, а Федин расписывал во вступительном слове якобы нанесенные мятежным писателем общему литературному содружеству многочисленные обиды и посрамления в его письме к писательскому съезду, а затем почему-то особенно в свежем обращении к Секретариату правления насчет собственных литературных публикаций. Хотя

сами масштабы затрагиваемых явлений, казалось, были несопоставимы.

«Второе письмо Солженицына (о решении судьбы рукописи “Ракового корпуса”. — Ю. О.), — почти жаловался, открывая заседание Федин, — меня покорило. Мотивировки его, что дело остановилось, мне кажутся зыбкими. Мне показалось это оскорблением нашего коллектива. <...> Вторым письмом, — пытаюсь, по обыкновению, примирить крайности и встать “над схваткой”, говорил Федин, — продолжается линия первого, но там (в письме об отмене цензуры — ни много ни мало! — Ю. О.) более обстоятельно и взволнованно говорилось о судьбе писателя, а здесь мне показалось обидным. <...> Его таланта никто из нас не отрицает. Перекашивает его тон в nepозволительную сторону..» и т.п.

Выходило волей-неволей, что требование об отмене цензуры в стране главу писательского Союза как будто бы заботило меньше, чем настырное авторское желание во что бы то ни стало пробиться в печать и увидеть опубликованной свою повесть. Такой вот странный поворот! При всем своем жизненном и дипломатическом опыте, видно, никак не мог подавить Федин голос души.

Скрытая и явная цензура — вековечная проблема развития искусства и духовной культуры в нашей стране во все времена. Оно, конечно, так. Но такого всевластия, как при советском режиме, она не достигала никогда. Ведь столько раз эти люди-невидимки с красными карандашами в руках, как выразился о них с трибуны один из делегатов съезда, уродовали собственные его, Федина, произведения, лучшие его находки и откровения. Забирались в печень, вырезали то, что поближе к сердцу, выхолощивали живое. Убитого, загаженного и загубленного ими не сосчитать. И подедать было ничего нельзя, пожаловаться некому. Поскольку официально цензуры в стране не существовало, а была лишь некая безликая организация под названием Главлит, ведавшая якобы лишь охраной военных и государственных тайн... Военных и государственных тайн? А головы срезали авторам повестей о раке в больницах и очерков о сборе колосков на колхозных полях...

Но даже и тогда еще, когда наличие цензуры в стране официально считалось важным признаком пролетарской диктатуры,

ему, Федину, запомнилось, как, будто битое стекло от валуна, отскакивали, например, его попытки на рубеже 30-х годов защитить публикацию двухтомника Ахматовой в издательстве писателей в Ленинграде. А ведь тогдашний главный цензор был ученый человек, не чета нынешним...

И что же теперь? Нашелся смельчак, талантливый писатель, бывший зэк, который открыто выступил против этих цензурных самозванцев. Его дружно поддержали сто мастеров пера, в том числе и давних друзей Федина вроде Паустовского. И что же он, Федин? Теперь он должен защищать это ненавистное ведомство?! Этих изуверских палачей. Этих гостиничных вышибал. Этих паскудных невидимок. Зачем, спрашивается, почему? Нет, выступить впрямую в защиту цензуры не поворачивался язык. Но как-то надо было выкруливаться, выходить из положения. Умные поймут, а дураков всё равно не научишь. Нужен какой-то пустой трафарет, некое плацебо, которое устроит всех... Например — «клевета западной пропаганды»... Ведь она существует, разве нет?! И пусть каждый вкладывает в это расплывчатое понятие, что хочет.

В итоге в своем вступительном слове и репликах о Солженицыне Федин ратовал за лояльность взаимных отношений. И единственное, предварительное условие, прежде всех публикаций, которое он выдвигал: *«Солженицын должен выступить в печати против западной клеветы по поводу его письма» IV съезду писателей.* Но в чем состояла эта западная клевета? Жестокая государственная цензура в СССР существовала... 600 писателей погибли в лагерях и тюрьмах, и тогдашний Союз писателей не только их не защитил, а помогал сажать... Журнальный набор «Ракового корпуса» рассыпали и, судя по настрою собравшихся, никто эту повесть печатать не собирался...

Председательствующий между тем, будто застойный манекен, вяло и неубежденно тянул одну и ту же ноту: *«выступить против западной клеветы».* Казалось, ему самому скучно участвовать в затеявшейся канители. Он оживлялся лишь и начинал преувеличенно кивать головой и поощрительно улыбаться, когда кто-либо из выступавших находил вместо него острое и яркое словцо.

Имелся, впрочем, человек, который тверже и искусней Федина отстаивал партийную линию. Это был его предшественник на том же посту А.А. Сурков, теперь оттесненный и передвинутый на роль секретаря по иностранным делам.

За десять лет до того это он был литературным мотором в исключении Б. Пастернака, автора романа «Доктор Живаго». Но Алексей Александрович и гордился тем, что знал, как разговаривать с волками в овечьей шкуре. Искушенный политик и златоуст, он принадлежал к плеяде людей старой закалки. Вот отчего одни считали Суркова истинным коммунистом, другие называли «гиеной в сиропе».

Суркову теперь было недостаточно возможной печатной оплеухи западной пропаганде со стороны Солженицына. Он требовал полного политического разоружения. «...Солженицын для нас опаснее Пастернака, — рассуждал Алексей Александрович в своем выступлении, стоя и почти ласково взглядывая сквозь очки поверх головы Солженицына, сидевшего неподалеку от него и быстро заносившего его речь в блокнот. — Пастернак был человек, оторванный от жизни, а Солженицын с живым, боевым, идейным темпераментом, это — идейный человек».

Вот ведь даже и похвалить не преминул!

Значительно позже просочился из-за рубежа напечатанный в 1975 году в Париже мемуарный очерк «Бодался теленок с дубом» Солженицына. Книжка дошла до меня, когда самого Федина уже не было в живых. Только тогда я понял, вспоминая разговор с К.А., в какую раскаленную топку совал голую руку.

В «Теленке» задиристо и остроумно описано то самое расширенное заседание Секретариата правления СП СССР 1967 года. Солженицын подбирает выдержки из собственных записей и комментирует их: «Я уже давно вошел в ритм — пишу и пишу протокол. Лицо мое смиренно: о, волки, вы еще не знаете эков! Вы еще пожалеете о своих неосторожных речах!» На этом заседании Александр Исаевич, хотя и возражал продуманными, отточенными и меткими формулировками, но, в общем, держался сугубо покладисто и смиренно. Таковы были и

диалоги, затевавшиеся с главным партнером — Фединым, которому он даже слегка льстил за его добрые намерения:

«Солженицын. — Теперь относительно предложения Константина Александровича. Ну, конечно же, я его приветствую. Именно *публичности* я и добиваюсь все время! Довольно нам таиться, довольно нам скрывать наши речи. <...> Спросил К.А.: “Во имя чего печатать ваши протесты?” По-моему, ясно: в интересах отечественной литературы. <...> Это письмо (IV съезду Союза писателей. — Ю. О.) — о судьбах нашей великой литературы, которая когда-то покорила и увлекла мир, а сейчас утратила свое положение...»

А вот в каком облике собеседника в председательском кресле, литературного наставника молодости и недавнего доброжелателя, если верить позднейшей записи, видел вроде бы почти по-сыновьи державшийся автор. В «Теленке» Солженицын рисует не просто карикатурный, но, я бы даже сказал, зловещий в своей карикатурности образ:

«На лице Федина его компромиссы, измены и низости многих лет впечатались одна в другую, одна на другую. <...> У Дориана Грея это все сгущалось. На портрете Федина досталось принять — своим лицом. И с этим лицом порочного волка он ведет наше заседание, он предлагает нелепо, чтоб я поднял лай против Запада, с приятностью перенося притеснения и оскорбления Востока. Сквозь слой пороков, избледневший его лицо, его череп еще улыбается и кивает ораторам, да не вправду ли верит он, что я им уступлю?»

Надо учитывать, конечно, что публицистический очерк, откуда взяты цитаты, писался в азартном ожесточении борьбы одиночки с могучей государственной машиной и на волне успеха. Автором, который, по выражению Твардовского, «прошел высшие испытания человеческого духа — войну, тюрьму, смертельную болезнь».

По полной выкладке в «Теленке» досталось не только Федину, но и почти всей редакции оппозиционного журнала «Новый мир» — заместителям Твардовского и его ближайшим соратникам. «Молодому карьеристу» В. Лакшину, «ушастому» цензору — заму

А. Кондратовичу, «мутному» И. Сацу, ответственному секретарю М. Хитрову и многим другим.

Все они даже и представлены нередко если и не обладателями волчьих оскалов — лисьих хвостов, то как солдаты в строю, со слившимися в одно белесое пятно лицами. При малейших колебаниях идеологической стрелки ведут себя, как заводные куклы: «И на лице Лакшина — Хитрова — Кондратовича каменное единое: нет, мы вам не товарищи! Мы — патриоты и коммунисты!»

Даже и сам Твардовский изображен, хотя и как крупный художник, но человек двойственный, часто пребывающий в пагубной слабости пьянства, чуть ли не коммунистический чиновник в душе. Готовый вскакивать и держать руки по швам при телефонном звонке воротил из ЦК. А ведь не будь Твардовского и его редакции, мир мог бы и не узнать о существовании такого писателя А. Солженицына.

Явный перебор в резкостях идеологических и человеческих характеристик и нападок на вчерашних друзей и помощников, допущенный в «Теленке», впоследствии ощутил и сам автор, когда пожил и осмотрелся на Западе. Во второй автобиографической книге «Угодило зернышко промеж двух жерновов» (1988) Солженицын отчасти повинился в этом.

Однако же последующие коррективы в тексте «Теленка» не коснулись характеристики Федина. Резкость и даже неуклюжая карикатурность выражений сохранились (чего стоят «лицо порочного волка» и «улыбающийся череп»?).

Неумолимость гонимого писателя в последнем случае, возможно, объясняется еще и преувеличенным представлением о значимости позиции Федина. В высшем писательском ареопаге при обсуждении повести председательствовал он. Решающее слово вроде бы зависело от первого секретаря СП. «Раковый корпус», как тогда представлялось многим (мне в том числе), проникнут христианскими идеями и ничего прямо антисоветского в себе не нес. Если бы это крупное полотно было опубликовано, не исключено, так думалось тогда, что во многом по-иному могла сложиться и личная судьба самого А. Солженицына.

Отчасти сходные соображения высказаны в открытых письмах Федину А. Твардовского и В. Каверина, ходивших в литературной

среде, получивших широкую известность и опубликованных на Западе.

Наиболее интересно из них письмо Твардовского. Свой текст он глубоко продумал и, судя по датировке («7—15 января 1968»), работал над ним восемь дней. Письмо проникнуто уважением к адресату и апеллирует к той степени духовной близости, которая давно между ним и Фединым заведена и сложилась.

Выдержки из разных мест:

«...Я попытаюсь <...> говорить с Вами напрямую, как если бы мы говорили с глазу на глаз — по образцу наших бесед под барвихинскими кущами, или у Вас на даче, или еще где...» Далее приводятся отзывы Твардовского о лучших книгах Федина, вроде повести «Трансвааль», и положительные факты о поступках Федина и его литературной репутации за три десятилетия их личного знакомства («человек чести, человек, способный в любую минуту встать на защиту правого дела, прийти на помощь товарищу»). Напоминается факт, как член редколлегии Федин пытался отстоять Твардовского перед высшим начальством при первом его отрешении от должности главного редактора и т.д.

Письмо Твардовского — это попытка переубедить колеблющегося, обрести хотя бы и не полного единомышленника, завоевать союзника.

Деловит и пунктуален Твардовский и в своих предложениях, которые ранее отчасти у них были обговорены с Фединым и даже сформулированы на бумаге. Он этот письменный текст и приводит: «Но вот мои тогдашние конкретные предложения, осуществление которых и сейчас еще, по-моему, могло бы послужить на пользу дела <...>:

1. Немедленно опубликовать в “Литгазете” отрывок из “Ракового корпуса” со сноской: “полностью печатается в “Новом мире”;

2. Поручить издательству “Советский писатель” подготовить сборник Солженицына к печати, с предисловием, освещающим, между прочим, биографию автора;

3. Опубликовать это предисловие в “Литгазете” или “Лит. России” с соответствующей сноской.

Ответственность, какую Вы, Константин Александрович, ныне берете на себя, во всем этом деле, имеющем такие болезненные

симптомы на будущее нашей литературы, — вместе с тем открыто заявляет Твардовский, — очень велика и не думаю, что она Вам легка. <...> “А что я могу поделать?” — возразили Вы мне как-то на мой упрек. <...> А делать можно только одно: поступать согласно собственному разуму и совести».

Твардовский знает и понимает, конечно, как многое от Федина не зависит. В своем письме он указывает, например, что имя Солженицына запрещено упоминать в печати (одно из таких упоминаний только что вырезали даже из рукописи его собственной книги), что решается, разумеется, в ЦК и на Лубянке, а никак не Фединами. Но он призывает к риску, который, если держаться дружно и смело, будет способствовать оздоровлению литературной и общественной жизни в стране. Пусть хотя бы здесь, на их маленьком пятачке, как о каменную надолбу, разобьется волна наступающего сталинизма. Каждый, в конце концов, должен сражаться в своем окопе.

Практические и тактические действия по сопротивлению Твардовский берет на себя. Кроме собственного журнала (пункт № 1 — публикация «Ракового корпуса»), конечно, лишь в тех пределах, в каких это ему будет доступно (пункты № 2 и № 3 — выпуск сборника произведений Солженицына в изд. «Советский писатель», с предисловием, правдиво освещающем биографию автора). Но флагманом сопротивления, но маршалом, пусть номинальным, но распорядителем, пусть формальным, должен стать тот, кто и возглавляет Союз писателей. Он, Федин, раз уж так получилось...

Однако союзник у Твардовского был как будто даже сочувствующий, доброжелательный, но хлипкий. «А что я могу поделать?» — эта типичная фраза Федина недаром выхвачена в письме Твардовского. Многое исходило, конечно, не от него. Но встать грудью против власти, идти против партийного и иного руководства страны, вступать в бой почти со всем остальным секретариатом, жертвовать собой ради Солженицына Федин вовсе не собирался.

Вот отчего в ходе почти всего заседания восседавший в председательском кресле лишь вяло и заученно повторял, что Александр Исаевич должен дать достойную печатную отповедь клевете западной пропаганды. Клевете, клевете, клевете... И тогда, дескать,

всё войдет в свою колею, всё образуется... В результате заседание длилось более пяти часов, а решение было нулевым («Он подумает» — вывод заседания под председательством Федина о Солженицыне). Ситуация заволокичена. Других решений принято не было. Но такой уход в вату тоже вполне устраивал брежневское цековское руководство эпохи застоя.

Разумеется, штормы и вихри событий — ничуть не оправдание для чьих-либо приспособительных реакций. Чтобы усидеть в кресле, глава советских писателей — «министр собственной безопасности» — в очередной раз услужил властям. В то же время, вопреки нынешним мнимым радателям истины, на дальнейшие повороты судьбы Солженицына Федин особого, а, может быть, даже и никакого, влияния иметь не мог.

Тем более уж вовсе не имел никакого отношения к *«высылке Солженицына за границу»* шесть лет спустя, как гонит обличительную волну упоминавшийся автор статьи в «Биографическом словаре».

Реальная последовательность дальнейших событий такова. В 1968 году широко ходившую по рукам рукопись «Ракового корпуса» напечатали за рубежом. Как будто бы без ведома автора, по собственному его утверждению (если не считать, конечно, 300 экземпляров рукописи, запущенных при его участии в Самиздат). И в том же году сам Солженицын опубликовал там же непроходимый из-за цензуры роман «В круге первом». За этим прицельным ударом по советской репрессивной системе последовала тайная передача на Запад микрофильма с рукописью трехтомника его выдающегося и главного публицистического труда — «Архипелаг ГУЛАГ».

Ответной карой по указке ЦК и Лубянки явилось исключение Солженицына из Союза писателей марионеточным решением рязанского отделения Союза писателей РСФСР в ноябре 1969 года. С немедленным утверждением этой акции управляемым, как перчатка, руководством СП РСФСР во главе с Л. Соболевым. Никакие прочие согласия тут не требовались. И дальше завертелись, покатались другие громкие события, сотрясавшие эпоху холодной войны...

Нобелевская премия А.И. Солженицыну по литературе в октябре 1970 года... Публикация «Архипелага ГУЛАГ» на Западе осенью 1973 года... Арест Солженицына и высылка его из СССР в феврале 1974 года...

А еще в 1971 году, на Пятом съезде Союза писателей, престарелый и больной Федин был перемещен на декоративный пост председателя СП СССР. От него теперь даже и номинально не зависело ничего.

КАК МЫ ЗАНИМАЛИСЬ ПСИХОЛОГИЕЙ ТВОРЧЕСТВА

Вернусь, однако, к прерванной последовательности событий в собственных отношениях с К. А.

После 1961-го в Новосибирске я проработал два с небольшим года. Сыграло роль ослабление прежнего газетного пыла, который подсек соединенный удар самарских обкомовских бонз вкупе с тогдашним руководством редакции. Я на своей шкуре прочувствовал, насколько критика в прессе существует у нас для декорума. Между тем постоянная редакционная текучка мешала исполнению литературных замыслов. А только они, кажется, теперь играли роль.

Окапываться глубоко на новом месте не хотелось. К этому добавлялись здешняя бескормица и бытовая неустроенность. На несколько месяцев я даже угодил на больничную койку.

Требовалось искать какие-то новые жизненные решения. Давно уже хотелось махнуть куда-нибудь в аспирантуру (обычный тогдашний способ временного трудоустройства), чтобы, получая стипендию, три года побыть наедине с книгами и с самим собой. И вдруг такой случай представился совершенно нежданно-негаданно. В газете «Правда» в начале 1963 года я прочитал объявление о наборе в аспирантуру вновь образуемой кафедры литературоведения, искусствоведения и журналистики Академии общественных наук при ЦК КПСС.

О, то были либеральные хрущевские времена! Времена цирковых выбрыков и немислимых сюрпризов.

Академия общественных наук при ЦК КПСС то ли сама, то ли по указке сверху возжаждала вдруг духовного обновления, в том числе путем создания новой кафедры, причастной к искусствам. (Она так и называлась — кафедра литературоведения, искусствоведения и журналистики.) И публично объявила о свободном приеме в аспирантуру на нее желающих в возрасте до 35 лет, с минимальным партийным стажем, доказавших способность к научной работе. Причем, как я узнал уже потом, во главе новорожденной кафедры поставлен был известный цековский либерал из сектора литературы Игорь Сергеевич Черноуцан.

Подобающий стаж у меня был. Подходящий возраст тоже. Для Новосибирского обкома я был чужак и рекомендацию мне они (пока что!) выдали без труда. Другая рекомендация последовала от редколлегии «ЛГ».

Я написал вступительный реферат, приложил список публикаций. Опасался лишь, что из-за скопившихся доносов и «пятен» в личном деле меня тормознут. Но нет! Подумайте только — без всяких препон и проволочек — был принят. А грешным физическим существом переместился вскоре в массивный в своем великолепии гранитный оранжевых тонов особняк на отрезке столичного Садового кольца, на Садово-Кудринской улице. В прекрасную комнату на двух человек в одном из его жилых корпусов (со второго года аспирантского обучения даже в одноместную!). С великолепной библиотекой внутри здания, располагавшей доступным теперь мне спецфондом изъятой из общего хождения литературы. А вдобавок почти со столь же богатой и разнообразной по наборам блюд столовой и буфетом, со здравпунктом, со стипендией, не уступавшей прежней моей зарплате, разве за минусом гонораров... О, Господи, со всем этим сразу! И самое главное, о чем уж не говорю, — возможностью три года «писать диссертацию», то есть плевать в кулак и делать то, что тебе Бог на душу положит. Потому что никто еще толком не знал, чем эта странная новая кафедра внутри партийной структуры должна заниматься.

Впрочем, многое мне с непривычки и сибирской голодухи только казалось. Темы диссертаций требовались теоретические.

Мой сосед по комнате, симпатичный и выдавший виды номенклатурный журналист из Саратовской партийной газеты, сориентировался сразу. Когда через пару месяцев пришло время объявить избранную, как невесту, научную тему, он, не колеблясь, вписал в заявку: «Образ В.И. Ленина в советской драматургии».

«Зачем тебе это, Коля?! — удивился я. — Тут же нет никакой научной темы». Но хитрющий Колька, слегка вылупив на меня свои светлые симпатичные глаза, как он делал, когда покорял смазливую девицу из здешнего здравпункта, только значительно и понимающе ухмыльнулся.

Я же долго корпел и выламывал мозги. Изобретал такое название темы, чтобы, не бросая вызов партийным канонам, можно было все-таки и не грешить против науки. Исследовать нечто реальное, написать что-то значащее. Словом, делать полезное, что тебе хочется, и одновременно не мешать крутиться партийному колесу. Как в этом преуспеть?!

Был такой ленинградский литературовед Борис Мейлах, доктор наук и даже Сталинский лауреат за прошлые труды. Незадолго до этого (в 1962 году) он выпустил книгу «Художественное мышление Пушкина как творческий процесс», где провозгласил реабилитацию забытой и гонимой десятилетиями за уход от будней соцстроительства научной дисциплины — психологии творчества. С его участием проводились научные симпозиумы по комплексному изучению художественного творчества. Странники со всех городов и весей прибывали. Да и, действительно, что там ни говори, с наступлением кибернетической эры, когда «среднюю» музыку и «ходовые» стихи сочиняют роботы, близорукость прежнего вульгарного нигилизма по отношению к психологии творчества уже не требовала долгих опровержений.

В дореволюционной России и вплоть до сталинского поворота 30-х годов этой дисциплиной успешно занимались видные ученые — психологи, литературоведы, искусствоведы: Д.Н. Овсяннико-Куликовский, автор восьмитомных трудов «Вопросы теории и психологии творчества» (1907—1923), Л.С. Выготский «Психология искусства» (1925), В.П. Полонский «Сознание и

творчество» (1934), П.Н. Медведев «В лаборатории писателя» (1933) и многие другие.

Партия и Хрущев, широковещательно написал я в заявке, неоднократно призывали нас познавать жизнь. Но разве не в знании действительности и состоит питательная почва таланта и сила искусства? Вот почему нуждаются в изучении глубоко индивидуальные процессы психологии творчества. «Творческая индивидуальность писателя и проблемы художественного освоения действительности» — с такой тяжеловесной формулировкой предложил я тему на кафедре. И, подумайте, она без особой волокиты была утверждена!

В руководители мне определили профессора Александра Сергеевича Мясникова, с виду располневшего интеллигента, пенсионного возраста, ходившего в дорогих светлых костюмах, больного сердечника, вещавшего тихим голосом, как бы из неведомого мне не то секретного, не то даже потустороннего мира. В минувшие эпохи он занимал высокие номенклатурные посты, но чем-то однажды на всю жизнь был испуган. Очевидно, по всем этим субъективным и объективным причинам мой руководитель старался держаться в стороне и не привлекать к себе излишнего внимания коллег. Даже иные пустяковые высказывания в личных общениях Александр Сергеевич, глядя сквозь очки в золотой оправе внимательными серыми глазами, сопровождал тихим предупреждением, многозначительно сюсюкая: «Только между нами говоря!..»

Из трудов А.С. Мясникова я знал лишь пухлый том об А.М. Горьком, страниц на 700, выпущенный Гослитиздатом в самый разгул идеологического пресса сталинской эпохи, когда автор был в зените карьеры. Впрочем, с профессором *Строго Между Нами Говоря* (прозвище, которое вскоре затвердилось в приятельской среде), мы отлично поладили и жили душа в душу.

Раз в месяц, как было положено, а из-за его болезней чаще всего раз в квартал или того реже, я являлся к А.С. Мясникову и рапортовал о проделанной научной работе. Александр Сергеевич слушал молча, пожевывая губами, не одобряя, но и не возражая. Затем на час или полтора пускался в туманные рассуждения о

социалистическом реализме и величии А.М. Горького. Никакого прямого отношения к конкретике сообщения и последним научным занятиям они не имели, но, видимо, должны были обеспечить надежный партийно-марксистский азимут и фундамент, которого следовало держаться подопечному.

В конце вдохновенных нотаций Александр Сергеевич задавал обычно один и тот же вопрос: читал ли я книгу Маргариты Наваррской XVI века или роман «Принцесса Клевская» XVII века или что-то в этом роде? Я со вздохом сожаления отвечал, что эти исторические источники, к сожалению, прочесть еще не успел. Но непременно прочту. Александр Сергеевич жал мне руку, желал дальнейших творческих успехов. И мы расставались до следующей неопределенной встречи.

Тему диссертации я выбрал все-таки жизнеспособную. Тогдашние разыскания по психологии творчества в дальнейшем увидели свет. После накапливания новых архивных материалов и многочисленных переделок я выпустил в центральном издательстве «Художественная литература» монографию под названием «Рождение книги». Но произошло это лишь в 1973 году, семь лет спустя.

Авторский текст дополнительно подкрепляли беседы с современными мастерами литературы, которые велись по избранной тематике — о жизненных истоках художественного образа, психологии творчества, культуре и технике писательского труда. Беседы проводились мной с Л. Леоновым, И. Эренбургом, В. Пановой и другими тогда активно действовавшими художниками. В этом отношении пошел мне навстречу и К. Федин. Хотя такие беседы составляли оснастку диссертации и, по начальному замыслу, должны были располагаться в Приложении, работать было интересно, потому что в каждом случае мне открывалось оконце или окошко во внутренний мир очередного крупного художника. Здесь ограничусь, конечно, только нынешним нашим героем.

Вот буквально целая «история в записках и письмах», касающаяся первой большой беседы с Фединым.

Как уже сказано, во всех случаях запись должна была «двигать науку» и назначалась для узкого круга специалистов. Но,

прочитав выправленный им текст, я предложил напечатать ее в литературном журнале.

К.А. дал согласие, но не успел еще текст попасть в редакцию, как курьер принес мне от Федина письмо (21 января 1965 года):

«...Я вспомнил (надо бы!) название рассказа, который в Ваших заметках фигурирует как “Сострадание”. Он назывался у меня “П р и с к о р б и е м”. Поправьте.

И вот еще о чем хочу сказать. Намерение опубликовать беседу меня вдруг насторожило. Если бы я знал о нем, я правил бы (словарно, стилистически) эту беседу тщательнее. Поэтому прошу Вас поостороже отнестись к моим ответам, прежде чем отдавать рукопись в печать. Такие вещи я стараюсь обрабатывать пристальнее».

С недоумением вертел я в руках машинописные страницы (они и сейчас лежат передо мной), исчерканные вдоль и поперек, пестрящие помарками и вписками: если уж это не «тщательно» и не «пристально», то что же такое — «тщательно»? И хотя письмо вроде бы оставляло в силе разрешение на печатание, лучше теперь этого было не делать.

В несколько смутном настроении (и надо сказать, к счастью для дела) я отбыл на лечение в Ессентуки. Вернувшись в Москву, нашел тут письмо от К. А., посланное 23 февраля:

«...Спасибо за память и кучу сердечных пожеланий.

Вы еще на курорте? Приедете в Москву — свяжитесь с Валерией Константиновной (В.К. Михайловой — секретарем Федина. — Ю. О.), если что будет нужно по Вашей работе.

Я отхворал, снова на ногах. И снова — сотня обязанностей, сотни помех работе и... право, не лучше ли хворать? Будьте благополучны и веселы!

Жму вашу руку. *Конст. Федин*».

Через несколько дней состоялась встреча. Но вместо того чтобы вести стилистическую правку, К.А. принялся дополнительно развивать затронутые проблемы — о сущности «заготовок к творчеству», так называемого «материала литературы», о способах его накопления, о своем отношении к широко обсуждавшемуся тогда понятию «изучение действительности», о традициях классики в современной литературе, об историях некоторых собственных произведений и т.д.

В результате добавилось фактов, углубились трактовки — и сам текст записи вырос вдвое. Вскоре я послал Федину новый вариант. Ответом было письмо от 3 апреля 1965 года:

«...Получил Вашу Запись.

Не сетуйте, что задержу на неделю, до 9—10 числа с/м.

Через 4—5 дней обязался дать “Новому миру” еще кусочек романа — продолжение. Должен приготовить его. А дел столько, помехи такие, что голова кругом.

Над рукописью своею, как всегда, работаю с терзаньями и бореньем...»

Не позже 6 апреля, как свидетельствует отметка о сдаче номера в набор, продолжение романа было принято редакцией «Нового мира». Писатель выбрался из аврала. А в начале мая приветливая пожилая Валерия Константиновна в квартире на Лаврушинском вручила мне исчерканный, я бы сказал, до неузнаваемости (если бы это не было сделано с присущей Федину архитектурной четкостью вписок, вычерков и вставок) второй вариант «записи». К ней было подколото письмецо, помеченное «9.V. 1965, дача»:

«...Будете отдавать рукопись в переписку, не откажите напечатать одну копию для меня.

Я порядочно намазал, но — кажется — на пользу. Ваших вопросов моя правка, естественно, не касалась. Да они словно бы ясны.

Возможно, “Запись” придется к месту в “Вопросах лит[ерату]ры”, но можно предложить и другим журналам, — решайте Вы...»

Интересны обильная правка обоих машинописных вариантов и их сопоставление между собой.

Вдохновенной была новая концовка этой серьезной по тематике и теперь уже обширной научной беседы. В ответ на мое замечание о внутреннем родстве и контрастности характеров драматурга Пастухова и актера Цветухина в романах трилогии, о том, что Цветухин в чем-то даже как бы «Пастухов наоборот», К. А., переправляя текст, вписал от руки:

«...Определенное душевное родство Пастухова и Цветухина — это у меня, романиста, нечто близкое композитору, который передоверяет одну и ту же мелодию, чаще всего — лейтмотив, несхожим инструментам. Одно и то же поручено разным тембрам —

играет флейта, скрипка, фагот — задача решается то гармонично, то контрастно, но всегда ради полноты целого.

Так и в прозе перед писателем стоит задача инструментовки. В литературоведении, например, таким отличным исследователем, как М. Бахтин, подобное явление в литературе названо “полифонизмом”. Это хорошее название, определяющее, может быть, один из надежных приемов эпического жанра, или путь от противоречий к гармонии. Мне кажется, дело писателя состоит не в том, чтобы подвести читателя за руку к одному окну и сказать: “смотри!” — но в том, чтобы распахнуть все окна, за которыми видится мир в многообразии красок, залитый светом будущего, достойного борьбы во имя человека».

В этих словах уже содержалось, по существу, и название беседы, которое мне оставалось лишь высмотреть и выставить вскоре в журнальной публикации: «Распахнутые окна (Из бесед о писательском труде)». Позже со ссылкой на мою запись Федин под тем же названием включил беседу в том 9 своего Собрания сочинений.

А ведь было это всего только интервью или беседа!..

Первая же ее публикация сопровождалась стычкой журнальных самолюбий, даже некой мелочной катавасией, характерной не только для тогдашних нравов. Причем раздутая пустяковина бумерангом вернулась к Федину. И ему пришлось снова ею заниматься. Но полотно литературной истории всегда ткались из пустяков. Поэтому не откажу себе в удовольствии воспроизвести этот сюжет.

«Возможно, “Запись” придется к месту в “Вопросах лит[ерату]ры”, но можно предложить и другим журналам, — решайте Вы...» — написал Федин в сопроводительной записке.

В «Вопросах литературы» я был постоянным автором и о работе над беседой с Фединым по теме моей диссертации как-то упомянул главному редактору журнала Виталию Михайловичу Озерову.

Разговор был на ходу, чисто информационный, и ни одну из сторон ни к чему не обязывал. Во всяком случае, так мне казалось. Никакого участия в подготовке беседы редакция не принимала, а обещания опубликовать результат трудов непременно на страни-

цах этого журнала я не давал. Я передал беседу в журнал «Знамя», и после одобрения стал ждать результатов.

Существует так называемая бушменская мораль, гласящая: «Моя жена — моя жена и твоя жена — тоже моя жена». Виталий Михайлович Озеров писал статьи и книги на тему «Образы коммунистов в советской литературе». В писательской среде о нем ходила поговорка: «Великий критик Озеров рожден от двух бульдозеров». В деловой практике, когда не грозил отпор, он иногда склонялся к той самой морали.

Однажды в моей аспирантской комнате на Садово-Кудринской раздался телефонный звонок. Звонил сотрудник журнала «Вопросы литературы» и мой приятель еще университетских времен Дима Н., ладный и красивый brunet, с голубыми глазами, женатый на индуске. В журнале он занимался как раз такого рода творческими беседами с писателями на темы профессионального мастерства.

— Слушай, — сказал Дима, — действительно ли ты отдал беседу с Фединым в журнал «Знамя»?

— А разве нельзя?! — в свою очередь не без яда поинтересовался я. — Кто тебе сказал и откуда ты это знаешь?

— Сказал мне, — со свойственной ему серьезной обстоятельностью в деталях сообщил Дима, — наш главный редактор Виталий Михайлович Озеров. Он откуда-то узнал и просит тебя забрать эту беседу из «Знамени» и передать нам...

— Но это невозможно!?! Делать этого я не могу и не буду! — возразил я. — Никаких обязательств на этот счет перед вашим журналом у меня нет. Ты же и сам знаешь!

— Но Виталий Михайлович просит и требует!

— А я не буду! Так ему и скажи! — и я в сердцах кинул трубку.

Через полчаса звонок прозвенел снова. Это опять был Дима Н.

— Я сообщил Озерову наш разговор, — спокойно и вдумчиво излагал он. — Но Виталия Михайловича твой ответ не устраивает. Он говорит, что, если ты сейчас же не исправишь ситуацию, он будет жаловаться на тебя Федину..

Это уже походило на неуклюжий приятельский розыгрыш.

— Знаешь что?! — вскипел я — Скажи своему Виталию Михайловичу. Чтобы он шел на х...!

— Так и передать? — невозмутимо спросил Дима.

— Так и передай!

Дима Н. был способным литературоведом. Писал неплохие книги о сатире и юморе. Но сам в быту чувством юмора не обладал. Дружеским розыгрышем, к сожалению, все это не оказалось. А уж в какой форме Дима донес мой ответ до ушей шефа, гадать не берусь.

Несколько дней спустя через секретаря В.К. Михайлову меня пригласил к себе Федин. И показал разгневанное письмо В.М. Озерова. Вероятно, оно и сейчас где-то сберегается в архивах. Помню лишь заключительную убийственную фразу, растирающую в порошок вышедшего из повиновения молодого хулиганствующего писаку: «...такие материалы должны делаться чистыми руками».

Такого градуса достигла обида литературного функционера, которому не оказали должного почтения и помешали в очередной раз подластиться к руководству писательского Союза.

— Ну что же вы так недипломатично себя ведете! — после прочтения письма корил меня Федин. — Он же глава нашего марксистского литературоведения... Все разрешает и вяжет. Трактует и ставит на свое место. С ним надо обращаться умело. Я ему напишу.

Не знаю, что именно написал Федин Озерову. Не только об истории с беседой и обо мне, но, очевидно, и о самом Озерове. Потому что при ближайшей встрече в стенах своего журнала Виталий Михайлович обнял меня за плечи и нежно говорил со мной, как с ближайшим другом. Завел к себе в кабинет, расспрашивал о ближайших планах, ворковал. «Распахнутые окна» были опубликованы там, куда я их и передал («Знамя», 1965, № 8). Условились, что следующие мои беседы по психологии творчества (с И.Г. Эренбургом и Л.М. Леоновым) будут печататься в «Вопросах литературы». Так мы и сделали.

Тут снова вспоминается мне эпизод 1951 года с Юрием Трифоновым при подаче тем документов для приема в Союз писателей.

С его анкетной проделкой в сведениях об отце в жестокие времена. Там, конечно, дело было посерьезней. Но удивительно, как неизменно ввязывался Федин и покрывал даже мальчишеские выходки своих питомцев.

Как и многие писатели, первую серьезную выучку К.А. прошел в журналистике. И хотя по складу натуры принадлежал к тем, кто «любит писать не вприпрыжку», а посидеть, подумать, «поскрипеть перышком» (собственные его слова), — «искровые разряды» на стыке литературы и окружающей реальности возбуждали и радовали его, как подтверждение могущества и практической надобности слова.

Основным родом письма для себя Федин избрал большеформатную психологическую прозу, а роман или повесть воздействуют на действительность опосредствованно, через изменения в человеческом сознании, через воспитание души. Однако сверх того бывают и случаи прямого, публицистического воздействия художественной прозы на современность. В них К.А. видел признак меткости типического обобщения, и такие эпизоды из своей более чем полувековой литературной биографии выделял.

Из-за значимости темы особенно запомнилась мне беседа, касавшаяся повести «Трансвааль» (1927). Национальные мотивы и смелая антиколхозная стихия этого вроде бы небольшого художественного полотна Фебина делают автора открывателем линии, продолженной рассказом Андрея Платонова «Усомнившийся Макар» (1929) и его же «бедняцкой хроникой» «Впрок» (1931).

Но как же возникала и складывалась повесть, которую автор иногда даже называл рассказом?

Было это на даче в Переделкине, в рабочем кабинете, с открытыми стеллажами, заставленными длинными рядами книг. Летний день клонился к закату, и в комнату вливалась особая сосредоточенная тишина.

Что чувствует писатель, когда остается один на один у полок, где собраны созданные им книги?

Вот опыт и труд его жизни, его совесть, вера, колебания, любовь и отчаяния, заключенные в бумажных, ледериновых, кожаных переплетах, книги, которые странствуют сейчас по разно-

язычной земле. А вот он сам — мастер, давно изведавший разницу между успехом и подлинной творческой удачей. Что испытывает он, глядя в тихий час уединения на полки с длинными рядами своих книг?

Мелькнула схожая мысль, и я спросил об этом, понимая, впрочем, что ответ едва ли может быть однозначным.

— Знаете что, — сказал К.А., — давайте-ка я покажу вам лучше одну папочку, — как бы поточнее выразиться? — досье на одного моего героя...

Как бы мы доподлинно ни знали, что герой хрестоматийно известного произведения имеет реальный прототип в жизни, это все равно не избавляет от сложной смеси любопытства и удивления, если бы случилось, что такой человек внезапно вошел в комнату.

Фотографии, которые достал из папки Федин, вызвали близкое чувство. Пугающе выкатив искусственный стеклянный глаз и лаская зрителя другим, приметливым и смелым глазиком, на нас глядел Юлиус Саарек — прообраз Вильяма Сваакера из повести «Трансвааль».

— Каков! — сказал Константин Александрович. — Сколько им было понадеяно... Фотографии прислал один читатель, историк М.И. Погодин. Между прочим, потомок того самого историка и писателя Михаила Петровича Погодина, еще с Гоголем дружившего...

На старинной фотографии 1914—1915 годов Юлиус Андреевич стоит, молодцеватый, в черной широкополой шляпе и сюртуке, со стеклом в руках. На обороте портрета Федин сделал пометку, подтверждавшую, что личных встреч с этим человеком у него не было: «Изображен на портрете небезызвестный г-н Саарек, заочно, — т.е. по рассказам знавших Саарека — послуживший мне прототипом Вильяма Сваакера, героя рассказа “Трансвааль”». Какова же была она, психология творчества, на сей раз?

Федин писал повесть, отталкиваясь от устных рассказов. Возникновению замысла способствовал случай.

«Захудалый и несчастный мужичонко из деревни Вититнево, пережидая со мной дождь в лесу, около “самогонного завода”, — вспоминал Федин, — с упоением рассказывал мне восхитительные

приключения “из жизни бедного мельника Саарека”. После этого я начал пристально спрашивать в деревнях о “Трансваале”...»

Известная ориентация на «легенду» вместе с тем вовсе не означала, что автора мало занимали реальные облики типажей. Напротив, можно только удивиться, насколько в вымышленной фигуре Вильяма Сваакера многообразно и точно переданы основные события биографии Юлиуса Саарека.

Для представлений о том, что мог знать о Саареке автор будущей повести, в архиве писателя нашлись некоторые документальные источники. Поступали и позднейшие подтверждения. В апреле 1968 года два подробных письма прислал Федину поэт Михаил Исаковский, уроженец Смоленщины и первый поэтический наставник Твардовского. В 1918—1921 годах он редактировал газету в Ельне. Оба письма, как уведомлял автор, касались «человека, которого Вы так хорошо описали в своей знаменитой повести “Трансвааль”. Повесть эту я читал еще в молодые годы и очень люблю ее...» К письму от 17 апреля М.В. Исаковский приложил номер журнала «Рабоче-крестьянский корреспондент» (1968, № 4) с отрывком из воспоминаний «Два года в Ельне». «В номере, который я Вам посылаю, — сообщал Исаковский, — есть и мой рассказ о Саареке...»

Другие документальные источники были добыты мной самостоятельно. Помимо архивов и читальных залов с комплектами газет и журналов 20-х годов, помогли и собственные выступления в печати, где в разной связи я так или иначе касался повести «Трансвааль» и фигуры Вильяма Сваакера — в «Известиях» (20 февраля 1967 г.) и в «Литературной газете» (26 декабря 1973 г.).

Любопытно, что среди откликов оказались письма от людей, некогда лично знавших Юлиуса Саарека. Через открывавшиеся в этих разысканиях сведения и картинки даже возникал своего рода жизненный «сюжет», для меня в ту пору, может, не менее занимательный, чем литературные деяния художественного двойника — Вильяма Сваакера.

Один из откликов прислал автору газетных выступлений москвич В.А. Ружнецов. В 1924—1931 годах он работал в одном из управленческих учреждений волостного села Павлиново Смо-

ленской губернии. По роду службы имел отношение к налогообложению, что давало особые возможности для наблюдений над интересным типажом хозяина частного завода. «Во второй половине двадцатых годов, — сообщал автор письма, — фирма Юлиуса Андресовича Саарека перебазировалась в Павлиново... Я лично знал этого предпринимателя, выступавшего не только в роли бизнесмена, но и “культуртрегера” тех времен.

Удивительны были его способности использовать любую обстановку в своих интересах, его неутомимая энергия, его корыстное жизнелюбие. Он познакомил павлиновцев с первыми радиопередачами, принимал участие в клубных делах и даже... в чистке совাপпарта.

Антипатия к этому ловкому дельцу, небезуспешно пытавшемуся втереться в новое общество на правах “почетного члена”, — продолжает автор, — у меня лично чередуется с удивлением. Рассказывали, что этот “бур из Трансвааля” (так он рекламировал свое происхождение), вызванный в Ельню председателем уездного Чека Ткачевым, рассмешил последнего тем, что с порога кабинета начал вынимать искусственный глаз, потом челюсть, а подойдя к столу, хотел продемонстрировать давние переломы ребер. Визит закончился благополучно».

Но советская власть, с разветвленными шупальцами и многоголовьем сторожевых и карательных структур — спецслужб, налоговых инспекций, и убежденно лживой партийной периодики нашла, конечно, сто один способ сжевать и проглотить талантливое предпринимателя. А в других, куда как удаленных сферах, некоторое время спустя затрещины и удары доставались создателю художественного типа — автору «Трансвааля».

Правда, вначале вульгарно-социологическая критика впадала в легкую растерянность, не найдя в повести расхожих тогда плакатных изображений кулака с винтовочным обрезом и положительных героев передового лагеря. Но вскоре очнулась и, не стесняясь невнятицы, прямых подлогов и фальсификаций, принялась крутить руль в нужном направлении.

Даже такой наиболее порядочный критик из числа «налитповтовцев», как А. Селивановский, писал о повести: «Заслуга Федина в том, что он поставил в нашей литературе вопрос о кулаке и

дал правильную характеристику типа Сваакера. Но, проделав это, он не сумел сохранить необходимые (!) пропорции, он устранил перед фигурой Сваакера социалистические элементы деревни (то есть колхозные инстинкты крестьянства в антиколхозной повести?! — Ю. О.). <...> И новая буржуазия, несмотря на то, что под холодным мастерским объективизмом автора скрывается явно выраженная субъективная неприязнь к Сваакеру, радостно воспримет объективный смысл “Трансваала”¹.

Но все-таки кто за кого? И какая повесть “Трансвааль” — антикулацкая или антиколхозная?! А, может, она просто правдивая?

Еще более резко высказывался один из лидеров РАППа, неукротимый печатный боец В.Ермилов, видя в повести прямое выражение “смычки с идеологией новой буржуазии”. По его словам, Федин создал не «художественный образ, а схему»².

Впрочем, по мере надобности пресса перетолковала саму повесть Федина. Верх брала прикладная политология. Имя Сваакера — «ласкового врага» — сделалось нарицательным в газетной публицистике конца 20-х годов. Не бездействовал и живой персонаж. «Убедившись в невозможности скрыть от читателей книгу К. Федина, — сообщает В.А. Ружнецов, — Саарек в поисках сочувствия и благодарных слушателей быстро перестроился и охотно стал показывать ее своим клиентам. Смотрите, мол, какие мы есть...

После передачи Саарекком предприятия в собственность местной промышленности, числившиеся за ним налоги остались неплаченными, а сам он исчез с павлиновского гооризонта...»

Другой очевидец событий и автор полученного мной письма — С.З. Маллер из Екатеринбурга (тогда Свердловск). Свой отклик он начинает с художественной зарисовки.

«В начале 20-х годов, — вспоминает С.З. Маллер, — жители Смоленска были удивлены новшеством, появившимся внезапно на берегу Днепра. Перейдя с “горы” так называемый железный мост, люди останавливались у его схода и глазели. На телеграфном столбе появилась большущая зеленая вывеска. Местный

¹ «На литературном посту», 1927, № 14. С. 39.

² Там же, № 5—6. С. 69.

художник с трогательной непосредственностью изобразил немудрящие деревья и кустики, залитые невообразимыми солнечными лучами. Это было фоном. Фоном для какого-то не то катка, не то колеса, выпяченного без соблюдения масштабов в центре картины. Колесо в самом неожиданном ракурсе, поставленное как бы вполоборота, казалось, катится на группки зевак, прижавшихся к ажурным перилам ограждения, завершавшего собой сход с моста...

В глаза проходим и зевакам били необычные слова. На самом верху только два очень крупных слова: *“Юлиус Саарек”*. Посредине — помельче: *“Мельничные жернова”*, а внизу снова очень крупно: *“Трансвааль”*. И уже совсем низко, даже, кстати, отбитое какой-то чертой — *“С. Павлиново”*. Вот и все. Шесть слов — одно загадочней другого. И колесо-жернов. Мельничный жернов — детище неистовой инициативы того, чье непривычное для нашего уха имя было обозначено на вывеске...

В 1927 году, когда печаталась повесть *“Трансвааль”*, мне было пятнадцать лет. Нет нужды говорить сейчас о том огромном впечатлении, какое она на нас, школьников, произвела. В те бурно тревожные годы мы жили жизнью наших старших товарищей... Из чисто литературной сферы *“Трансвааль”* легко и органично вошел в общественно-политическую... Особенно интересно это было для нас, смолян, очень быстро узнавших, что под вымышленным, вернее, слегка измененным именем живет и действует в повести обладатель экзотического, рекламного имени. Наш новоявленный земляк...

Существовала когда-то в Заднепровье (не знаю, есть ли сейчас) улица имени французского коммуниста Марсея Кашена, которую смоляне дружно и очень быстро модернизировали в Кашинскую, — продолжает автор отклика. — Шла она к центру города от вокзала, и поэтому здесь в годы нэпа стихийно возникали несколько заведений для жительства приезжающих...» Во дворе одного из таких номеров автору письма и доводилось встречать Юлиуса Саарека: запомнилась «могучая, с моей тогдашней мальчишеской точки зрения, фигура в каком-то невообразимом “малахае” самого удивительного, едва ли не собственного, саарековского покроя»...

Секрет, которым занимается дисциплина психологии творчества, вроде бы элементарно прост. Как факт повседневной реальности преобразуется в таинство искусства? Если вместо одной кошки, лежащей на диване, на полотне возникает ее точный двойник, то с последним ударом кисти рисовальщика пропадает и всякий интерес. Предмет психологии творчества — уникальность художественного образа.

Готовя диссертацию, я листал газеты и журналы, начиная с 1927 года, когда публиковалась повесть «Трансвааль», вплоть до «года великого перелома». Воочию убедился, насколько имя главного героя — Сваакера, «ласкового хищника», как его там именовали, и фантастического кумира темной крестьянской округи, стало нарицательным в публицистике. Были попытки перетолковать повесть в духе примитивных политических трафаретов и лозунгов дня. Были замахы и удары рапповской дубинки по автору. Однако ни то, ни другое не убеждало. Не складывалось, не получалось. Сами же журналисты то там, то сям обнаруживали явления многогранные, рождающие симпатию к «классовому врагу», наводящие на раздумья. Сваакер оказался живуч, потому что был частью живой жизни, сопротивлявшейся казенной уравниловке и давящим каткам близившейся коллективизации.

Разнообразные мысли о жизненном материале и психологии творчества вызывают и документальные материалы к «Наровчатовской хронике» — другому повествованию Федина близкой поры о «выдуманном человеке».

«“Двойника” А.С.Пушкина, — рассказывал автор, — я помню с раннего детства по Саратову. Двойник был изумителен, его знали многие, я видел его появление в саратовском пассаже, вызывавшее почти фурор у публики.

Позже, когда моя повесть появилась и ее прочитал А.Н. Толстой, он был изумлен, что я “тоже” видел двойника Пушкина: оказалось, эта фигура была хорошо знакома Толстому, но он утверждал — не по Саратову (где он жил с матерью короткое время), а по Самаре. Толстой сам хотел написать о двойнике и страшно жалел, что я его “обогнал”...»

Из ряженого городского чудака, возможно, даже скитавшегося по разным волжским городам и вызвавшего своим появлением фурор у покупателей большого саратовского магазина, Федин в своей повести «Наровчатовская хроника» сделал светозарную мечту жителей задавленного духовной нищетой и бессмыслицей существования маленького захолустного городка Наровчата. Можно лишь гадать — как бы отозвался на того же рода собственные жизненные впечатления озорной жизнелюбец А.Н. Толстой?

...А.Н. Толстой, при кажущейся как будто порой даже чуть ли не примитивной плотской простоте этой натуры (как он запечатлен на известном полотне П.П. Кончаловского, изобразившем советского графа в пышном обжорном застолье), фигура на самом деле одна из самых загадочных в русской литературе XX века. Иным, впрочем, и не мог быть автор столь противоречивой гаммы произведений: «Детства Никиты», «Петра Первого», «Хождения по мукам», «Буратино», «Ибикуса», «Гиперболоида инженера Гарина» и чуть ли не одновременно романов «Хлеб» или пьес об Иване Грозном. С какой-то поры для меня обозначился долговременный интерес ко многим загадкам этой жизненной судьбы.

В свою очередь Федин более двух десятилетий близко дружил с Толстым. Некоторые черты его личности воплотились в фигуре драматурга Пастухова в романах трилогии. В том, что дело с этим персонажем обстоит именно так, для меня было очевидно давно. Столь же давно точило желание услышать мнение о «переключках» такого рода, что называется, из первых уст. Какие из черт личности и каким образом отразились при создании фигуры талантливого приспособленца — драматурга Пастухова в его романах трилогии?

Почтительное чувство и в какой-то мере даже робость ученика какое-то время состязались во мне с тягой к исследовательским раскопкам. Подстегивал же интерес к проблемам психологии творчества. Случай представился однажды опять-таки в рабочем кабинете писателя. Конечно, вопрос был деликатный и не обязательно мог понравиться автору.

Почти так оно и вышло, хотя я осторожно поинтересовался лишь некоторыми жизненными совпадениями и соответствиями фигур Пастухова — А. Толстого.

Федин порозовел.

— Надеюсь, вы понимаете, молодой человек, разницу между художественным произведением и жизнью!.. — выговорил он резко. — Ну и что, если Пастухов у меня имеет привычку проводить ладошкой по лицу, как бы умываясь, или благоустраивает дачу, или любит старинные табакерки и застолья?!.. Алеша это тоже любил — и тоже, между прочим, был волжанин — ну и что?!.. Я не хочу, чтобы из-за таких подробностей в Пастухове вычитывали то, чего там нет..

Разговор невольно переключился на отношения К.А. Фебина с А.Н. Толстым. Он рассказывал:

— Алеша Толстой был писатель божьей милостью, весь светился талантом!.. И вещи — те же старинные безделушки — потрогать любил, взвесить в руке, ощупать, рассмотреть, — Федин взял с письменного стола авторучку и стал разглядывать и поглаживать золоченый колпачок, — как воплощена в них человеческая уместность... Он сам был одарен ею от природы безмерно. Но это был легкий талант. Перед препятствием он мог и в сторону скакнуть. И произведения свои переделывал, пожалуй, чересчур легко... Для меня лично он делал только хорошее. Звал печататься еще из Берлина, в начале 20-х годов, когда работал в эмигрантской газете «Накануне». А по возвращении в Петроград ввел в свой дом. Он был старше на девять лет и опытнее. Многие его друзья стали затем моими друзьями... У меня сохранилась целая стопка его писем, записок. Можете почитать!.. А что касается Пастухова, то — образ собирательный, — значит, в нем всякое собрано, может, кое-что и от автора...

Письма Толстого к Федину (в личном архиве их действительно было немало) в дальнейшем я с благодарным чувством использовал в работе. В долголетних и часто драматических отношениях с А.Н. Толстым у Фебина сочетались преклонение, восхищение, а иногда, может быть, и неосознанная ревность к этому, по его выражению, «легкому таланту».

Это был «роман, а не дружба» (оценка Фебина в письме ленинградскому писателю Н.Н. Никитину от 6 марта 1945 года, через неполных две недели после смерти Толстого). И «роман» захватывал не только литературную, но и личную сферу жизни, включая пересекающиеся интимные отношения. Например, недолгий любовный роман дочери А.Н. Толстого Марианны с Фебиным, третейские суды, которые не раз сопровождали житейский и литературный путь Толстого, душевные исповеди, дружеские попойки и т.п.

Словом, у гроба автора «Петра Первого» и «Детства Никиты» в Колонном зале Дома союзов, по воспоминаниям Ю. Трифонова, который тоже пришел на похороны, Фебин стоял с красным от слез лицом. Многие переосмыслилось и воплотилось в фигуре Пастухова, преуспевающего талантливому драматурга и духовного отступника от традиций русской классики. Слишком очевидные жизненные «переключки» и превращали разговор о Пастухове — Толстом в напряженный, шепетильный и непростой... Фигура и смахивающая иногда на детектив жизнь А.Н. Толстого — тема, понятно, большая и сложная. Новые документальные раскопки дали сюжетную основу даже для двух биографических книг последней поры. Интересующегося читателя к ним отсылаю¹.

Фебин не делал на том нажима, не выделял своих занятий в этих жанрах, но он был крупным мастером документалистики. Книга «Горький среди нас» — групповой мемуарной портрет литературной эпохи, высокий образец документальный прозы.

Разнообразные «сюжеты» окружающей жизни писатель умел одухотворять по-своему. Иной рядовой вроде бы факт может сказать о многом.

У Фебина есть короткий рассказ «Мальчик из Семлёва» (журнал «Красноармеец», 1943, № 4). Он возник под впечатлением необычной жизненной встречи.

В Москве лета 1942 года Фебин и Вяч. Шишков, автор романа «Угрюм-река» и исторической эпопеи «Емельян Пугачев», вы-

¹ См.: *Юрий Оклянский*. Бурбонская лилия графа Алексея Толстого. Четвертая жена. М.: Золотой свиток, 2007; *Беспутный классик и Кентавр*. А.Н. Толстой и П.Л. Капица. Английский след. М.: Печатные традиции, 2009.

ступали на вечере перед военными. Там кто-то и указал им на мальчика-сержанта лет 14—15. Курносого, веснушчатого, словом, ничем особенным не примечательного, если бы подросток не был одет в сержантскую форму и не находился в кругу взрослых. Был это не просто «сын полка». Мальчуган, как оказалось, участвовал в партизанских операциях и сверх того в одиночку добыл нескольких «языков». То был мальчишка отчаянной храбрости, один из гаврошей Великой Отечественной войны.

Беседа с ним сильно подействовала на обоих писателей. Они договорились — каждый по-своему написать о нем. Так в своеобразном «соревновании» возникли рассказы — «Мальчик из Семлёва» Фебина и «Сережа» Шишкова.

Случаи, когда бы крупные художники одновременно создавали произведения, обращаясь к изображению одних и тех же конкретных жизненных событий, не столь уж часты. Между тем сопоставление героя из жизни и самих творческих результатов не просто любопытно. Заостренно демонстрируя своеобразие авторов, оно позволяет увидеть особенности их работы над характерами, оттеняет стилевой почерк каждого. Прекрасный казус для наблюдений по психологии творчества!

В аспирантскую бытность я обратился к К.А. с расспросами об обстоятельствах написания рассказов. 14 октября 1965 года Фебин ответил мне следующим письмом:

«...Вот что скажу на вопрос Ваш от 11-го числа прошедшего месяца... С Шишковым Вячеславом Яковлевичем меня связывала долготелная и очень глубокая дружба. Четверть века ничем не омраченной и взаимной приязни, которую — положи на сердце руку — можно и должно назвать любовью. Общение было тесным, близким — “домами”. Очень мне хотелось бы написать об этом, и, если дойдет до “воспоминаний”, — сделаю это. Тут встречи, начиная с 1920—21 гг. до его смерти, — в Питере, Детском Селе, Сухуме, Москве.

Совсем немного, но Вы найдете кое-что о наших отношениях в книге — “В.Я. Шишков. Неопубликованные произведения. Воспоминания о В.Я. Шишкове. Письма”. Л., 1956. Газ.-журн.-книж. изд-во. В ней несколько писем В.Я. ко мне и в воспоминаниях составителя — Льва Рудольфовича Когана, проф-ра Пединст. — свидетельство о добрых чувствах В.Я. ко мне (стр. 188)...

К сожалению, я до сих пор очень немного сказал о В.Я. — в двух заметках, напечатанных во 2-м издании “Пис[атель]. Иск[усство]. Время”.

Что до истории рассказов, которые вас интересуют, то я мало что могу добавить к комментарию, напечатанному в моем Собрании соч. к рассказу “Мальчик из Семлёва”...

Вечер, на котором я и Шишков встретили отважного сержанта-малолетку, происходил в Центральном Доме Красной Армии летом 1942 г. Мы действительно договорились написать о мальчике и выполнили это. В.Я. читал мой рассказ, а я — его. И помнится, что при встрече в 1943 году в санат. “Архангельское”, где оба мы провели совместно несколько недель, мы обменялись впечатлениями своими от этих рассказов с известным интересом, но теперь уже не скажу о существовании беседы ничего. Кто-то из нас присочинил насчет числа “языков”, добытых молодцом, скорее — я, поскольку у меня десяток, но могло быть, что по скромности своей Шишков сильно убавил число, поелику у него — пяток... Свой рассказ я считаю по типу приближающимся к очерку: фактичность материала его б е з у с л о в н а — это я твердо знаю и подтверждаю истинность написанного...»

При том, что авторов можно, пожалуй, попрекнуть в уступке внешней героике (преувеличение числа добытых «языков»!), что отвечало манере иллюстрированного красноармейского журнала, и Шишков, и Федин не отступают от документальной основы происходившего. Событийная канва обоих рассказов одинаково строится вокруг встречи на литературном вечере. И оба писателя прежде всего ищут способ, как от факта, которому стали свидетелями, пробиться к пластам собственного духовного опыта. Вот отчего сразу же бросается в глаза, насколько различны произведения.

Семлёво была та самая желанная незабываемая станция на Смоленщине, добравшись до которой Федин в 20-е годы считал себя почти дома. Здесь с трясучки ночного поезда он пересаживался на лошадей, чтобы катить дальше, в Кочаны, к дороговому куму Ивану Сергеевичу Соколову-Микитову. Лошади тащились,

но зато летела душа! Э-эх, была молодость, было время! Теперь вот каких удалцов рождает эта земля...

«Мальчик из Семлёва» Федина — лирический рассказ, близкий к очерку, в котором подлинным сюжетом являются переживания автора под влиянием происходящей встречи. Слушая малолетнего сержанта, повествователь мысленно сопутствует ему во всех партизанских делах, с почти осязаемой яркостью представляет его среди издавна знакомых смоленских лесов, старается увидеть мальчишку таким, каким тот был, когда в одиночестве вел в лесной чаще двух пленных мужчин и застрелил сопротивлявшегося фашиста.

Весь рассказ, по существу, — развитие сложного чувства повествователя к мальчику, чередование любопытства, изумления и нарастания какой-то новой внутренней собранности и ответственности при виде происходящей на глазах метаморфозы, когда в курносом прилежном слушателе на литературном вечере вдруг раскрывается лик народной войны. Персонажи произведения — пожилые писатели, поначалу снисходительно разговаривающие с мальчуганом, — превосходят его по всем статьям: и культурой, и своей значительностью в глазах окружающих, но это глубоко штатские люди, которым не случалось самим брать пленных и убивать. А когда ребенок в каких-то жизненных отношениях искушен больше взрослых, это всегда действует сильно. Все эти движения чувства хорошо переданы в «Мальчике из Семлёва».

Наблюдая юного партизана, повествователь вглядывается в себя, побуждая к внутренним самооценкам и читателя. Если таков этот мальчик, то какими же должны быть мы, взрослые, ответственные за все происходящее, за нашу землю, за будущее наших детей, — вот приблизительно тональность этого выросшего, казалось бы, из случайного факта произведения.

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ

...Между тем жизнь шла своим чередом, беззаботные аспирантские годы подходили к концу. И тут очень скоро дала о себе знать истина, которую, собственно, и следовало ожидать. В смысле

житейских ситуаций дальновиден оказался, конечно, хитрющий бестия Колька из Саратова. Три года аспирантуры остались позади, как один миг. Колька вместо бессонных научных штудий не только успел охмурить двух здешних симпатичных медсестер из здравпункта. Но не пришла еще пора научных защит, как автора диссертации «Образ В.И. Ленина в советской драматургии» взяли на работу в ЦК. Дали роскошную квартиру в Кунцеве, в нее он перевез семью из Саратова. И на защиту собственной диссертации явился в парадном темном костюме при голубом галстуке, с видом скромным, но задумчиво отстраненным, человека, навсегда ушедшего в секретные государственные заботы, кои подобают инструктору ЦК, одному из кураторов советской драматургии. Какие песнопения по адресу соискателя лились на защите его диссертации, легко вообразить!

А я? Профессор *Строго Между Нами Говоря*, получив от меня готовую диссертацию по психологии творчества, пригласил к себе домой на ужин, в роскошную квартиру в высотке на площади Восстания. Ужин был из трех блюд, с бутылкой кагора, чинный, вкусный и хороший, но говорилось вообще о победных итогах, о прочитанной, наконец, «Принцессе Клевской», о величии Горького. О самой же диссертации ни полслова. Поскольку Александр Сергеевич ее еще не читал. А затем, очевидно, прочитав, пугливый профессор надолго занемог, слег в постель и на защиту не явился. Я защищал диссертацию — редкий случай! — в отсутствие научного руководителя. Заключение и отзывы писали другие члены кафедры и приглашенные оппоненты. Свой труд я отстаивал один. Спасло меня, что в диссертации осмысливался художественный опыт ряда действовавших крупных современных советских писателей, предоставивших в распоряжение автора свои личные архивы. В соответствии с методикой психологии творчества приводились также записи рассказов писателей, бесед и интервью с ними о работе над конкретными произведениями. Тексты, ими правленные и завизированные. Так что защита поневоле попадала в некий фокус общественного внимания. Завалить такую работу никак бы не обошлось без огласки, а могло

обернуться и публичным скандалом. Такого, понятно, никто не хотел. Но нервов в итоге у соискателя это отняло немало.

Впрочем, еще раньше подоспела другая напасть, куда более крупная. Видимо, от автоматического запроса из ЦК о трудоустройстве рекомендованного в Академию члена партии, ныне успешно ее завершившего, нежданно-негаданно, будто дремавшая камчатская сопка, пробудился к огнедышащей активности и заявил свои права на данный «кадр» Новосибирский обком КПСС.

Оттуда на меня поступила официальная заявка. Мне предназначалось ни много ни мало — возглавить областную службу телевидения.

Читателя, который мыслит современными категориями, я бы попросил перенестись на четыре с лишним десятилетия назад. Телевидение тогда не было ни выгодным, ни почетным, ни интересным местом приложения творческих сил. Особенно областное. Мыслящие люди его просто не смотрели. Это была идеологическая Чукотка, кладовка с допотопной рухлядью, трибуна местных крикунов, служебная рутинка, которую надо было бы тянуть неизвестно для чего.

Главное же — я никогда никакого отношения к телевидению не имел. Никакой пользы от меня там все равно бы быть не могло. Но как от всего этого отбиться? Куда деться?

Московской квартиры и прописки меня в свое время лишили как сына «врага народа». В Новосибирске, где я некогда несколько месяцев провел на больничной койке, ждал теперь еще и служебный крах. А затем...

Что делать? Куда пойти?

Между тем в строй со всей слепой беспощадностью вступала так называемая партийная дисциплина.

В этой безвыходной ситуации я и явился к Федину.

К.А. выслушал меня сочувственно, закусив губу, не перебивая и не сводя с меня пристального взгляда голубых глаз, как смотрят на тяжелобольного. После давнего выхода из партии человек он был беспартийный.

Некоторое время молча покрутил в воздухе очками, взятыми за одну дужку, как поступал в раздумии. Затем стал действовать: «Нужны квартира, московская прописка», — деловито произнес он.

— И нужно, чтобы Новосибирску противостояло нечто более весомое... Гирька потяжелее. Я поговорю об этом с секретарями нашего Союза Марковым и Воронковым. Напишу письмо вашему заведующему кафедрой Игорю Сергеевичу Черноуцану... Что-нибудь вместе сообразим.

Письмо И.С. Черноуцану через какое-то время он написал. Добытая из архива и заверенная копия лежит теперь передо мной. Привожу его слово в слово.

«И.С. Черноуцану. 14 июня 1966, Москва

Дорогой Игорь Сергеевич,

Позвольте просить Вашего внимания к следующему делу.

Вы, полагаю, знаете литератора Юрия Михайловича Оклянского, нынешней весной закончившего аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС по кафедре, которую Вы возглавляли. Научным руководителем т. Оклянского является проф. А.С. Мясников, тема кандидатской диссертации, защита которой назначена на июль с\г, такова: “Творческая индивидуальность писателя и проблемы художественного освоения действительности”.

Этому молодому автору принадлежат выпущенные в свет три книги, из которых две мне известны (“Серебряные облака”¹ и “Шумное захоlustье”), и последняя особенно отличается примечательными качествами, как монография об Алексее Н. Толстом, сочетающая историко-литературное исследование о нем с биографическими фактами, впервые вводимыми в литературный оборот. Критические способности автора представляются мне незаурядными и хотелось бы видеть в наиболее благоприятных условиях развитие его сил в избранной им области советского литературоведения.

¹ Правильно надо: «Серебристые облака», но так в оригинале.

Именно сейчас наступило время, когда решается судьба т. Оклянского — в связи с происходящим распределением окончивших аспирантуру по назначаемым для них местам работы.

Оклянский проработал немало лет на периферии — в Марийской области, в г.г. Куйбышеве и Новосибирске, где он был постоянным корреспондентом “Литературной газеты” (редакцией это газеты он и был рекомендован в аспирантуру Академии). По образованию своему он филолог Московского университета и — как видите — обретаясь вдалеке от Москвы, он не переставал работать для Москвы. Теперь было бы справедливо по отношению к нему и очень полезно для дела советской литературы постоянно закрепить Ю.М. Оклянского на литературно-журнальной работе в нашей столице.

Этим моим письмом, уважаемый Игорь Сергеевич, я и прошу Вас оказать содействие т. Оклянскому в направлении его на постоянную работу в редакции “Литературной газеты”. Разумеется, теперь речь должна бы идти для него не о занятии газетного корреспондента. Оклянский стал зрелым, опытным литературоведом, и должность в редакции он может исполнять ответственную и высокую, какую несут, скажем, члены редколлегии.

О возможной поддержке в таком плане кандидатуры Оклянского я говорил с т.т. Г.М. Марковым и К.В. Воронковым. Первоначально очень хорошо известна работа Оклянского и он с уважением отозвался о нем. К.В. Воронков уже говорил об этом деле с глав. редактором “Лит. газеты” А.Б. Чаковским, и от последнего известно, что он в самое ближайшее время пригласит Оклянского для переговоров.

Я надеюсь, Вы разделите мой взгляд на целесообразность трудоустройства Оклянского в редакции “Лит. газеты” и еще раз прошу поддержать его.

Шлю Вам наилучшие пожелания, Игорь Сергеевич, и прошу передать мой сердечный привет Ирине Юльевне¹.

¹ И.Ю. Чеховская — жена И.С. Черноуцана — редактор Гослитиздата. Через нее проходила редакция Собраний сочинений, многих самых ответственных изданий и главных книг современных советских классиков, в том числе И.Г. Эренбурга, К.А. Федина и др. Позже покончила жизнь самоубийством.

Искренне Ваш /Конст. Федин/».

Конечно, трудно анализировать документ, посвященный твоей особе. Но деться некуда. Любое письмо всегда отчасти тень и слепок характера. Попытаюсь всмотреться в текст с этой точки зрения.

Письмо К. А., как видим, написано в несколько старомодной стилистике, в манере выученика далеких прошлых времен (этим он особо пользовался, когда хотел), написано, пожалуй, чуть отстраненно, как и подобает литературному олимпийцу. Олимпиец видит, знает и печется лишь о самом главном, а мелочами пренебрегает, их не замечает и в голове не держит.

Но, если иметь в виду желаемую цель, письмо отличается остротой зрения и ловкостью современного аппаратного маневрирования. Федин делает вид, что знать ничего не знает об официальном запросе Новосибирского обкома партии. Он даже не упоминает, что главная рекомендация для будущего аспиранта три года назад исходила оттуда. В письме фигурирует одна «Литгазета», орган Союза писателей СССР, ему подвластный, и теперь желающий получить назад собственного питомца, три года назад ею рекомендованного.

Точно вымерено в письме и к кому надо обращаться. И.С Черноуцан «пошел на повышение» — незадолго перед тем был возвращен на ответственный пост в ЦК КПСС, сохраняя пока и заведование кафедрой. Его слово автоматически означало отмену мелочных претензий местного обкома партии.

...Через несколько дней в своем кабинете на Цветном бульваре меня принял главный редактор «Литературной газеты» Александр Борисович Чаковский. Под его руководством, будучи уже в Новосибирске, я успел проработать лишь немногим больше года. До этого много лет он был главным редактором журнала «Иностранная литература». Одаренный журналист, плодовитый беллетрист и киносценарист казенно-сервильного склада, Чаковский вместе с тем считал себя косточкой западной цивилизации. На это указывали добротный твидовый пиджак, почти всегда торчавшая изо рта гаванская сигара и манера поведения, в частности требование к подчиненным прямоты выражений.

Усадив меня в мягкое кожаное кресло против стола и затягиваясь сигарой, Александр Борисович тут же, без обиняков, спросил в манере американского гангстера:

— Скажите честно, то есть цинично, чего вы хотите?

Я ответил, что хотел бы заниматься в газете русской литературой, возможно, литературоведением. И получить должность, которая давала бы квартиру и прописку для меня и семьи в Москве. Поскольку жилья у меня в Москве нет...Его у нас отобрали при вторичном аресте отца...

Александр Борисович полминуты подумал, пососав дымящуюся сигару. Потом ответил:

— Но это решаю не я. У нас есть руководитель соответствующего раздела. Пусть решает он.

Это была явная отговорка. В какие-то личные планы Чаковского, очевидно, я не вписывался. Ходатайство Федина должного воздействия не произвело. «Alma mater» — «Литгазета», как через несколько дней выяснилось окончательно, — номенклатурную должность, с квартирой и пропиской, мне не давала...

Это еще раз возвращает нас к теме о реальной и номинальной власти Федина в системе Союза писателей. Есть еще один повод поразмыслить об этом. Федин был тогда первым секретарем Союза писателей, и еще пять лет оставался им до перевода на почетный пост председателя ССП. Соратники и помощники Г.М. Марков и К.В. Воронков охотно поддакивали своему начальнику, но поступали так, как заблагорассудится или приказано сверху. Иначе не было бы сбоя даже в таком пустяке (при полном общем согласии!), как возвращение бывшего сотрудника в подведомственную газету.

Когда я рассказал Черноуцану о плачевных результатах своего похода в «ЛГ», тот криво усмехнулся:

— Чего же сам Федин не может туда позвонить? Хлопнуть кулаком по столу, наконец, и так далее?! Что в самом деле?! — произнес он с раздражением.

Я только развел руками.

— Ну, ладно, это сделаю я... Но не в «Литгазету», а в «Известия»...

Черноуцан при мне набрал номер телефона главного редактора «Известий» Л.Н. Толкунова.

Через короткое время все было улажено. Я получил в правительственной газете должность заместителя редактора по отделу литературы и искусства, а с ней и право на квартиру и прописку в Москве.

Но не будь Федина, не было бы, конечно, и вмешательства Черноуцана. Из безвыходной ситуации меня выцарапал и спас Федин. Этого забыть нельзя.

КАК ДОБИВАЛИ «НОВЫЙ МИР»

В отношениях с Фединым был переломный момент, о котором было бы малодушием умолчать. 21 августа 1968 года советские войска вторглись в Чехословакию. Для меня это был крах всех надежд и иллюзий. До последнего дня я со сдавленным в груди сердцем верил, что этого не будет, потому что не может быть никогда. Чехам и словакам, Дубчеку и его единомышленникам, дадут построить демократический социализм, а там уж, глядишь, и мы, на наш российско-советский лад, потянемся, поплетемся, поковыляем за ними. Последняя вера и надежда шестидесятников была растоптана гусеницами танков на дорогах Чехословакии.

Тогда я еще вполне находился в плену марксистских догм. Какое-то время, в моих глазах, то был конец всему. Никогда уже в моей жизни нигде не будет социализма. Все пережитые за него страдания и миллионы павших напрасны.

Позже я побывал в Дании и прожил там несколько месяцев. Но произошло это лишь почти три десятилетия спустя. А в 1968 году я не понимал, что в той же Дании, например, где королева ездит в подержанной машине, а миллионеры восемьдесят процентов своих доходов отдают в налоги (не так, как у нас теперь — и курьер, и миллиардер по 13 %!), где действуют неограниченные политические и парламентские свободы, всем доступно хорошо отлаженное образование и здравоохранение, а дети вообще живут,

как райские птицы, что там гораздо больше социализма, чем во всех Коммунистических манифестах вместе взятых.

Вторжение в Чехословакию для меня, как и для многих либеральных «детей XX съезда» (выражение Евтушенко), явилось ударом обухом по голове. Конечно, я давно не верил брежневской бюрократической клике. Но все-таки думал, что они, пусть и переродившиеся, но коммунисты. И на такое никогда не решатся. Все-таки эпоха сталинизма осталась позади. А они решились. Оказалось, что снова без удержу можно глотать не только отдельные человеческие жизни, но и целые страны. Я ходил, потрясенный, с туманом в голове. Иногда казалось, что дальше незачем больше и жить.

Конечно, советская военная армада (для прикрытия — под стягами пяти государств Варшавского пакта), в ночь на 21 августа оккупировавшая Чехословакию, управлялась не писательскими пожеланиями. Но каждый честный и мыслящий человек обязан был определить свое отношение к этому переломному событию на тогдашнем этапе мировой истории. Было сказано решительное «нет» всяким реформам и преобразованиям социалистической системы советского образца. Она закаменела в своей неподвижности. Этим шагом было предрешиено многое, в том числе и отчасти, конечно, случившиеся через два с лишним десятилетия развал и гибель советской системы.

В «Рабочих тетрадях» Твардовский описывает подробно, как он пережил эти дни. Тот же Воронков отлавливал секретарей правления СП СССР, чтобы подписать коллективное «Открытое письмо» писателям Чехословакии с одобрением военного вторжения в их страну. 5 сентября его посланец привез проект письма и в Пахру, на дачу Твардовскому. Для маскировки еще кое с какими бумагами.

Бездельную бумагу Твардовский подмахнул, а по поводу «Открытого письма» тут же в переданной записке отчеканил Воронкову: «Письмо же писателям Чехословакии подписать решительно не могу, т.к. его содержание представляется мне весьма невыгодным для чести и совести советского писателя. Очень сожалею. Ваш *А. Твардовский*».

Вслед за копией записки он занес в рабочую тетрадь размышления насчет совершенного поступка: «Худо ли хорошо, так или иначе, — записывал он, — по канату рубанул, который очень долго был натянут, аж “брунжал”. Перерубил ли — неизвестно, во всяком случае, если сочтут, что перерубил, так тому и быть».

«Открытое письмо» отказались подписать также К.М. Симонов и Л.М. Леонов.

По каким-то аппаратным политиканским соображениям само письмо появилось в печати лишь почти полтора месяца спустя — 30 октября 1968 года. До этого Союз писателей, если иметь в виду его высшее руководство, как будто бы пребывал в спячке или на затянувшихся летних каникулах. Официальные властители литературных дум отмалчивались. По радиоприемникам вместо зарубежных передач слышался треск и свист глушилок.

Движение времени многое расставляет по своим местам. То, что современниками представляется порождением глобальных исторических катаклизмов, иногда в реальности имеет самые мелкие бытовые, чуть не случайные причины.

Было такое историческое событие накануне военного вторжения танковой армады в Чирне-над-Тисой — последняя встреча чехословацких реформаторов во главе с Александром Дубчеком с высшим советским руководством. Так сказать, дружеское летнее объяснение на водах. Встреча происходила, по взаимному согласованию, в пограничном чехословацком городке Чирне-над-Тисой. Светило солнышко, тихо струилась вода в Дунайском притоке. 3 августа 1968 года, когда беззаботно отдыхают и природа, и люди, и даже птицы, кажется, уже устало щебечут мирные свои напевы.

Толпой любимцев окруженный, советскую делегацию лично возглавлял уже начавший обвешиваться наградами тогда еще бравый Леонид Ильич Брежнев. Весь мир, и особенно, конечно, мы, либералы, надеялись на эту встречу. Кажется, наконец разум восторжествовал. Перестали наседать и браниться. Дали чехам и словакам, конечно, не без учета советов «старшего брата», самим решать свои дела. Как тут не порадоваться, не вздохнуть с облегчением...

Но нет. Не успели, кажется, отзвучать и нескольких речей в тихом курортном городке, как столь долгожданная и перспективная встреча была оборвана. Почему, отчего? Конечно же, как трубила советская пропаганда, из-за непримиримых расхождений в святая святых — по самым коренным и основополагающим принципам марксистско-ленинского учения. Именно учения, а не чего-нибудь!

Что же произошло на самом деле? Переведен на основные европейские языки изданный в Париже труд двух специалистов — врача и литератора «Больные творят историю» (Assocse/Rentchnik. Kranken machen Welt, Düsseldorf und Wien, 1978). Исследование сосредоточено на одной теме — как болезни различных государственных деятелей влияли на политические решения мирового масштаба. Среди героев книги Рузвельт, Эйзенхауэр, Кеннеди, Черчилль, Гитлер, Франко, Аденауэр, де Голль, Помпиду, Пий XII, Ленин, Сталин, Хрущев, Иден, Насер, Чжоу Эньлай, Мао Цзэдун. Есть там глава и о Брежневе.

Что касается встречи в пограничном городке над Тисой, в ней читаем: «Беседы были таинственным образом прерваны. Некоторым посвященным достаточно известна причина. Неожиданный приступ нездоровья сделал Леонида Брежнева неспособным к переговорам. У него появились хорошо знакомые кардиологам боли в окружности груди, связанные с обильным потоотделением и приступами головокружения. Ступок крови находился в одной из коронарных артерий вблизи сердца. Это был инфаркт.

Омертвление, кажется, не было слишком большим. Врачи, удивлявшиеся еще, что приступ заставил себя долго ждать, единодушно настаивали, что пациент нуждается в покое и длительном отдыхе. Однако Брежнев соглашался только на отдых в течение нескольких дней. Светила медицины должны найти какие-то способы для телесного оздоровления. Это их работа и забота, его же жизнь — политика. И это как раз теперь первостепенно. Медики в изобилии давали ему успокаивающие средства и антикоагулянты типа гепарина, которые издавна применяются в терапии. Эти средства уменьшают возможность смертельного исхода от инфаркта в первое время болезни. Однако, по общему мнению врачей, партийный вожь вновь поднялся с больничной койки

чересчур рано, а уже 21 августа советские войска двинулись на Прагу...» Как отмечается в книге, во время этого телесного недуга — первого инфаркта, который потряс Брежнева, его ближайшие партийные коллеги окружили эти события покровом тайны и «стеной молчания».

Конечно, многое, наверное, и без того было предрешено. Но оставалось еще восемнадцать дней для переговоров. Многие за это время могло быть смягчено, и расправа над «пражской весной», возможно, могла быть не столь показательной, крутой и жестокой, как это произошло. Но у главного договаривающегося лица случился инфаркт. И стальные полчища двинулись в поход уже без всяких обдумываний и рассуждений...

Тем сильнее воздействие случайностей на более мелкие дела. Не происходило ли нечто сходное и с коллективным писательским письмом в поддержку вооруженного вмешательства в Чехословакию? Полтора месяца это верноподданническое послание где-то безвестно мариновалось и, кажется, чуть ли не было благополучно забыто. Лишь 30 октября 1968 года появилась газетная публикация. И многое расставила по своим местам. Воочию узнал я и о позиции Федина, что больно меня задело и на какое-то время отвратило от него. Нечем было дышать, а он вместе с другими отговорился от трагедии пафосной верноподданной фальшивкой.

В комментариях к «Рабочим тетрадям» Твардовского теперь можно прочесть: «“Открытое письмо писателям Чехословакии” подписали все действующие члены Секретариата СП (за исключением А.Т. <Твардовского>, К.М. Симонова и Л.М. Леонова), в том числе М.А. Шолохов, К.А. Федин, С.В. Михалков, Б.Н. Полевой, А.Д. Салынский, И. Абашидзе, Э. Межелайтис, О. Гончар, Ю. Смуул и др. Введение советских войск в Чехословакию объяснялось в письме угрозой делу социализма и оценивалось как необходимость, осознанная странами социалистического лагеря. Авторы письма выступали как “выразители мыслей и чувств многонациональной общественности”, широко высказавшейся о событиях в ЧССР...»

Если «пражская весна» 1968 года была для всех нас временем надежд, то осень того же года была ступором тупика. Сама по себе солнечная и тихая, она дышала грустной безнадежностью. Навевала как будто растворенные в воздухе флюиды будущих безвестных тревог и потрясений и даже мыслей о гибели. Об этом опять-таки тонко и хорошо написал Твардовский в одном из своих лирических стихотворений:

Безветренны, теплы — почти что жарки,
Одни другого краше дни — подарки.
Звенит чуть слышно золото листы
В самой Москве, в окрестностях Москвы
И где-нибудь, наверно, в пражском парке.

Перед какой безвестною зимой,
Каких еще тревог и потрясений
Так свеж и ясен этот мир осенний,
Так сладок вдох и выдох мой?

Я продолжал писать книгу по психологии творчества (вплоть до ее издания в 1973 году. Среди видных тогдашних прозаиков на основе личных встреч там были представлены также «творческие лаборатории» И.Г. Эренбурга, Л.М. Леонова, В.Ф. Пановой и др. писателей). Что касается К.А. Федина, то, по давней договоренности, использовались материалы из его архива. Деловые наши встречи продолжались. Но чуткий психолог, К.А., видимо, заметил произошедшую во мне перемену. Тема Чехословакии не затрагивалась в разговорах, да в этом и не было ни нужды, ни смысла. Однако же прервалась и обильная прежде наша переписка. У меня нет ни одного письма или даже записки К.А., датированной позже 1968 года. Наши встречи, за редкими и немногими исключениями, стали деловитей, суше и формальней.

Расправа с «пражской весной» в августе 1968 года неизбежно обрекала на гибель и «Новый мир» под редакцией А. Твардовского. Это было нетрудно предвидеть. Оставались лишь сроки.

Аркадию Первенцеву, одному из тогдашних «автоматчиков партии», принадлежит устный шедевр: «Прежде чем вводить танки в Чехословакию, их надо было ввести в “Новый мир”». Шедевр потому, что с точностью выражает давние поползновения идеологического аппарата ЦК партии в отношении названного «осинового гнезда». Просто танками эти начальники не владели и с введением их в редакцию запаздывали.

Внутреннее родство с идеями «социализма с человеческим лицом» редакция прочертила не только духом своих многолетних публикаций. Но вдобавок и нынешним поведением сотрудников. Отказом главного редактора подписать письмо с одобрением вторжения войск, заявлениями и действиями ряда членов редколлегии и т.д. Все это было достаточно известно и ждало лишь своего часа.

Как события происходили дальше? Недавно вышло второе, уже без всяких усекновений, в несколько сот страниц, переиздание «Новомировского дневника. 1967—1970» тогдашнего заместителя главного редактора А. Кондратовича (М.: Изд-во «Собрание», 2011), над которым немало поработали Б.Д. Панкин и В.П. Балашов. Там история гибели лучшего нашего литературного ежемесячника зафиксирована шаг за шагом, день за днем, до мелочей. К этому точному и правдивому протоколу остается добавить лишь кое-какие факты и документы, которые признававший значимость происходящего автор в жертвенном пылу заполнения своей летописи знать не мог.

Позиция Федина в данном случае интересна не тем, что первый секретарь Союза писателей СССР присоединился в конце концов к властям предержавшим. А тем, как долго сопротивлялся он такому решению. Слишком болезненным и внутренне мучительным оно для него было.

Ныне, когда смотришь на эти события издалека, перед тобой встают как бы два разных человека. Один — который всей писательской душой, сердцем художника был за высокую литературу, за вольнолюбивый и талантливый журнал. И второй — который, получив указание с самого верха, управлявшего страной, вдруг, махнув на все рукой, капитулировал и стал неузнаваем...

В «Новом мире» долгие годы было два постоянных и неизменных члена редколлегии, будто в почетном карауле остававшиеся там при всех режимах — М.А. Шолохов и К.А. Федин. Оба классика как знаки качества украшали собой журнальную обложку и особо не вмешивались в происходящее. Положение решительно изменилось с 1958 года за двенадцать лет второго редакторствования А.Т. Твардовского. С нарастанием «оттепели» оживились и почетные соредакторы, в особенности Федин. Он поддерживает общую позицию журнала. А Шолохов через некоторое время, воспользовавшись удобным предлогом, как бы незаметно ускользает из состава редколлегии.

О духе брежневской эпохи внутри страны в целом очень метко выразился один из современников, актер Театра на Таганке, Филатов: «Оно было не такое уж вегетарианское брежневское время. Оно было, так сказать, умеренно людоедское. Просто научились пользоваться вилкой и ножом при пожирании людей. По существу всё продолжалось: уничтожались биографии, рушились репутации. И что делали с художниками: кого на Запад, кого в могилу, и уж в редких случаях на Восток или на Север...»

После ввода войск в Чехословакию все воинственной и агрессивней становится напор сторонников идеологического реванша в сталинском духе. Из очагов отечественной крамолы уцелеть не должен никто и ничто — ни Театр на Таганке Ю. Любимова в прежнем качестве, ни экспериментальная студия Мосфильма, ни тем более редакция «Нового мира»...

Следуют групповые изобличения и доносительские статьи «автоматчиков партии» А. Софронова, Н. Грибачева и др. в подвластных им изданиях, постоянные погромы журнальных публикаций «Нового мира» в органе ЦК газете «Правда». Из кабинетов ЦК КПСС среднего звена под улюлюканье газетно-журнальной травли продолжается неуклонное давление на Союз писателей с целью убрать Твардовского. Особо усердствовал новый заведующий отделом культуры ЦК В.Ф. Шауро, которого пересадили в это кресло с поста секретаря по пропаганде ЦК Компартии Белоруссии.

Один «кризис» следует за другим. Как же ведет себя в этой обстановке Федин? Долгое время он твердо отстаивает сохранение журнала с прежней редакцией.

В «Рабочих тетрадях» Твардовского, ныне опубликованных, есть запись в какой-то мере решающего на том этапе его разговора с К.А. Воронковым второй половины 1968 года. У оргсекретаря Союза писателей Воронкова существовали особые, в чем-то свойские отношения с Твардовским. Когда-то Константин Васильевич, тогда молодой и красивый, голубоглазый спортивного склада здоровяк, слегка форсистый, хорошо певший баритоном под гитару, нащипывая струны, инсценировал для театра поэму «Василий Теркин» Твардовского. За эту инсценировку с поблажкой к начальственному сану он даже был принят в члены Союза писателей. Не раз встречались они вместе и в непринужденной домашней обстановке, может, даже сидели и за рюмочкой. Этим объясняется и особый вроде бы доверительный тон его пересказа происходящего.

«Потом кризис как будто миновал, — согласно дневниковой записи Твардовского, с намеренной откровенностью сообщал тому Воронков о положении дел с журналом, — но стремление развязаться с вами не угасло отнюдь. (Шауро: “Он (то есть я) окружил себя разными...”»).

Относительно Федина Воронков в передаче Твардовского излагал ситуацию так: «Константин Александрович занял резко-решительную позицию. Когда я навестил его в больнице (или в Барвихе) и сказал, как же будет с Александром Триф<оновичем>, если его снимут, он приподнялся на кровати и заявил: “Это значит снимут и меня. Я — не Шолохов. Разве вы можете себе представить, что я останусь членом редколлегии при другом редакторе?” И т.д.».

Надо отметить, что все это происходило уже после атакующего «открытого письма» Твардовского Федину по поводу «Ракового корпуса» и отношения к судьбе Солженицына, где было высказано много нелицеприятного и острого в его адрес. Письмо напечатала парижская эмигрантская газета «Русская мысль». Федин на все это впрямую ни устно, ни письменно не отозвался. Делал вид, будто никакого письма и не было. Тем не менее теперь Федин, по его словам, считал для себя невозможным оставаться в редколлегии журнала, если уберут главного редактора. И вскоре по-своему это доказал на деле.

Новый, и гораздо более сильный, кризис вокруг «зараженной», «ревизионистской» редакции разразился летом 1969 года. В журнале «Огонек», выходящем в партийном издательстве «Правды» под редакцией А. Софронова, появилось письмо 11 видных писателей-«автоматчиков», обвинявших крамольный журнал во всех смертных идеологических грехах.

Так называемое «Письмо одиннадцати» тут же поддержали разнообразными собственными публикациями две газеты ЦК КПСС — «Советская Россия» и «Социалистическая индустрия», а также орган Союза писателей РСФСР «Литературная Россия» и даже московская областная партийная газета «Ленинское знамя». Это был одномоментный залп из орудий всех калибров, рассчитанный на полное уничтожение. Такого удара «Новый мир» Твардовского не должен был перенести.

Тогда Твардовский и его заместители решили напечатать свой ответ за подписью редколлегии. Ответ взвешенный, но без послаблений и уступок, четко утверждающий позиции редакции. Документ настолько серьезный, что с ним требовалось ознакомить всех членов редколлегии. И, конечно, Федина в первую очередь.

С текстом редакционного ответа Кондратовича откомандировали в тот же санаторий Барвиха к Федину. Знали наперед, что в затруднительных случаях у того всегда в запасе оставалась дежурная лазейка для отговорки. Он — первый секретарь Союза писателей, обязан стоять над борющимися литературными группами и лагерями и не может декларировать приверженность к кому-либо одному.

Воспользуется ли он этой лазейкой в столь сложной, чуть не роковой ситуации? Но Федин на сей раз показал, что интересы литературы и свобода творческой мысли для него выше карьерных оглядок и политиканских соображений. Он дал понять, что сознает переломный характер происходящего. Поэтому не стал долго объясняться. Превозмогая летнюю жару, на тексте редакционного заявления без колебаний начертал: «Нахожу ответ редакции справедливым и заслуживающим напечатания в “Новом мире”. *К. Федин ... 31 июля 1969*». Тем самым сделал выбор. Поступком подтвердил то, что с больничной койки здесь же, в Барвихе, обещал Воронкову.

В «Новомировском дневнике» А.И. Кондратович вспоминает: «...Уже отъехав от Барвихи и с облегчением вздохнув, я подумал о себе: “Свинья я все же. А ведь старик сделал для нас сегодня очень большое дело. В известном смысле решающее”. Там, навер-ху, — А.Т. <Твардовский> об этом говорил мне не раз, — мнение Федина, сам Федин котируются необычайно высоко».

Действительно, Федин спас ситуацию. Атака на «Новый мир», как будто супротивники проглотили рыбу кость, захлебнулась.

Однако это и было все, что он из себя выжал. Стать подлинным борцом за идею он не сумел и не смог. Федин уступил, отступил и сдался, как только схватка из сферы спасения литературно-художественного журнала переместилась в куда более широкую область — политического противостояния и идеологической борьбы двух непримиримых позиций. Тут уж свою волю и хотения заявили власть предержащие, реальные хозяева страны, заговорила политика, а не искусство. А выступать борцом на этой площадке — это было не в расчетах и правилах битого и пуганого старика, писательского министра... И биография вроде бы респектабельного кабинетного человека вновь неожиданно обрела авантюрные оттенки...

Между тем переды в политической атаке последовал только до следующего года. За это время накапливались силы, перестраивались фланги, намечались новые мишени для решающего удара. И эти мишени вскоре отыскались.

В ноябре 1969 года под объединенным натиском КГБ, партийного аппарата и «автоматчиков партии» через марионеточное решение Рязанской писательской организации секретариат Союза писателей РСФСР исключил из членов СП А.И. Солженицына, которого открыл и посылно пестовал «Новый мир». Тот ответил на это напечатанным за границей обличительным заявлением, начинавшимся библейскими словами: «Слепые, поводыри слепых!», а также разрешением на публикацию за рубежом романа «В круге первом» и переправкой на Запад микрофильма с рукописью художественного исследования советской репрессивной системы «Архипелаг ГУЛАГ», о чем вскоре стало известно КГБ.

Почти одновременно была затеяна провокация лично против Твардовского. Без согласия автора на Западе опубликовали ходившую в списках его острую публицистическую поэму «По праву памяти». С автобиографическим сюжетом — раскулачивание отца, самоотверженного деревенского труженика, и обобщенными картинками всенародных бедствий коллективизации. Антисталинская по духу поэма, она содержала сильный взрывной заряд для тяготящейся тоталитарной немоты брежневского застоя.

Два этих как будто бы не связанных события и создали предлог для нового кризиса вокруг редакции «Нового мира». На этот раз судьба журнала обсуждалась на самом верху, в Секретариате ЦК партии. И в принятом решении мерцал контур аппаратного замысла бывшего секретаря по пропаганде ЦК Белоруссии В.Ф. Шауро, с его главной идеей, что Твардовский *«окружил себя разными...»*. Вот этих-то *«разных»* и требовалось убрать! Можно представить себе, как, скромно и лукаво ощерившись, втолковывал эту идею своими непосредственным начальникам посланец «партизанского края Шауро. Сильно и беспрониграшно в обоих случаях! Не просто мера по укрощению строптивого редактора, но и проверка на преданность члена партии А.Т. Твардовского. Последняя попытка удостовериться, насколько тот готов превратиться в активного партийного борца (то бишь в «идеологический винтик» — с нормальной точки зрения). Одумается, перестроится — хорошо. А нет — так скатертью дорога...

«Линия Шауры» была одобрена и затвержена. Не знаю, кто и как разъяснял и втолковывал Федину принятые решения. Известно лишь, что он ездил в ЦК для встречи на высшем уровне. Возможно, что этим «высшим уровнем» были М.А. Суслов и сам Л.И. Брежнев. Но только К.А. после этого, как редко с ним случалось, стал неузнаваем. Он сделал резкий поворот, крутой и не знающий колебаний выбор.

Печален итог. Одним из самых тяжких и противоестественных для поздней биографии Федина поступков был именно этот — согласие на разгон «Нового мира», самого яркого и талантливого создания современной русской литературы. И как же он должен был к этому относиться, как себя прищипоривать, с какой нерв-

ной встряской переживать? Да еще и частично исполнять своими руками?

Красивый, барственный, рассудительный и просвещенный литературный классик, неторопливо покуривающий трубку, стал непохож сам на себя. Им овладел пароксизм исполнительности. Страх перед слепой идеологией вкупе с ее хозяевами вновь подминал под себя тот самый «святой дух» творчества, который он в себе вынашивал, лелеял, которым более всего дорожил. Из писателя, из выдающегося художника он превращался, если вспомнить истоки ранней биографии, в *Торговца Писчебумажными Товарами*.

Все происходило теперь стремительно, предельно кратко, четко и втайне. В короткие темные дни начала февраля 1970 года...

Конечно, радикальное решение о разгоне «Нового мира», о грубой операции на сердце, увольнении *штаба* — четырех главных руководящих сотрудников и единомышленников Твардовского (В. Лакшина, А. Кондратовича, И. Виноградова, И. Саца), — было предопределено сверху. И если что требовалось от Федина, то только его канцелярски проштамповать. И кадры на так называемое «укрепление» редакции журнала подбирал не он. Многих из новоназначенцев Федин даже и не знал. Тут посильно старались Г.М. Марков и К.В. Воронков, а роль главного идеологического сита играл бестрепетный отдел культуры ЦК КПСС во главе с вымытым в ста щелоках В.Ф. Шаурой.

Если говорить лично о Твардовском, то, по существу, это было политическое убийство. Полученные тогда стрессы не прошли даром. Меньше чем через два года после гибели любимого детища могучего сложения и крестьянской закваски здоровяк умер в возрасте 61 года от рака.

Для теперешнего рассказа важно поведение пусть вынужденного и вымученного пособника. Верховный голос из ЦК вдруг полностью загнипотизировал и парализовал первого секретаря Союза писателей. Страх от былых переживаний, когда угроза висела не только над карьерой, но и над жизнью, видимо, засел глубоко. И если Воронков еще стелился перед Твардовским и лицемерно выражал ему деланное сочувствие, то Федин вдруг обратился в подобие ускользящего налима. Для простоты не им заданной процедуры и экономии сил он попросту уклонял-

ся от встреч с жертвой экзекуции и судьбоносное для журнала заседание секретариата провел за спиной главного редактора. Встречавшие его в эти дни недоброжелатели говорили даже, что от перепуга у него стали пустые рыбы глаза. Действовал за спиной!.. Не говоря уж о прочем, деликатно ли это было? И эстетично ли? Для этого джентльмена, тонкой художественной натуры и близких отношений с гонимыми стольких лет...

Из такого оборота событий сделал выводы и Твардовский. Кондратович в сердцах записывал в «Дневнике» (текст восстановлен во втором, полном издании) об этом моменте: «А.Т.: — А Федин подлец. Теперь, если я встречу его где-нибудь в коридоре, то задираться не буду, но и улыбаться не стану. Холодно поздороваюсь — и все. Пусть знает, чего он стоит». Таков еще один авантюрный круг в биографии кабинетного человека...

Через несколько недель все было кончено. Бразды правления в редакции перенял новый редактор В.А. Косолапов, когда-то начинавший путь инструктором ЦК партии, человек жизнелюбивый и доброжелательный. Однако же в пределах чиновной либеральной нормы. Всю жизнь он старался жить по принципу — и волки сыты, и овцы целы. Это была его политика. А еще спустя какое-то время о прежнем журнале — боевом органе литературных единомышленников — напоминали главным образом голубая бумажная обложка и название.

Но Федин собственного зорока не исполнил. Он не ушел. Хотя в суматохе перетасовок, конечно, мог бы это сделать. В результате в членах редколлегии «Нового мира» он пробыл рекордный и, наверное, не знающий прецедентов срок — с 1941 по 1977 год.

НЕУДАВШИЙСЯ ШЕДЕВР

«Неудавшийся шедевр» — столь едким выражением Анна Ахматова, как помним, сопровождала явление в литературном поднебесье расхваленных, однако же в целом несостоятельных творений. Именно с подобным литературным феноменом связаны последние десятилетия жизни Федина. Речь идет о его двухтомном романе об Отечественной войне «Костер».

«Не пишется...» «Не выходит»...

Так мстил за себя тот самый «святой дух» творчества, о частых внутренних насилиях и утеснениях которого автор писал когда-то в исповедях-признаниях своему ленинградскому другу М. Сергееву. Заветная, долгожданная книга, *книга жизни* не получалась.

Однако писание оставалось единственным его лазом в душевное спокойствие, в гармонию отношений с жизнью и с самим собой. Без этого существовать он не мог.

В одном из номеров журнала «Вопросы литературы» посмертно были опубликованы наброски Федина к дальнейшему продолжению второй книги так и неоконченного романа «Костер». «Поучительное чтение», — подытоживает Виктор Шкловский в своем большом мемуарном очерке. В романе «Костер» «...святость “Ясной Поляны” дана так, как ее не изобразил никто. <...> Федин не дописал роман, но чутье художника привело его к Туле, к могиле Льва Толстого».

«Книга “Костер” еще будет иметь сложную судьбу, — продолжает автор. — Она может не сразу понравиться. Так как написана с некоторым заходом вперед, со смелым продвижением к новой форме. В ней нет того элемента интриги, которая облегчала восприятие действия старого романа. Эта книга такая же крайняя, как романы Фолкнера». Психологическое напряжение повествования в таких случаях держится во многом с помощью словесной живописи и нравственного «силового поля».

И вот такая книга, советская «Война и мир», задуманная в вольном стилевом изложении Серебряного века, не задалась, не исполнилась. Превратилась в «неудавшийся шедевр».

Почему? Как это вышло?

«Не пишется», — жаловался Федин. Улыбки в профессиональной среде вызвала растянувшаяся на несколько десятилетий работа над романной трилогией. Сдавало здоровье, все чаще заставляла о себе старость.

Работа явно не клеилась. Автор не знал, что делать дальше с фигурами большевиков, претендовавших на особые роли в повествовании о людях искусства. Не складывались батальные сцены — сам романист военных действий почти не пережил. Между

тем в печати появлялись все новые главы. Роман о недавней войне «Костер» разросся в две книги. Трилогия обращалась в тетралогию.

Еще с десятков, а может, и более лет до этого в обиходе стали проскакивать сценки, к которым К.А. поначалу относился с веселым вызовом. Даже и сам упоминал о чем-то похожем. Происходило примерно вот что.

Улучив удобную минуту, подходит якобы к Федину раз некий иронически настроенный критик, этакий «литературный волк», и заводит разговор с намеком:

— Как, Константин Александрович, — спрашивает, — «Костер»? Горит?

— Да... вот подбрасываю полешки...

— Наверное, много всяких отвлечений, общественные обязанности заедают? — деланно сочувствует притворщик.

— Да, хватает... совсем запредисловился, — вздыхает романист.

— Восхищаюсь вами... Наверное, нелегко столько лет держать в голове одну вещь? — льстит доброжелатель. — Если не ошибаюсь, кажется, еще до войны начали трилогию?

— Да, уже более тридцати лет сочиняю... — соглашается автор. — Но, знаете, Гёте работал над «Фаустом» пятьдесят семь лет. Так что срок еще не вышел...

— Не люблю второй части «Фауста». Туманно, аллегорично, вымученно... — морщится критик.

— Но все-таки это «Фауст»! — победно изрекает романист.

Работа над «Костром» продолжалась.

От разворованных на административную канцелярщину остатков жизни, от украденных на чиновничью возню дней Федин приходил в отчаяние. Он снова напоминал себе мышшь, спасающуюся по плинтусу. Но если раньше он убегал так от страхов гибели от чекистов, то теперь вынужден был бежать от собственной власти и мифического административного величия.

3 апреля 1970 года тот же Воронков занес в свой кондуит такой разговор во время встречи Маркова и его с Фединым: «...Решали повседневные дела. Федин в который раз жаловался:

— Уже вышел первый том «Костра». Осталось дописать примерно третью часть. Но как это сделать? Я буду бегать, как мышшо-

нок вдоль плинтуса этой комнаты, и искать дыру, чтобы нырнуть в нее, только хвостиком вильнуть, и писать, писать... А вот дырки-то нет и нет... Надо грызть плинтус. А когда еще перегрызешь? По диагонали бежать нельзя, обязательно сцапают за штаны. Я бы хотел быть как Воронков, который командует бумагами, как хочет. А у меня не так. Бумаги командуют мной...»

Федин перечитывал занимавшие почетные полки в его кабинете 90 томов Полного собрания сочинений Льва Толстого, покрывал тексты подчеркиваниями и пометками. Теперь эти тома показывают в саратовском Музее К.А. Федина. Но лучшим учителем является, конечно, сердце, а не книги.

«Wahrheit ist was uns verbindet» («Нас объединяет правда»), — говорил известный немецкий философ Карл Ясперс. «Кто кого переживет, тот того и промемуарит», — иронизировал Варлам Шаламов, безусловно, один из самых значительных и правдивых мемуаристов и документалистов XX столетия. «Промемуарит», то есть истолкует, прикрасит, прошпаклюет, а иначе говоря — солжет в свою пользу.

Я был шестидесятником со всеми иллюзиями этого направления и по некоторым особенностям житейской биографии — с замедленными темпами духовного роста. В конечном счете — либеральный коммунист. В «детях XX съезда» было много искреннего, честного, хотя изъяны этого течения общественной мысли ныне очевидны. Тем не менее Алесь Адамович одну из последних своих книг, которую он мне подарил незадолго до смерти, озаглавил: «Мы — шестидесятники» (1991 г.). «Исповедь шестидесятника» — так назвал свои мемуары, написанные незадолго до кончины, образец искренности и честности, другой мой многолетний друг, Юрий Буртин.

Тогдашний студент, дремучий комсомолец, я был бригадиром на стройке нового здания Московского университета, плакал, когда умер Сталин, и был одним из тех, кто спрашивал лучших друзей: «Как же мы теперь будем жить?» Это еще и при том, что отец мой дважды безвинно сидел в тюрьме по обвинению в связях с троцкистами. Молодым людям нынешнего поколения это трудно понять и представить. Я начал быстро прозревать только

после вторжения советских войск в Чехословакию в 1968 году. Да и то не до конца. Юрий Трифонов еще в 1973 году, когда у него вышла книга «Нетерпение», спокойно и слегка флегматично, глядя сквозь свои толстые очки, говорил мне: «Я против всяких революций». Тогда, да и долго еще потом, я не мог бы искренне вслед за ним повторить это заклятье, истину, которая столь очевидна для меня теперь.

Написать заявление о выходе из партии у меня хватило сознания и решимости только в начале 1991 года, когда все уже разваливалось и до роспуска самой партии оставались считанные месяцы. Так что хвастаться тут особенно нечем.

В те более ранние годы, к которым главным образом привязано нынешнее повествование, мои тогдашние литературные кумиры А.Т. Твардовский и К.А. Федин, в меру масштабов личностей, идейной убежденности и силы характеров каждого, но все-таки так или иначе колебались вместе с линией партии. Я же колебался между линиями Твардовского и Федина. Чего ныне, кроме горькой усмешки, это заслуживает? Искушением остаются бескомпромиссное осознание и правда.

Расскажу теперь о двух наших последних встречах.

В начале июля 1972 года, как было обусловлено, я пришел на дачу к Федину в Переделкине, чтобы получить выправленную запись беседы на темы психологии творчества, которой тогда занимался.

День был настолько паляще солнечный, что даже к четырем часам еще не наступило перелома в жаре, а ощущалось разве начало спада, послабление. Спасенье было, кажется, только под густыми высокими соснами на затененной веранде. Тут я и застал Федина. Рядом с ним в таком же плетеном кресле-качалке сидел гость, маленький лысый полноватый старичок в белом чесучовом костюме.

Они неторопливо и умиротворенно переговаривались, как бывает между своими, очень близкими людьми на послеобеденном отдыхе. Федин нас познакомил. Старичок оказался личностью исторической. О нем я был много слышан и начитан. Но вживе видел впервые. Это был друг и издатель А.А. Блока, основатель

известного частного издательства «Алконост», действовавшего в 1918—1923 годах, высокий профессионал отечественного книгоиздания Самуил Миронович Алянский. С Фединым они повстречались еще летом 1920 года, позже, в начале тридцатых годов, совместно вели кооперативное «Издательство писателей в Ленинграде»...

Некоторое время разговор происходил втроем.

Как потом оказалось, К.А. никогда не выпускал из поля зрения своего давнего товарища, дела которого из-за его явной старорежимности, даже выраженной и внешне, не слишком ладились.

Похоже, что как раз о характерном случае рассказывает К. Симонов. В конце 40-х годов, уже в пору холодной войны, Сталин и окружавшее его так называемое Политбюро решили превратить высушенный ведомственный официозный листок, который представляла собой тогдашняя «Литературная газета», в респектабельный либеральный орган, которому дозволялось бы, разумеется в интересах властей, переходить черту общедозволенного, писать и публиковать то, что обычным партийным изданиям печатать возбранялось. Это давало удобную площадку для идеологических маневров и позволяло выглядеть, по крайней мере в глазах собственной читающей публики, даже чуть ли не либеральной вчерашних западных союзников.

Соответственно ущедрялись и расширялись типографские, финансовые, издательские и иные возможности, кошелек преобразованной газеты. Новым главным редактором был утвержден бойкий и талантливый молодой писатель и журналист К.М. Симонов, до этого возглавлявший журнал «Новый мир». Вождь явно к нему благоволил.

Во вновь открывшееся заманчивое и вольготное местечко в интересах дела и по человеческой справедливости и захотел устроить своего бедствующего приятеля Федина. Больших официальных постов сам он в то время не занимал. Но уже годы состоял в членах редколлегии «Нового мира», работал вместе с Симоновым, а главное и помимо прочего, тот считал его своим учителем в прозе. Перед отъездом в тогдашнюю скромную заграничную командировку — в Румынию — Федина принялся старательно сочинять ему деловое письмо.

«Дорогой Константин Михайлович, — писал он там во второй половине октября 1950 года, — хочу рекомендовать Вам весьма ценного, даже ценнейшего работника в области графики — редактора художественной иллюстрации, члена МОСХ — Самуила Мироновича Алянского, которого знаю 30 лет!

Сейчас он художественный редактор Детгиза (ежегодный “Детский календарь” в картинках — его работа). Стаж его огромен. Начало — “Двенадцать” Блока (он личный друг Блока) и собр. соч. Блока. Затем все иллюстр. издания “Изд-ства писателей в Л-граде”. В блокаду Л-града он создал знаменитый “Боевой карандаш”. И т.д.

Его преимущества:

1. Отличное знание полиграфии.
2. Исчерпывающее знакомство со всеми художниками Союза ССР.
3. Отличный вкус.

Хотелось бы, чтобы Вы пригласили его в “Литературную газету” для организации и постановки всего иллюстративного дела оформления газеты — карикатуры, фотоиллюстрации и т.д. Если Вы задумаете выпускать некое приложение — тем более кандидатура будет абсолютно уместна. Но и для газеты — это работник исключительный.

Во всех отношениях я за Алянского ручаюсь.

Пожалуйста, подумайте... <...> Ваш *Конст. Федин*».

Все это Федин писал, вероятно, в полной убежденности, что его рекомендация не будет (не может быть!) отклонена. Однако в те времена постоянно случалось невозможное.

Для сталинского «аквариума свободы» Самуил Миронович оказался, видимо, слишком хорош. Совесть и практика повседневной журналистской работы для него никогда не расходились одно с другим, составляли нечто единое и нерасторжимое. А для газеты, каждый номер которой просматривал лично Сталин, это было уже чересчур. Требовались солдаты с рукой под козырек. Друг Блока никак не мог быть из их числа...

Как потом оказалось, К.А. и дальше не выпускал из поля зрения своего давнего товарища, дела которого при советском режи-

ме не ладились, а иногда и просто заходили в тупик. Он помогал ему с устройствами на работу, куда забытого старика не слишком охотно брали, подбивал его на то, чтобы тот писал подробные воспоминания о Блоке, помогал, чтобы эти мемуары печатались в журнале «Новый мир», и добился наконец, чтобы все им написанное и собранное вылилось и оформилось в отдельную книгу о Блоке, сразу вернувшую известность С.М. Алянскому... Федин, как это с ним случалось не раз, вернул этому человеку лучшее, что у него было в жизни, — его прошлое.

Присутствие этой легендарной личности на фединской даче втянуло «блоковскую тему» в центр разговоров... Некоторое время беседа происходила втроем.

Затем, покинув Самуила Мироновича, мы поднялись на второй этаж, в рабочий кабинет. Федин передал мне выправленную запись. Обсудили деловые темы.

По своему обыкновению Федин провожал до калитки. Поддерживая меня за локоть горячей стариковской рукой и тяжело опираясь другой рукою на палку, Константин Александрович не упускал случая галантно предупредить: «Осторожно, здесь высокий порожек!»

Посреди двора Федин остановился, снова заговорил о Блоке. Ему довелось слушать Блока, он любил его, писал о нем.

— Недавно Алянский издал свою книгу о Блоке в Детгизе, — сообщил К. А. — Вы знаете, сначала она вышла тиражом пятьдесят тысяч, а вскоре, уже теперь — сто тысяч. И почти сразу оба тиража разошлись, будто провалились с прилавков. Какие-то вещи непонятные происходят! Это ведь не Дюма, а книжка о Блоке?!..

Я рассказал К. А., что есть литераторы-энтузиасты, даже среди моих друзей, которые мечтают превратить блоковскую усадьбу Шахматово в Подмоскovie в такое же место народного паломничества, как пушкинское Михайловское на Псковщине. Назвал критика и литературоведа Станислава Лесневского.

Федин оживился, взглянул на меня недоверчиво:

— Конечно, влияние Блока растет и будет расти... Ясно. Но нет, не получится... Материя не та. К Пушкину туда идут стар и млад. Пушкин универсален, в нем есть все и для всех... Дети —

пушкинские сказки... Взрослые — любовь... Ведь все о любви сказал Пушкин... А тут интеллеktуал... Время было другое, другая эпоха. Но дай-то ему Бог!

Памятью о последней нашей встрече с Фединым, которая состоялась в новогодние дни 1976 года, осталась дарственная надпись, сделанная на вышедшем тогда же сборнике его «Маленьких романов, повестей, рассказов» (М.: Советский писатель, 1975). Там есть такие слова, приуроченные к одной из моих тогдашних публикаций: «...На хорошую память от признательного автора, с чувством дружбы. *Конст. Федин*. 2 янв. 1976 г., на даче».

Этим томиком, где представлены любимая мной повесть «Трансвааль» и некоторые другие живописные, смелые и отточенные до стилистического блеска сочинения, внутренне дорожу. Оказалось к тому же, что мы виделись последний раз.

В ту встречу, 2 января 1976 года, Константин Александрович долго и много говорил об Иване Сергеевиче Соколове-Микитове, сверстнике, жизненном и литературном собрате с начала 20-х годов. О чем бы ни заходила речь, снова и снова возвращался к Соколову-Микитову.

Объяснил и причину:

— Иван Сергеевич был мой самый большой друг.. Он ушел в этом, семьдесят пятом году. Хорошо помню, это было за несколько дней до моего дня рождения. И знаете, что было замечательного в этой смерти? — произнес Федин (меня поразило тогда это сочетание: «замечательного», применительно к смерти. Но он так сказал). — Жена его Лидия Ивановна, она была младше его лет на семь-восемь, женщина строгих домовитых правил, прошла с ним обок почти всю жизнь. И вот Ивана Сергеевича не стало. И знаете, что было? Ровно через сто дней умерла его жена. Лидия Ивановна его схоронила и потом через сто дней — в июне, значит — ушла сама...

Федин задумчиво и горестно помолчал.

Заговорили о современной литературе, о «ее величестве прозе», как выразился К.А. Назывались разнообразные имена прозаиков — авторов недавних книг, многие из которых ныне давно уже забыты.

Особенно оживился Федин, когда речь зашла о Юрии Трифонове.

— Да, Трифонов мой ученик. А где он сейчас, не знаете?

— Тут, в Переделкине, я его видел...

— Передайте ему, чтобы заходил... — Федин помешал ложечкой в стакане чая, отхлебнул глоток. — Чай — это хорошо! Многое можно сказать, посидев за чашкой, посудачив просто... Жаль, что я не могу выходить, как раньше, а то зашел бы в Дом творчества, поговорил...

Таково было постоянство его привязанностей.

Всегда ощущавший преемственность с высокой письменной традицией. Федин принадлежал к тем стилистам, которые болезненно страдают от приблизительного слова или неточного оборота, — в машинописи он вымарывал их намертво да подчас еще заштриховывал разноцветными чернилами или карандашами, так что прочесть вычеркнутое было невозможно. Из беспорядочного бумажного вороха, из стопок страниц, пестрящих жирными вычерками, заплатками вклеек, цветными чернильными и карандашными вставками, и рождалось в конце концов искусство Фебина — мастера литературы.

— Мы знаем хорошие произведения с несовершенной или даже плохой композицией, — говорил Федин в одну из встреч. — Но хорошего произведения с плохим языком быть не может...

Примечательную историю рассказал он когда-то на конференции в Саратовском университете. Дело происходило в огромной, восходящей ярусами аудитории, где собрались студенты, преподаватели, гости из других городов. После выступления К.А. подали записки с самыми разнообразными вопросами. Ответы Фебина, изящно и непринужденно возвышавшегося за деревянной светло-коричневой круглой, с гранями, профессорской кафедрой, превратились в подробную беседу о художественном мастерстве.

Встреча растянулась, грозила стать бесконечной. Вот тогда К.А. и напомнил мудрую в своей простоте реплику старого живописца В.Н. Бакшеева на некоем заседании в разгар словопрений об искусстве... Ораторы говорили долго и отвлеченно, повествовал Федин. В зале, где собрались мастера кисти и карандаша всех

жанров, по ходу выступлений умеренно волновалось то правое крыло, то левое. Бакшеев, глубокий старец (ему было уже лет под девяносто), передвижник, выставившийся еще с Репиным, Крамским и Маковскими, казалось, дремал на своем стульчике в президиуме, утомленный годами и нескончаемым потоком слов. Но в разгар какого-то особенно бойкого выступления он вдруг очнулся и воскликнул: «Товарищи! Мазок забыли!..»

— Я кончу его словами, потому что лучше сказать не могу, — заявил Федин, — потому что, когда я говорю об искусстве, я помню, что такое искусство. Надо помнить мазок!

Именно таков бывал он и в тысячах повседневных мелочей.

Даже в такой во многом интуитивный процесс, как расширение языкового кругозора литератора, он стремился внести осознанный элемент, советуя заводить особые тетрадки — «лексиконы слов» разной окраски.

— Каждый литератор, — говорил Федин, — должен составить словарик слов, который дать зарок не употреблять... Что туда включить? Ну, мало ли! Например, — «всемерно». У нас часто, что ни призыв чему-нибудь способствовать, обязательно — «всемерно». Какой-нибудь пустяк, поднять пустоту на должную высоту, и непременно «всемерно»! Или хуже того, вроде бы деловито — «мероприятие». Так извратили и затаскали язык, что слова уже ничего не выражают...

Теперь видишь, что смысл подобных суждений был гораздо глубже, чем казалось. Дело было не только в молодых литераторах. Человек искусства и музыки, Федин чувствовал угрозу, как он выразился в одном из писем, «повальной заразы, напущенной на народ газетно-чиновничьим жаргоном».

Вообще язык составлял для него первейший признак пульсирующей, дышавшей творческой индивидуальности.

Не боясь никаких преувеличений, можно сказать, что истинную страсть Фебина составляли сокровища человеческой культуры, запечатленные в письменах. У него есть пронзительные слова о книге. «Когда пройдет ваша молодость, — писал он, — когда вы убедитесь, что уже все достигнуто в вашей неповторимой жизни, вы будете искать друга. И знаете, его будет

нелегко найти. Человек, доживающий свои дни, часто обременителен и скучен. Даже если ему оказывается почет, то это почет его прошлому. Лишь сами вы будете любить себя до конца своих дней. И лишь один вечный друг останется к вам неизменен — это книга».

Эти строки вызваны ясным сознанием одиночества каждого перед лицом физического разрушения. Воспроизводя их тут, я снова вижу Константина Александровича. Светлым январским днем 1976 года, на втором этаже его дачи в Переделкине. Он стал уже весь белый и прозрачный, как тот заоконный день, почти не спускался вниз, с трудом передвигаясь на костылях в пределах своего кабинета...

А на полках и стеллажах бесконечными рядами выстроились переплетенные свидетели его трудов, страстей и раздумий — предшественники, далекие и ближние, разноликие современники, его детища. Книги, книги, книги...

Он как бы вышел из этих книжных сокровищ и снова растворился в них, этот многосторонне проявивший себя человек, художник, академик не только по званию, но и по знаниям, дипломатичный и грешный наш репетитор.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Общее

Сборник «Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП (б) — ВКП(б), ВЧК — ОГПУ — НКВД о культурной политике 1917—1953 гг.». М.: Международный фонд «Демократия», 1999.

Между молотом и наковальней. Союз советских писателей. Документы и комментарии. Том 1. 1925 — июнь 1941. Серия: История сталинизма». М.: РОССПЭН. 2011.

Владимир Вернадский. Открытия и судьбы. М.: Современник, 1993.

Воронков К. Страницы из дневника. 1950—1970 годы. М.: Советская Россия, 1977.

Горький и советские писатели. Неизданная переписка. Литературное наследство. Т. 70. М., 1963.

Федин К. Собрание сочинений. Т. 1—12. М.: Художественная литература. М., 1982—1986.

Творчество Константина Федина. Статьи. Сообщения. Документальные материалы. Встречи с Фединым. Библиография. М.: Наука, 1966.

Воспоминания о Константине Федине. Сборник. М.: Советский писатель, 1988.

Только одна человеческая жизнь. (Фединские чтения. Вып. 3). Саратов, 1993.

Лесневский Ст. Найти свой лад... К 100-летию со дня рождения К.А. Федина. Книжное обозрение, 1992, 17 апреля.

Чудакова М. Писатель советского прошлого // «Литературная газета», 1992, 19 февраля.

АТ. Воспоминания об А. Твардовском. Сборник. Издание второе. М. Советский писатель, 1982.

Воспоминания об И. Соколове-Микитове. Сборник. М.: Советский писатель, 1984.

Пастернак Борис. Доктор Живаго. Роман. Повести. Фрагменты прозы. Вступительная статья Д. Лихачева, послесловие В.М. Борисова. М.: Советский писатель, 1989.

Кондратович А. Новомирский дневник. 1967—1970. М.: Изд.-во Собрание, 2011.

Твардовский А.Т. Новомирский дневник. В 2 т. М.: ПРОЗАиК, 2009. Т. 1: 1961—1966. Предисловие Ю.Г. Буртина, подготовка текста, комментарии В.А. и О.А. Твардовских; Т. 2: 1967—1970. Подготовка текста, комментарии, указатель имен В.А. и О.А. Твардовских. 656 + 640 с.

Семенов Ю. История (историология) как строгая наука // Журнал «Скепсис» (journalqscopsis.ru)

Русские писатели. XX век. Библиографический словарь. Часть 2. М.: Просвещение. 1998 (статья «Федин»).

Биографический словарь русских писателей XX века. М.: Просвещение, 2009 (статья «Федин»).

Паустовский К. Собрание соч. в шести томах. Том второй. Повесть о писательском труде «Золотая роза». М.: ГИХЛ, 1957.

Быков Д. Советская литература. Краткий курс. М.: ПРОЗАиК, 2013.

Люкс Л. Западничество или евразийство? Демократия или идеократия? Сборник статей об исторических дилеммах России; перевод с нем. Ibidem — Verlag, 2011.

Оклянский Ю. Беспутный классик и Кентавр. А.Н. Толстой и П.Л. Капица. Английский след. М.: Печатные традиции, 2009.

2. Документы к сюжетным линиям

Булгакова Е. Дневник Елены Булгаковой. М.: Книжная палата, 1990.

Бунин И. Литературное наследство. Т. 84. Кн. 1—2. М.: Наука, 1973.

Быков Д. Борис Пастернак. М.: Молодая гвардия. 2007. С. 489.

Емельянова И. Пастернак и Ивинская. М.: Вагриус, 2006.

Зелинский К. В июне 1954 года // «Вопросы литературы», 1989, № 6.

Герасимова В. Беглые записи // «Вопросы литературы», 1989, № 6.

Ивинская О. Годы с Борисом Пастернаком: В плену времени. М.: Либрис, 1992.

Кондратович А. Ровесник любому поколению. М.: Советский писатель, 1984.

Кардин В. «Новый мир» и новые времена. www.library.cjes.org/files/pdf/кардин_—_новый_мир.pdf.

Лазарев Л. Шестой этаж. Книга воспоминаний. М.: Изд-во «Книжный сад», 1999.

Санников Д. По зову памяти. Из архива отца. М.: Изд-во. «Прогресс — Плеяда», 2011.

Сараскина Л. Солженицын. М.: Молодая гвардия, 2009.

Слово пробивает себе дорогу. Сборник статей и документов об А.И. Солженицыне. 1962—1974. М.: Русский путь, 1998.

Симонов К. Собрание сочинений в десяти томах. Том десятый. Уроки Федина. М.: Художественная литература, 1985.

Симонов К. Глазами человека моего поколения (Размышления о И.В. Сталине). М., 1990.

Соколов Б. Адольф Гитлер: Фюрер. Преступник. Личность. М.: Зебра Е, 2013.

Твардовский А. Рабочие тетради 60-х годов. Публикация В.А. и О.А. Твардовских // Журн. «Знамя», 2000—2005 гг.

Твардовский И. Родина и чужбина. Книга жизни. Смоленск: Изд-во «Посох», 1996.

Твардовская М. Твардовский и Соколов-Микитов. В сб. «Жизнь и творчество И.С. Соколова-Микитова». М., 1984. С. 1

Оклянский Ю. Федин. М.: Молодая гвардия, 1986.

Оклянский Ю. Юрий Трифонов. Портрет-воспоминание. М.: Советская Россия, 1987.

Оклянский Ю. Бурбонская лилия графа Алексея Толстого. Четвертая жена. М., Золотой свиток, 2007.

Перхин В. От старого друга... Дарственные надписи Анны Ахматовой Константину Федину... Журн. «Нева», 1995, № 9.

Пастернак Е. Борис Пастернак. Материалы для биографии. М.: Советский писатель, 1989.

Старков А.Н. Ступени мастерства. Очерк творчества К. Федина. М.: Советский писатель, 1985.

Урнов Д. Доктор Живаго // «Наш современник», 2008, апрель.

Шаламов В. Собрание сочинений в четырех томах. Том 4. М., 1998.

Шилов Л. Пастернаковское Переделкино (Из истории городка писателей). Государственный литературный музей. М., 1999.

Шитов А. Юрий Трифонов. Хроника жизни и творчества. 1925—1981. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 1997. С. 481—483.

Шенталинский В. Рабы свободы. Документальные повести. М.: Изд-во. «Прогресс — Плеяда», 2009.

Парамонов Б. Доктор Живаго — провал как триумф // «Русская жизнь», 2007, 23 ноября.

Торчинов В.А., Леонтьев А.М. Вокруг Сталина. Историко-биографический справочник. СПб. // Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, 2000.

Толстой И. Отмытый роман Пастернака: «Доктор Живаго» между КГБ и ЦРУ. М.: Время, 2009.

Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Том 2. М.: Согласие, 1997.

Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах. Том третий. М., 1990.

Брайнина Б.Я. Федин и Запад. 2-е изд. М., 1983.

3. Немецкие источники

Leonid Luks. Geschichte Russlands und der Sowjetunion. Von Lenin bis Jelzin. Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, 2000.

Accoce/Rentchnik. Kranken machen Welt, Egon Verlag GmbH, Düsseldorf und Wien, 1978.

Joachim C. Fests. Hitler. Eine Biografie. Erster Band. Der Aufstieg. Zweiter Band. Der Führer. Verlag Ulstein, Frankfurt/M — Berlin -Wien, 1976.

Fedin und Deutschland. Aufbau — Verlag, Berlin, 1962.

Konstantin Fedin. Sonderheft. Druckerei «Vorwärts», Güstrow, 1966/67.

W. Düwel, A. Düwel. Konstantin Fedin. Kulturbund der DDR, Berlin, 1981 (особенно разделы — «Биографische Chronik», а также «Fedin und junge Zittauer Revolutionäre», S. 48—67, 17—27).

Jewgeni Jewtuschenko. Der Wolfspass. Abenteuer eines Dichterlebens. Ungekürzte Ausgabe. Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 2002¹.

¹ Известное издательство Deutscher Taschenbuch Verlag выпустило это Ungekürzte Ausgabe (несокращенное, расширенное издание) автобиографической книги Евг. Евтушенко под названием «Волчий билет. Приключения одной поэтической жизни» объемом в 430 стр. В исходных данных оно указывает, что здесь впервые публикуются или повторно воспроизводятся с другого нерусского иностранного источника главы и страницы, не представленные в издании на языке оригинала.

Содержание

Напутственные размышления. «Раз уж так получилось». <i>Лев Анненский</i>	3
Часть первая. Многослойный человек.....	9
Часть вторая. Литературные крещения.....	93
Часть третья. Рядом с Твардовским.....	163
Часть четвертая. Дачные соседи	234
Часть пятая. Дуэль за спиной памятника.....	304
Библиография	378

Научно-популярное издание

Историческое расследование

Оклянский Юрий Михайлович

**ЗАГАДКИ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ОТ СТАЛИНА ДО БРЕЖНЕВА**

Выпускающий редактор *М.К. Залеская*

Корректор *О.Н. Богачева*

Верстка *А.Ю. Киселев*

Художественное оформление *Д.В. Грушин*

ООО «Издательство «Вече»

Адрес фактического местонахождения:

127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 48, корпус 1.

Тел.: (499) 940-48-70 (факс: доп. 2213), (499) 940-48-71.

Почтовый адрес:

129337, г. Москва, а/я 63.

Юридический адрес:

129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 47, строение 5.

E-mail: veche@veche.ru

<http://www.veche.ru>

Подписано в печать 30.11.2014. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага офсетная.

Печать офсетная. Гарнитура «NewtonС». Печ. л. 20.

Тираж 2000 экз. Заказ А-3182.

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в типографии филиала ОАО «ТАТМЕДИА»

«ПИК «Идел-Пресс».

420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2.

E-mail: idelpress@mail.ru

ISBN 978-5-4444-2616-6



- ИСТОРИЧЕСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ -

Советский классик Константин Федин в течение почти двадцати лет возглавлял Союз писателей СССР. Через судьбу «министра советской литературы» автор прослеживает «пульс» и загадки эпохи. Наряду с Фединым герои книги — М. Горький, И. Сталин, Л. Берия, Н. Хрущев, аппаратчики ЦК и органов безопасности, естествоиспытатель В. Вернадский, И. Бунин, А. Толстой, Е. Замятин, Стефан Цвейг, Б. Пастернак, А. Ахматова, А. Твардовский, А. Солженицын, а также литераторы более молодого поколения: Ю. Трифонов, любимый из учеников Федина, поэты А. Вознесенский, Е. Евтушенко... Автор также свободно пускает в ход мемуарный арсенал — использует в книге собственную переписку с К. Фединым и наблюдения от многолетних встреч с ним. Признанный биограф и исследователь былого, издавший более тридцати книг, Юрий Оклянский ведет исторические разыскания живо и увлекательно...